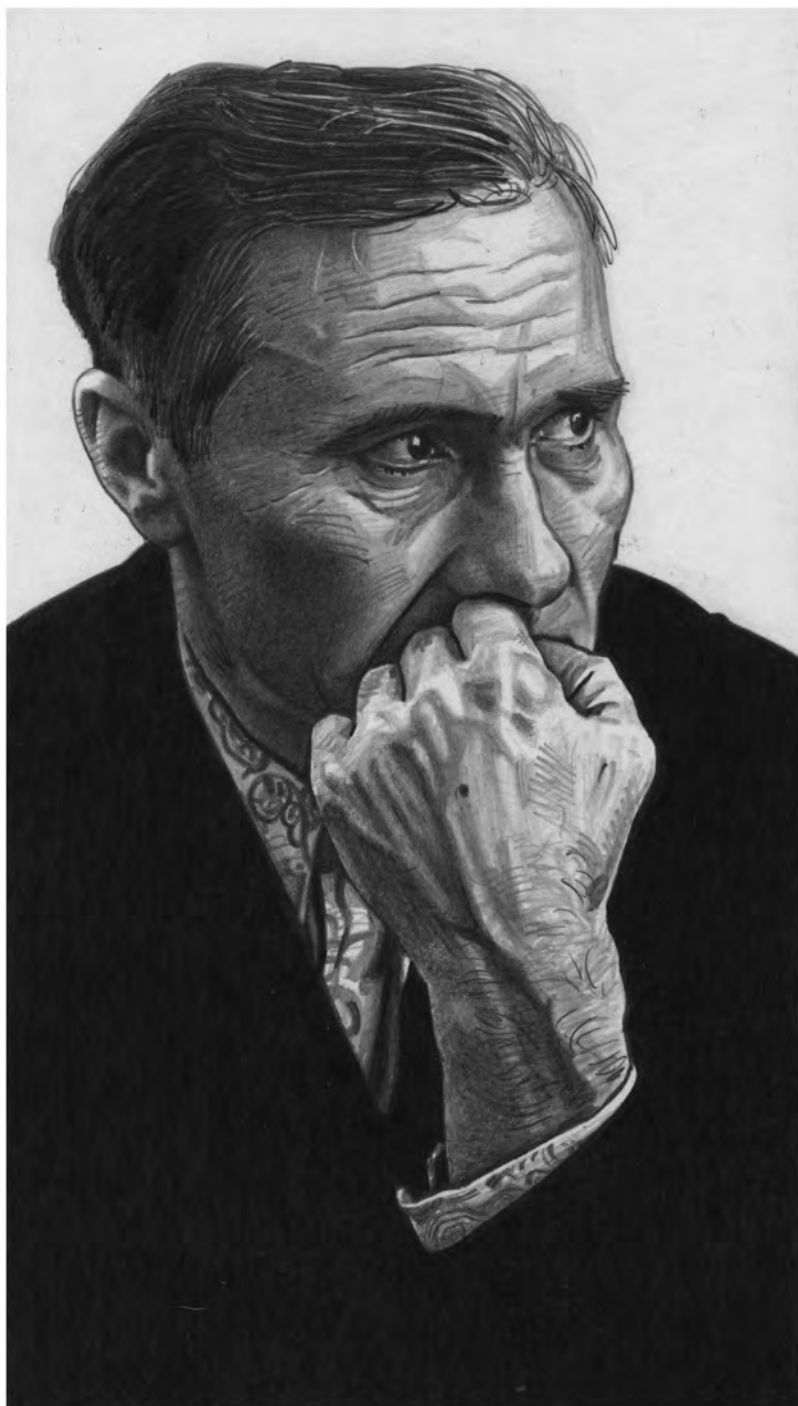


избранное
Шукшин
Василий





избранное
Шукшин
Василий

БАРНАУЛ
2022

ББК: 84(2Рос-Рус)6-4
Ш 954

12+

Издание подготовлено по заказу и при финансовой поддержке
Правительства Алтайского края
в рамках губернаторского издательского проекта

Шукшин В. М.

Ш 954 Избранное / Василий Шукшин ; [ред.-сост. Д. В. Марьин] ; М-во культуры Алт. края, Всерос. мемор. музей-заповедник В. М. Шукшина. — 2-е изд., изм. — Барнаул ; Алтайский дом печати, 2022. — 384 с. : [1] лит. порт.

ISBN 978-5-98550-548-1

В книгу избранных произведений В. М. Шукшина вошли самые известные литературные произведения писателя: рассказы, киноповести, очерки, которые достаточно полно и ярко представляют его прозаическое наследие. Тексты снабжены постраничными комментариями, объясняющими значение диалектных и просторечных слов. Сборник рассчитан на широкий круг читателей – поклонников творчества В. М. Шукшина.

ISBN 978-5-98550-548-1

ББК: 84(2Рос-Рус)6-4

© В. М. Шукшин, 2022
© КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина», 2022
© КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова», 2022

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Василий Макарович Шукшин (1929-1974), русский писатель, кинорежиссер и актер, пожалуй, — самый известный уроженец Алтайского края в пантеоне деятелей отечественной культуры XX века. Его творчество, ставшее откровением для читателей и кинозрителей 1960-1970-х гг., уверенно пережило период политических и идеологических пертурбаций в нашей стране в конце 1980-х, — начале 1990-х гг. и по-прежнему актуально в XXI веке, любимо и почитаемо самой широкой аудиторией. Невозможно «Шукшина не заметить, забыть, пропустить и выбросить из русской истории, объявить устаревшим, ненужным, лишним»*, — справедливо отмечает биограф писателя и кинорежиссера Алексей Варламов. Сегодня литературные произведения Шукшина издаются многотысячными тиражами, изучаются в школе, активно переводятся на языки народов России и зарубежья. Без преувеличения, «творчество Шукшина, — достояние не только русской, но и мировой культуры»**.

На малой родине В.М. Шукшина — на Алтае, делается много для увековечивания его памяти. В селе Сростки Бийского района с 1977 г. работает Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина, включающий несколько зданий-памятников и имеющий богатую коллекцию уникальных документов и предметов, принадлежавших писателю. С 1976 г. в Барнауле, Бийске,

* Варламов А.Н. Шукшин М.: Молодая гвардия, 2015. С.7

** Алавердян К. Поэтика малой прозы В. М. Шукшина. Барнаул: Азбука, 2010. С. 177

Сростках проводится Всероссийский фестиваль «Шукшинские Дни на Алтае», ежегодно собирающий на своих площадках тысячи поклонников творчества автора «Калины красной» со всех уголков России и из-за рубежа. С 1999 г. под лозунгом «Нравственность есть Правда» проходит Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. С 2007 г. присуждается Шукшинская литературная премия Губернатора Алтайского края. Имя В. М. Шукшина носят Алтайский краевой театр драмы в Барнауле и Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет в Бийске.

Не спадает научный интерес к исследованию литературного наследия выдающегося писателя. Первая в СССР кандидатская диссертация, посвященная творчеству В. М. Шукшина, была защищена преподавателем Барнаульского педагогического института В. Ф. Горном в 1977 г. В 1984 г. в Ленинградском государственном университете состоялась первая всесоюзная научная конференция, приуроченная к 55-летию Шукшина, на которой впервые литературное творчество писателя и его биография оказались основным объектом исследования. С 1989 г. в Барнауле, в Алтайском государственном университете регулярно проводится научно-практическая конференция «В. М. Шукшин. Жизнь и творчество», в которой принимают участие исследователи, представляющие разные отрасли гуманитарной науки (филологи, культурологи, педагоги, журналисты, историки, музееведы и т.д.) из многих регионов России и зарубежных стран.

В 2009 г. к 80-летию В. М. Шукшина коллективом филологов Алтайского госуниверситета было подготовлено Собрание сочинений в 8 тт., вышедшее из печати благодаря губернаторской издательской программе. В 2014 г., после доработки

и дополнения новыми материалами, появилось на свет переработанное тем же составом редакторов самое полное на сегодня девятитомное собрание сочинений писателя*.

Настоящее издание избранных произведений В.М. Шукшина подготовлено по заказу и при финансовой поддержке Правительства Алтайского края в рамках губернаторского издательского проекта и рассчитано на широкий круг читателей, — поклонников творчества В.М. Шукшина. В него вошли самые известные литературные произведения писателя, — рассказы, киноповести, очерки, которые достаточно полно и ярко представляют прозаическое наследие Шукшина. В основу издания были положены тексты из девятитомного собрания сочинений В.М. Шукшина, вновь выверенные и для удобства чтения снабженные постраничными комментариями, объясняющими значение диалектных и просторечных слов.

Редактор-составитель выражает надежду, что книга заслужит признание у любителей творчества известного русского писателя и вызовет искренний интерес у молодого поколения шукшинистов.

* Шукшин В.М. Собрание сочинений: в 9 т. / под общ. ред. Д.В. Марьина. Барнаул : ООО «Издательский Дом "Барнаул"», 2014.



A black and white photograph of a snowy landscape. In the background, a small house with a gabled roof is partially visible, its windows glowing with light. A path or road winds through the snow-covered ground in the foreground. The sky is filled with falling snow, creating a soft, hazy atmosphere. The overall scene is peaceful and wintry.

Рассказы

СВЕТЛЫЕ ДУШИ

Михайло Беспалов полторы недели не был дома: возили зерно из далеких глубинок.

Приехал в субботу, когда солнце уже садилось. На машине. Долго выруливал в узкие ворота, сотрясая застоявшийся теплый воздух гулом мотора.

Въехал, заглушил мотор, открыл капот и залез под него.

Из избы вышла жена Михайлы, Анна, молодая круглолицая баба. Постояла на крыльце, посмотрела на мужа и обиженно заметила:

— Ты б хоть поздороваться зашел.

— Здорово, Нюся! — приветливо сказал Михайло и пошевелил ногами в знак того, что он все понимает, но очень сейчас занят.

Анна ушла в избу, громко хлопнув дверью.

Михайло пришел через полчаса.

Анна сидела в переднем углу, скрестив руки на высокой груди. Смотрела в окно. На стук двери не повела бровью.

— Ты чего? — спросил Михайло.

— Ничего.

— Вроде сердишься?

— Ну что ты! Разве можно на трудящийся народ сердиться? — с неумелой насмешкой и горечью возразила Анна.

Михайло неловко потоптался на месте. Сел на скамейку у печки, стал разуваться. Анна глянула на него и всплеснула руками:

— Mamочка родимая! Грязный-то!..

— Пыль, — объяснил Михайло, засовывая портянки в сапоги.

Анна подошла к нему, разняла на лбу спутанные волосы, потрогала ладошкой небритые щеки мужа и жадно прильнула горячими губами к его потрескавшимся, солоновато-жестким, пропахшим табаком и бензином губам.

— Прямо места живого не найдешь, господи ты мой! — жарко шептала она, близко разглядывая его лицо.

Михайло прижимал к груди податливое мягкое тело и счастливо гудел:

— Замараю ж я тебя всю, дуреха такая!..

— Ну и марай... марай, не думай! Побольше бы так марал!

— Соскучилась небось?

— Соскучишься! Уедет на целый месяц...

— Где же на месяц? Эх ты... акварель!

— Пусти, пойду баню посмотрю. Готовься. Белье вон на ящике. — Она ушла.

Михайло, ступая догоряча натруженными ногами по прохладным доскам вымытого пола, прошел в сени, долго копался в углу среди старых замков, железяк, мотков проволоки: что-то искал. Потом вышел на крыльцо, крикнул жене:

— Ань! Ты, случайно, не видела карбюратор?

— Какой карбюратор?

— Ну такой... с трубочками!

— Не видела я никаких карбюраторов! Началось там опять...

Михайло потер ладонью щеку, посмотрел на машину, ушел в избу. Поискал еще под печкой, заглянул под кровать... Карбюратора нигде не было.

Пришла Анна.

— Собрался?

— Тут, понимаешь... штука одна потерялась, — сокрушенно заговорил Михайло. — Куда она, оканная?

— Господи! — Анна поджала малиновые губы. На глазах ее заблестели светлые капельки слез. — Ни стыда, ни совести у человека! Побудь ты хозяином в доме! Приедет раз в год и то никак не может расстаться со своими штуками...

Михайло поспешно подошел к жене.

— Чего сделать, Нюся?

— Сядь со мной. — Анна смахнула слезы.

Сели.

— У Василисы Калугиной есть полупальто плюшевое... хоро-о-шенькое! Видел, наверно, она в нем по воскресеньям на базар ездит!

Михайло на всякий случай сказал:

— Ага! Такое, знаешь... — Михайло хотел показать, какое пальто у Василисы, но скорее показал, как сама Василиса ходит: вихляясь без меры. Ему очень хотелось угодить жене.

— Вот. Она это полупальто продает. Просит четыре сотни.

— Так... — Михайло не знал, много это или мало.

— Так вот я думаю: купить бы его? А тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно глянется мне, Миша. Я давеча примерила — как влитое сидит!

Михайло тронул ладонью свою выпуклую грудь.

— Взять это полупальто. Чего тут думать?

— погоди ты! Разлысил лоб... Денег-то нету. А я вот что придумала: давай продадим одну овечку! А себе ягненка возьмем...

— Правильно! — воскликнул Михайло.

— Что правильно?

— Продать овечку

— Тебе хоть все продать! — Анна даже поморщилась.

Михайло растерянно заморгал добрыми глазами.

— Сама же говорит, елки зеленые!

— Так я говорю, а ты пожалей. А то я — продать, и ты — продать. Ну и распродадим так все на свете!

Михайло открыто залюбовался женой.

— Какая ты у меня... головастая!

Анна покраснела от похвалы.

— Разглядел только...

Из бани возвращались поздно. Уже стемнело.

Михайло по дороге отстал. Анна с крыльца услышала, как скрипнула дверца кабины.

— Миша!

— Аиньки! Я сейчас, Нюся, воду из радиатора спущу.

— Замараешь белье-то!

Михайло в ответ зазвякал гаечным ключом.

— Миша!

— Одну минуту, Нюся.

— Я говорю, замараешь белье-то!

— Я же не прижимаюсь к ней.

Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталась ждать мужа на крыльце.

Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе.

— Ну, сделал?

— Надо бы карбюратор посмотреть. Стрелять что-то начала.

— Ты ее не целуешь, случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал, как за ней, черт ее надавал, проклятую! — рассердилась Анна.

— Ну вот... При чем она здесь?

— При том. Жизни никакой нету.

В избе было чисто, тепло. На шестке весело гудел самовар.

Михайло прилег на кровать; Анна собирала на стол ужин.

Неслышно ходила по избе, носила бесконечные туески, кринки и рассказывала последние новости:

— ...Он уж было закрывать собрался магазин свой. А тот — то ли поджидал специально — тут и был! «Здрассти, — говорит, — я ревизор...»

- Хэх! Ну? — Михайло слушал.
- Ну тот туда-сюда — заезозил. Тыр-пыр — семь дыр, а выскочить некуда. Да. Хворым прикинулся...
- А ревизор что?
- А ревизор свое гнет: «Давайте делать ревизию». Опытный попался.
- Тэк. Влопался, голубчик?
- Всю ночь сидели. А утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ.
- Сколько дали?
- Еще не судили. Во вторник суд будет. А за ними давно уж народ замечал. Зюечка-то его последнее время в день по два раза переодевалась. Не знала, какое платье надеть. Как на пропасть! А сейчас ноет ходит: «Может, ошибка еще». Ошибка! Ганя ошибется!
- Михайло задумался о чем-то.
- За окнами стало светло: взошла луна. Где-то за деревней голосила поздняя гармонь.
- Садись, Миша.
- Михайло задал в пальцах окурков, скрипнул кроватью.
- У нас одеяло какое-нибудь старое есть? — спросил он.
- Зачем?
- А в кузов постелить. Зерна много сыплется.
- Что они, не могут вам брезенты выдать?
- Их пока жареный петух не клюнет — не хватятся. Все обещают.
- Завтра найдем чего-нибудь.
- Ужинали не торопясь, долго.
- Анна слазила в подпол, нацедила ковшик медовухи — для пробы.
- Ну-ка, оцени.
- Михайло одним духом осушил ковш, отер губы и только после этого выдохнул:
- Ох... хороша-а!

— К празднику совсем дойдет. Ешь теперь. Прямо с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миша, до работы. Нельзя так. Другие, помотришь, гладкие приедут, как боровья... сытые — загляденье! А на тебя смотреть страшно.

— Ничего-о, — гудел Михайло. — Как у вас тут?

— Рожь сортируем. Пылища!.. Бери вон блинцы со сметанкой. Из новой пшеницы. Хлеба-то нынче сколько, Миша! Прямо страсть берет. Куда уж его столько?

— Нужно. Весь СССР прокормить — это... одна шестая часть.

— Ешь, ешь! Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то.

Михайло раскраснелся, глаза заискрились веселой лаской. Смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное. Но, видно, не находил нужного слова.

Спать легли совсем поздно.

В окна лился негреющий серебристый свет. На полу, в светлом квадрате, шевелилось темное кружево теней.

Гармонь ушла на покой. Теперь только далеко в степи ровно, на одной ноте, гудел одинокий трактор.

— Ночь-то! — восторженно прошептал Михайло. Анна, уже полусонная, пошевелилась.

— А?

— Ночь, говорю...

— Хорошая.

— Сказка просто!

— Перед рассветом под окном пташка какая-то распевает, — невнятно проговорила Анна, забираясь под руку мужа. — До того красиво...

— Соловей?

— Какие же сейчас соловьи!

— Да, верно...

Замолчали. Анна, крутившая весь день тяжелую веялку, скоро уснула.

Михайло полежал еще немного, потом осторожно высвободил свою руку, вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы.

Когда через полчаса Анна хватилась мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. На крыле ослепительно блестели под луной его белые кальсоны. Михайло продувал карбюратор.

Анна негромко окликнула его.

Михайло вздрогнул, сложил на крыло детали и мелкой рысью побежал в избу. Молчком залез под одеяло и притих.

Анна, устраиваясь около его бока, выговаривала ему:

— На одну ночь приедет и то норовит убежать! Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину. Она дождется у меня!

Михайло ласково похлопал жену по плечу — успокаивал.

Когда обида малость прошла, он повернулся к ней и стал рассказывать шепотом:

— Там что, оказывается: ма-аленький клочочек ваты попал в жиклер. А он же, знаешь, жиклер... там иголка не пролезет.

— Ну теперь-то все хоть?

— Конечно.

— Бензином опять несет! Ох... господи!..

Михайло хохотнул, но тут же замолчал.

Долго лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно.

Михайло осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку

— Ты опять? — спросила Анна.

— Я попить хочу.

— В сенцах в кувшине — квас. Потом закрой его.

Михайло долго возился среди тазов, кадочек, нашел, наконец, кувшин, опустился на колени и, приложившись, долго пил холодный, с кислинкой квас.

— Хо-ох! Елки зеленые! Тебе надо?

— Нет, не хочу.

Михайло шумно вытер губы, распахнул дверь сеней...

Стояла удивительная ночь — огромная, светлая, тихая... По небу кое-где плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка.

Вдыхая всей грудью вольный, настоящий на запахе полыни воздух, Михайло сказал негромко:

— Ты гляди, что делается!.. Ночь-то!..

1961

СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ

«А что, мама? Тряхни стариной — приезжай. Москву поглядишь и вообще. Денег на дорогу вышлю. Только добирайся лучше самолетом — это дешевле станет. И пошли сразу телеграмму, чтобы я знал, когда встречать. Главное, не трусь».

Бабка Маланья прочитала это, сложила сухие губы трубочкой, задумалась.

— Зовет Павел-то к себе, — сказала она Шурке и поглядела на него поверх очков. (Шурка — внук бабки Маланьи, сын ее дочери. У дочери не клеилась личная жизнь (третий раз вышла замуж), бабка уговорила ее отдать ей пока Шурку. Она любила внука, но держала его в строгости.)

Шурка делал уроки за столом. На слова бабки пожал плечами — поезжай, раз зовет.

— У тебя когда каникулы-то? — спросила бабка строго.

Шурка наострил уши.

— Какие? Зимние?

— Какие же еще, летние, что ль?

— С первого января. А что?

Бабка опять сделала губы трубочкой — задумалась.

А у Шурки тревожно и радостно сжалось сердце.

— А что? — еще раз спросил он.

— Ничего. Учи знай. — Бабка спрятала письмо в карман передника, оделась и вышла из избы.

Шурка подбежал к окну — посмотреть, куда она направилась.

У ворот бабка Маланья повстречала соседку и стала громко рассказывать:

— Зовет Павел-то в Москву погостить. Прямо не знаю, что делать. Прямо ума не приложу. «Приезжай, говорит, мама, шибко я по тебе соскучился».

Соседка что-то отвечала, Шурка не слышал что, а бабка ей громко:

— Оно, знамо дело, можно бы. Внучат ни разу не видела еще, только на карточке. Да шибко уж страшно...

Около них остановились еще две бабы, потом еще одна подошла, потом еще... Скоро вокруг бабки Маланьи собралось изрядно народа, и она снова и снова начинала рассказывать:

— Зовет Павел-то к себе, в Москву. Прямо не знаю, что делать?..

Видно было, что все ей советуют ехать.

Шурка сунул руки в карманы и стал ходить по избе. Выражение его лица было мечтательным и тоже задумчивым, как у бабки. Он вообще очень походил на бабку — такой же сухощавый, скуластый, с такими же маленькими умными глазами. Но характеры у них были вовсе несхожие. Бабка — энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная. Шурка тоже любознательный, но застенчивый до глупости, скромный и обидчивый.

Вечером составляли телеграмму в Москву. Шурка писал, бабка диктовала.

— Дорогой сынок Паша, если уж ты хочешь, чтобы я приехала, то я, конечно, могу, хотя мне на старости лет...

— Привет! — сказал Шурка. — Кто же так телеграммы пишет?

— А как надо, по-твоему?

— Приедем. Точка. Или так: приедем после Нового года. Точка. Подпись: мама. Все.

Бабка даже обиделась.

— В шестой класс ходишь, Шурка, а понятия никакого. Надо же умнеть помаленьку!

Шурка тоже обиделся.

— Пожалуйста, — сказал он. — Мы так, знаешь, на сколько напишем? Рублей на двадцать по старым деньгам.

Бабка сделала губы трубочкой, подумала.

— Ну, пиши так: сынок, я тут посоветовалась кое с кем...

Шурка отложил ручку.

— Я не могу так. Кому это интересно, что ты тут посоветовалась кое с кем? Нас на почте на смех поднимут.

— Пиши, как тебе говорят! — приказала бабка. — Что я, для сына двадцать рублей пожалею?

Шурка взял ручку и, снисходительно сморщившись, склонился к бумаге.

— Дорогой сынок Паша, поговорила я тут с соседями — все советуют ехать. Конечно, мне на старости лет боязно маленько...

— На почте все равно переделают, — вставил Шурка.

— Пусть только попробуют!

— Ты и знать не будешь.

— Пиши дальше: мне, конечно, боязно маленько, но уж... ладно. Приедем после Нового года. Точка. С Шуркой. Он уж теперь большой стал. Ничего, послушный парень...

Шурка пропустил эти слова — насчет того, что он стал большой и послушный.

— Мне с ним не так боязно будет. Пока до свиданья, сынок. Я сама об вас шибко...

Шурка написал: «жутко».

— ...соскучилась. Ребятишек твоих хоть посмотрю. Точка. Мама.

— Посчитаем, — злорадно сказал Шурка и стал тыкать пером в слова и считать шепотом: — Раз, два, три, четыре...

Бабка стояла за его спиной, ждала.

— Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят! Так? Множим шестьдесят на тридцать — одна тыща восемьсот? Так? Делим на сто — имеем восемнадцать... На двадцать с чем-то рублей! — торжественно объявил Шурка.

Бабка забрала телеграмму и спрятала в карман.

— Сама на почту пойду. Ты тут насчитаешь, грамотей.

— Пожалуйста. То же самое будет. Может, на копейки какие-нибудь ошибся.

...Часов в одиннадцать к ним пришел Егор Лизунов, сосед, школьный завхоз. Бабка просила его домашних, чтобы, когда он вернется с работы, зашел к ней. Егор много ездил на своем веку, летал на самолетах.

Егор снял полшубок, шапку, пригладил заскорузлыми ладонями седеющие потные волосы, сел к столу. В горнице запахло сеном и сбруей.

— Значит, лететь хотите?

Бабка слезила под пол, достала четверть с медовухой.

— Лететь, Егор. Расскажи все по порядку — как и что.

— Так чего тут рассказывать-то? — Егор не жадно, а как-то даже немножко снисходительно смотрел, как бабка наливает пиво. — Доедете до города, там сядете на «Бийск — Томск», доедете на нем до Новосибирска, а там спросите, где городская воздушная касса. А можно сразу до аэропорта ехать...

— Ты погоди! Заладил: можно, можно. Ты говори, как надо, а не как можно. Да помедленней. А то свалил все в кучу. — Бабка подставила Егору стакан с пивом, строго посмотрела на него.

Егор потрогал стакан пальцами, погладил.

— Ну, доедете, значит, до Новосибирска и сразу спрашивайте, как добраться до аэропорта. Запоминай, Шурка.

— Записывай, Шурка, — велела бабка.

Шурка вырвал из тетрадки чистый лист и стал записывать.

— Доедете до Толмачева, там опять спросите, где продают билеты до Москвы. Возьмете билеты, сядете на Ту-104 и через пять часов в Москве будете, в столице нашей Родины.

Бабка, подперев голову сухим маленьким кулачком, горестно слушала Егора. Чем больше тот говорил и чем проще представлялась ему самому эта поездка, тем озабоченнее становилось ее лицо.

— В Свердловске, правда, сделаете посадку...

— Зачем?

— Надо. Там нас не спрашивают. Сажают, и все. — Егор решил, что теперь можно и выпить. — Ну?.. За легкую дорогу!

— Держи. Нам в Свердловске-то надо самим попроситься, чтоб посадили, или там всех сажают?

Егор выпил, смачно крякнул, разгладил усы.

— Всех. Хорошее у тебя пиво, Маланья Васильевна. Как ты его делаешь? Научила бы мою бабу...

Бабка налила ему еще один стакан.

— Когда скупиться перестанете, тогда и пиво хорошее будет.

— Как это? — не понял Егор.

— Сахару побольше кладите. А то ведь вы все подешевле да посердитей стараетесь. Сахару больше кладите в хмелину-то, вот и будет пиво. А на табаке его настаивать — это стыдоба.

— Да, — задумчиво сказал Егор. Поднял стакан, поглядел на бабку, на Шурку, выпил.

— Да-а, — еще раз сказал он. — Так-то оно так, конечно. Но в Новосибирске когда будете, смотрите не оплошайте.

— А что?

— Да так... Все может быть. — Егор достал кассет, закурил, выпустил из-под усов громадное белое облако дыма. — Главное, конечно, когда приедете в Толмачево, не спутайте кассы. А то во Владивосток тоже можно улететь.

Бабка встревожилась и подставила Егору третий стакан.

Егор сразу его выпил, крикнул и стал развивать свою мысль:

— Бывает так, что подходит человек к восточной кассе и говорит: «Мне билет». А куда билет — это он не спросит. Ну и летит человек совсем в другую сторону. Так что — смотрите.

Бабка налила Егору четвертый стакан. Егор совсем размяк. Говорил с удовольствием:

— На самолете лететь — это надо нервы да нервы! Вот он поднимается — тебе сразу конфетку дают...

— Конфетку?

— А как же. Мол, забудься, не обращай внимания... А на самом деле, это самый опасный момент. Или тебе, допустим, говорят: «Привяжись ремнями». — «Зачем?» — «Так положено». — Хэх... положено. Скажи прямо: можем навернуться, и все. А то — положено.

— Господи, господи! — сказала бабка. — Так зачем же и лететь-то на нем, если так...

— Ну, волков бояться — в лес не ходить. — Егор посмотрел на четверть с пивом. — Вообще реактивные, они, конечно, надежнее. Пропеллерный, тот может в любой момент сломаться — и пожалуйста... Потом: горят они часто, эти моторы. Я один раз летел из Владивостока... — Егор удобнее устроился на стуле, закурил новую, опять посмотрел на четверть. Бабка не пошевелилась. — Летим, значит, я смотрю в окно: горит...

— Свят, свят! — сказала бабка.

Шурка даже рот приоткрыл — слушал.

— Да. Ну, я, конечно, закричал. Прибежал летчик... Ну, в общем, ничего — отmaterил меня. «Чего ты, говорит, панику поднимаешь?» Там горит, а ты не волнуйся, сиди... Такие порядки в этой авиации.

Шурке показалось это неправдоподобным. Он ждал, что летчик, увидев пламя, будет сбивать его скоростью или сделает вынужденную посадку, а вместо этого он отругал Егора. Странно.

— Я одного не понимаю, — продолжал Егор, обращаясь к Шурке, — почему пассажирам парашютов не дают?

Шурка пожал плечами. Он не знал, что пассажирам не даются парашюты. Это, конечно, странно, если это так.

Егор ткнул папироску в цветочный горшок, привстал, налил сам из четверти.

— Ну и пиво у тебя, Маланья!

— Ты шибко-то не налегай — захмелеешь.

— Пиво, просто... — Егор покачал головой и выпил.

— Кху! Но реактивные, те тоже опасные. Тот, если что сломалось, топором летит вниз. Тут уж сразу... И костей потом не соберут. Триста грамм от человека остается. Вместе с одеждой. — Егор нахмурился и внимательно посмотрел на четверть. Бабка взяла ее и унесла в прихожую комнату. Егор посидел еще немного и встал. Его слегка качнуло.

— А вообще-то не бойтесь! — громко сказал он. — Садитесь только подальше от кабины — в хвост — и летите. Ну, пойду...

Он грузно прошел к двери, надел полушубок, шапку.

— Поклон Павлу Сергеевичу передавайте. Ну, пиво у тебя, Маланья! Просто...

Бабка была недовольна, что Егор так скоро захмелел — не поговорили толком.

— Слабый ты какой-то стал, Егор.

— Устал, поэтому. — Егор снял с воротника полушубка соломинку. — Говорил нашим деяте-

лям: давайте вывезем летом сено — нет! А сейчас, после этого бурана, дороги все позанесло. Весь день сегодня пластались, насили к ближним стогам пробилась. Да еще пиво у тебя такое... — Егор покачал головой, засмеялся. — Ну, пошел. Ничего, не робейте — летите. Садитесь только подальше от кабины. До свиданья.

— До свиданья, — сказал Шурка.

Егор вышел; слышно было, как он осторожно спустился с высокого крыльца, прошел по двору, скрипнул калиткой и на улице негромко запел:

Раскинулось море широко...

И замолчал.

Бабка задумчиво и горестно смотрела в темное окно. Шурка перечитывал то, что записал за Егором.

— Страшно, Шурка, — сказала бабка.

— Летают же люди...

— Поедем лучше на поезде?

— На поезде — это как раз все мои каникулы на дорогу уйдут.

— Господи, господа! — вздохнула бабка. — Давай писать Павлу. А телеграмму анулируем.

Шурка вырвал из тетрадки еще один лист.

— Значит, не полетим?

— Куда же лететь — страсть такая, батюшки мои! Соберут потом триста грамм...

Шурка задумался.

— Пиши: дорогой сынок Паша, посоветовалась я тут со знающими людьми...

Шурка склонился к бумаге.

— Порассказали они нам, как летают на этих самолетах... И мы с Шуркой решили так: поедем уж летом на поезде. Оно, знамо, можно бы и теперь, но у Шурки шибко короткие каникулы получаются...

Шурка секунду-две помешкал и продолжал писать:

«А теперь, дядя Паша, это я пишу, от себя. Бабоньку напугал дядя Егор Лизунов, завхоз наш, если вы помните. Он, например, привел такой факт: он выглянул в окно и видит, что мотор горит. Если бы это было так, то летчик стал бы сшибать пламя скоростью, как это обычно делается. Я предполагаю, что он увидел пламя из выхлопной трубы и поднял панику. Вы, пожалуйста, напишите бабоньке, что это нестрашно, но про меня — что это я вам написал — не пишите. А то и летом она тоже не поедет. Тут огород пойдет, свиннота разная, куры, гуси — она сроду от них не уедет. Мы же все-таки сельские жители еще. А мне ужасно охота Москву поглядеть. Мы ее проходим в школе по географии и по истории, но это, сами понимаете, не то. А еще дядя Егор сказал, например, что пассажирам не даются парашюты. Это уже — шантаж. Но бабонька верит. Пожалуйста, дядя Паша, пристыдите ее. Она же вас ужасно любит. Так вот вы ей и скажите: как же это так, мама, сын у вас сам летчик, Герой Советского Союза, много раз награжденный, а вы боитесь летать на каком-то несчастном гражданском самолете! В то время, когда мы уже преодолели звуковой барьер. Напишите так, она вмиг полетит. Она же очень гордится вами. Конечно — заслуженно. Я лично тоже горжусь. Но мне ужасно охота глянуть на Москву. Ну, пока до свиданья. С приветом — Александр».

А бабка между тем диктовала:

— ...Поближе туда к осени поедем. Там и грибки пойдут, солонинки какой-нибудь можно успеть приготовить, варенья сварить облепишного. В Москве-то ведь все с купли. Да и не сделают они так, как я по-домашнему сделаю. Вот так, сынок. Поклон жене своей и ребятишкам от меня и от Шурки. Все пока. Записал?

— Записал.

Бабка взяла лист, вложила в конверт и сама написала адрес:

«Москва, Ленинский проспект, д. 78, кв. 156.

Герою Советского Союза Любавину Павлу Игнатьевичу.

От матери его из Сибири».

Адрес она всегда подписывала сама: знала, что так дойдет вернее.

— Вот так. Не тоскуй, Шурка. Летом поедем.

— А я и не тоскую. Но ты все-таки помаленьку подсобирывайся: возьмешь да надумаешь лететь.

Бабка посмотрела на внука и ничего не сказала.

Ночью Шурка слышал, как она ворочалась на печи, тихонько вздыхала и шептала что-то.

Шурка тоже не спал. Думал. Много необыкновенного сулила жизнь в ближайшем будущем. О таком даже не мечталось никогда.

— Шурк! — позвала бабка.

— А?

— Павла-то, наверно, в Кремль пускают?

— Наверно. А что?

— Побывать бы хоть разок там... посмотреть.

— Туда сейчас всех пускают.

Бабка некоторое время молчала.

— Так и пустили всех, — недоверчиво сказала она.

— Нам Николай Васильевич рассказывал.

Еще с минуту молчали.

— Но ты тоже, бабонька: где так смелая, а тут испугалась чего-то, — сказал Шурка недовольно.

— Чего ты испугалась-то?

— Спи знай, — приказала бабка. — Храбрец. Сам первый в штаны наложишь.

— Спорим, что не испугаюсь?

— Спи знай. А то завтра в школу опять не добудишься.

Шурка затих.

1962

ДЕМАГОГИ

Солнце клонилось к закату. На воду набегал ветерок, пригибал на берегу высокую траву, шебаршил в кустарнике. Камнем, грудью вперед, падали на воду чайки, потом взмывали вверх и тоскливо кричали.

Внизу, под обрывистым берегом, плескалась в вымоинах вода. Плескалась с таким звуком, точно кто ладошками пришепывал по голому телу.

Вдоль берега шли двое: старик и малый лет десяти — Петька. Петька до того белобрыс, что кажется: подуй ветер сильнее, и волосы его облетят, как одуванчик.

Старик нес на плече свернутый сухой невод.

Петька шел впереди, засунув руки в карманы штанов, посматривал на небо. Время от времени сплевывал через зубы.

Разговаривали.

— ...Я ему на это отвечаю, слышь: «Милый, говорю, человек! Ты мне в сыны три раза годишься, а ты со мной так разговариваешь». — Старик подкинул на плече невод. Он страдал глухотой, поэтому говорил громко, почти кричал. «Ты, конечно, начальство!.. Но для меня ты — ноль без палочки. Я охраняю государственное учреждение, и ты на меня не ори, пожалуйста!»

— А он что? — спросил Петька.

— А?

— А он что на это?

— Он? «А я, — говорит, — на тебя вовсе не ору». Тогда я ему на это: «Как же ты на меня не орешь, ежели я все слышу! Когда на меня не орут, я не слышу».

— Ха-ха-ха! — закатился Петька.

Старик прибавил шагу, догнал Петьку и спросил, тоже улыбаясь:

— Чего ты?

— Хитрый ты, деда!

— Я-то? Меня если кто обманет, тот дня не проживет. Я сам кого хошь обману. И я тебе так скажу...

Под обрывом, в затоне, сплавилась большая рыба; по воде пошли круги.

Петька замер.

— Видал?

Старик тоже остановился.

— Здесь рыбешка имеется, — негромко сказал он. — Только коряг много.

Петька как зачарованный смотрел на воду.

— Вот такая, однако! — Он показал руками около метра.

— Талмешка* ... Тут переметом. Или лучить. Неводом тут нельзя — порвешь только. — Старик тоже смотрел на воду. Он был длинный, сухой, с благообразным, очень опрятным свежим лицом. Глаза молодые и умные.

Еще сплавилась одна рыба; опять по воде пошли круги.

— Ох ты! — тихонько воскликнул Петька и глотнул слюну. — Может, попробуем?

— А? Нет, порвем невод, и все. Я тебе точно говорю. Я эти места знаю. Здесь одна девка утонула. Раньше еще, когда я молодой был.

Петька посмотрел на старика.

— Как утонула?

— Как... Нырнула и запуталась волосами в коряге. У нее косы сильно большие были.

Помолчали.

* Таймень (прим. ред.)

— Деда, а почему так бывает: когда человек утонет, он лежит на дне, а когда пройдет время, он выплывает наверх. Почему это?

— Его раздувает, — пояснил дед.

— Ее нашли потом?

— Кого?

— Девку ту.

— Конечно. Сразу нашли... Вся деревня, помню, смотреть сбежалась. — Дед помолчал и добавил задумчиво: — Она красивая была... Марья Малюгина.

Петька глядел на воду, в которой притаилась страшная коряга.

— Она здесь лежала? — Петька показал глазами на берег.

— Где-то здесь. Я уже забыл теперь. Давно это было.

Петька еще некоторое время смотрел на воду.

— Жалко девку, — вздохнул он. — Ныряет в воду и косы зачем-то распускать. Вот дуреха!

— А?

— Я про Марью!

— Хорошая девка была. Шибко уж красивая.

Шумела река, шелестел в чаще ветер. Вода у берегов порозовела — солнце садилось за далекие горы. Посвежело. Ветер стал дергать по воде сильнее. Река наершилась рябью.

— Пошли, Пётра. Ветер подымается. К ночи большой будет: с севера повернул.

Петька, не вынимая рук из карманов, двинулся дальше.

— Северный ветер холодный. Правильно?

— Верно.

— Потому что там Северный Ледовитый океан.

Дед промолчал на это замечание внука.

— Деда, а знаешь, почему наша речка летом разливается? Другие весной — нормально, а наша в середине лета. Знаешь?

— Почему?

— Потому что она берет начало в горах. А снег, сам понимаешь, в горах только летом тает.

— Это вам учительша все рассказывает?

— Ага.

— Она верно понимает. Какие теперь люди пошли! Ей небось и тридцати нету?

— Это я не знаю.

— А?

— Не знаю, говорю!

— Ей, наверно, двадцать так. А она уж столько понимает. Почти с мое.

— Она умная. Петька поднял камень и кинул в воду. — А я на руках ходить умею! Ты не видел еще?

— Ну-ка...

Петька разбежался, стал на руки и... брякнулся на задницу.

— Погоди! Еще раз!!!

Дед засмеялся.

— Ловко ты!

— Да ты погоди! Глянь!.. — Петька еще раз разбежался и снова упал.

— Ну будет, будет! — сказал дед. — Я верю, что ты умеешь.

— Надо малость потренироваться. Я же вчера только научился. — Петька отряхнул штаны. — Ну ладно, завтра покажу.

...Подошли к месту, где река делает крутой поворот. Вода здесь несется с бешеной скоростью, кипит в камнях, пенится. Здесь водятся хариусы.

Разделись. Дед развернул невод и первым полез в воду. Вода была студеная. Дед посинел и открылся гусиной кожей.

— Ух-ха! — воскликнул он и сел с маху в воду, чтобы сразу притерпеться к холоду.

Петька засмеялся.

— Дерет?

Дед фыркал, крутил головой, одной рукой выжимал бороду, а другой удерживал невод.

— Пошли!

Поставили палки вертикально и побежали, обгоняя течение. Невод выгнулся дугой впереди них и тянул за собой. Петька скользил по камням. Один раз ухнул в ямку, выскочил, закрутил головой и воскликнул, как дед:

— Ух-ха!

— Подбавь! — кричал дед.

Вода доставала ему до бороды; он подпрыгивал и плевался.

Вдруг невод сильно повлекло течением от берега вглубь. Петька прикусил губу, изо всех сил удерживая его.

— Держи, Пётра! — кричал дед. Вода заливала ему рот.

Петька напрягал последние силы.

Голова деда исчезла. Невод сильно рвануло. Петька упал, но палку из рук не выпустил. Его нанесло на большой камень, крепко ударило. Петька хотел ухватиться одной рукой за этот камень, но рука соскользнула с его ослизлого бока. Петьку понесло дальше.

Он вытянул вперед ноги и тотчас ударился еще об один камень. На этот раз ему удалось упереться ногами в камень и сдержать невод.

Огляделся — деда не было видно. Только на короткое мгновение голова его показалась над водой. Он успел крикнуть:

— Ноги! Дер... — И опять исчез под водой.

Невод сильно дергало. Петька понял: ноги деда запутались в неводе. Петька согнулся пополам, закусил до крови губу и медленно стал выходить на берег. Упругие волны били в грудь, руки онемели от напряжения. Петька сморщился от боли и страха, но продолжал медленно, шаг за шагом,

то и дело срываясь с камней, идти к берегу и тащить невод, на другом конце которого барахтался спутанный по ногам дед.

...Дед был уже без сознания, когда Петька выволок его на берег.

— Деда! А деда!.. — звал Петька и плакал. Потом принялся делать ему искусственное дыхание.

Деда стало рвать водой. Он корчился и слабо стонал.

— Ты живой, деда? — обрадовался Петька.

— А?

Петька погладил деда по лицу.

— Напужался я до смерти, деда.

Дед закрутил головой.

— Звон стоит в голове. Чего ты сказал?

— Ничего.

— Ох-хох, Пётра... Я уж думал, каюк мне.

— Напужался?

— А?

— Здорово трухнул?

— Хрен там! Я и напужаться-то не успел.

Петька засмеялся.

— А я-то гляжу, была голова — и нету.

— Нету... Бодался бы я там сейчас с налимами. Ну, история. Понос теперь прохватит, это уж точно.

— И напужался ж я, деда! А главное, позвать некого.

— А?

— Ничего. — Петька смотрел на деда и не мог сдержать смех — до того был смешным и растерянным дед.

Дед тоже засмеялся и зябко поежился.

— Замерз? Сейчас костерчик разведем!

Петька принес одежду. Оделись. Затем набрал сухого валежника, поджег. И сразу ночь окружила их со всех сторон высокими черными стенами.

Громко трещал сухой тальник*, далеко отскакивали красные угольки. Ветер раздувал пламя костра, и огненные космы его трепались во все стороны.

Сидели, скрестив по-татарски ноги, и глядели на огонь.

— ...А как, значит, повез нас отец сюда, — рассказывал дед, — так я, слышь? — залез на крышу своей избы и горько плакал. Я тогда с тебя был, а может, меньше. Шибко уж неохота было из дома уезжать. Там у нас тоже речка была, она мне потом все снилась.

— Как называется?

— Ока.

— А потом?

— А потом — ничего. Привык. Тут, конечно, лучше. Тут же земли-то какие. Не сравнить с той. Тут земля жирная.

Петька засмеялся.

— Разве земля бывает жирная?

— А как же!

— Земля бывает черноземная и глинистая, — снисходительно пояснил Петька.

— Так это я знаю! Черноземная... Чернозем черноземом, а жирная тоже бывает.

— Что она, с маслом, что ли?

— Пошел ты! — обиделся дед. — Я ее всю жизнь вот этими руками пахал, а он мне будет доказывать. Иная земля, если ты хочешь знать, такая, что весной ты посеял в нее, а осенью получаешь натуральный шиш. А из другой, матушки, стебель в оглоблю прет, потому что она жирная.

— Ты «полоску» не знаешь?

— Какую полоску?

Петька начал читать стихотворение:

*Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился, поля опустели.
Только не сжата полоска одна, —
Грустную думу...*

* Ива (прим ред.).

— Забыл, как дальше.
— Песня? — спросил дед.
— Стихотворение.
— А?
— Не песня, а стихотворение!
— Это все одно: складно, значит петь можно.
— Здравствуйте! — воскликнул Петька. — Стихотворение — это особо, а песня — тоже особо.
— Ох! Ох! Поехал! — Дед подбросил хворосту в костер. — С тобой ведь говорить-то — надо сперва полбарана умять.

Некоторое время молчали.

— Деда, а как это песни сочиняют? — спросил Петька.

— Песни складывают, а не сочиняют, — пояснил дед. — Это когда у человека большое горе, он складывает песню, чтобы малость полегче стало. «Эх ты, доля, эх ты, доля», например.

— А «Эй, вратарь, готовься к бою»?

— Подожди... я сейчас... — Дед поднялся и побежал в кусты. — Какой вратарь? — спросил он.

— Ну, песня такая!

— А кто такой вратарь?

— Ну, на воротах стоит!..

— Не знаю. Это, наверно, шутейная песня. Таких тоже много. Я не люблю такие. Я люблю серьезные.

— Спой какую-нибудь!

Дед вернулся к костру.

— Чего ты говоришь?

— Спой песню!

— Песню? Можно. Старинную только. Я нынешних не знаю.

Но тут из темноты к костру вышла женщина, мать Петьки.

— Ну что мне прикажете с вами делать?! — воскликнула она. — Я там с ума схожу, а они костры

разводят. Марш домой! Сколько раз, папаша, я просила не задерживаться на реке до ночи. Боюсь я, ну как вы не понимаете?

Дед с Петькой молча поднялись и стали сворачивать невод. Мать стояла у костра и наблюдала за ними.

— А где же рыба-то? — спросила она.

— Чего? — не расслышал дед.

— Спрашивает: где рыба? — громко сказал Петька.

— Рыба-то? — Дед посмотрел на Петьку. — Рыба в воде. Где же ей еще быть.

Мать засмеялась.

— Эх вы, демагоги, — сказала она. — Задержитесь у меня еще раз до ночи... Пожалуюсь отцу, так и знайте. Он с вами иначе поговорит.

Дед ничего не сказал на это. Взвалил на плечо тяжелый невод и пошагал по тропинке первым, мать — за ним. Петька затоптал костер и догнал их.

Шли молча.

Шумела река. В тополях гудел ветер.

1962

ДАЛЕКИЕ ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА

Февраль 1942 года.

Под Москвой идут тяжелые бои.

А на окраине далекой сибирской деревеньки крикливая ребятня с раннего утра режется в бабки. Сумки с книжками валяются в стороне.

Обыгрывает всех знаменитый Мишка Босовило — коренастый малый в огромной шапке. Его биток, как маленький снаряд, вырывает с кона сразу штук по пять бабок. Мишка играет спокойно, уверенно. Прежде чем бить по кону, он снимает с правой руки рукавицу, сморкается по-мужичьи на дорогу, прищуривает левый глаз... прицеливается... Все затаив дыхание горестно следят за ним. Мишка делает шаг... второй... — р-р-раз! — срезал. У Мишки есть бабушка, а бабушка, говорят, того... поколдовывает. У ребятешек подозрение, что Мишкин биток заколдован.

Ванька Колокольников проигрался к обеду в пух и прах. Под конец, когда у него осталась одна бабка, он хотел словчить: заспорил с Гришкой Коноваловым, что сейчас его, Ванькина, очередь бить. Гришка стал доказывать свое.

— А по сопатке хошь? — спросил Ванька.

— Да ты же за Петькой бьешь-то?!

— Нет, ты по сопатке хошь? — Когда Ваньке нечего говорить, он всегда так спрашивает.

Их разняли.

Последнюю бабку Ванька выставил с болью, стиснув зубы. И проиграл. Потом стоял в стороне злой и мрачный.

— Мишка, хочешь «Барыню» оторву? — предложил он Мишке.

— За сколько? — спросил Мишка.

— За пять штук.

— Даю три.

— Четыре.

— Три.

— Ладно, пупырь, давай три. Скупердяй ты, Мишка!.. Я таких сроду не видывал. Как тебя еще земля держит?

— Ничего, держит, — спокойно сказал Мишка.

— Не хочешь — не надо. Сам же напрашиваешься.

Образовали круг. Ванька подбочился и пошел. В трудные минуты жизни, когда нужно растрогать человеческие сердца или отвести от себя карающую руку, Ванька пляшет «Барыню». И как пляшет! Взрослые говорят про него, что он, чертенок, «от хвоста грудинку отрывает».

Ванька пошел трясогузкой, смешно подкидывая зад. Помахивал над головой воображаемым платочком и бабьим голоском вскрикивал: «Ух! Ух! Ух ты!» Под конец Ванька всегда становился на руки и шел, сколько мог, на руках. Все смеялись.

Прошелся Ванька по кругу раз пять, остановился.

— Давай!

Мишка бросил на снег две бабки.

Ванька опешил.

— Мы же за три договаривались!

— Хватит.

Ванька передвинул шапку козырьком на затылок и медленно пошел на Мишку. Тот изготавился. Ванька неожиданно дал ему головой в живот. Мишка упал. Заварилась веселая потасовка. Половина была на Ванькиной стороне, другие — за Мишку. Образовали кучу малу. Но тут кто-то крикнул:

— Училка!

Всю кучу ребятишек как ветром сдуло. Похватали сумки — и кто куда! Ванька успел схватить с коня несколько бабок, перемахнул через прясло и вышел на свою улицу. Он был разгорячен дракой. Около дома ему попалась на глаза снежная баба. Ванька дал ей по уху. Висморкался на дорогу, как Мишка Босовило, вошел в избу. Запустил сумку под лавку, туда же — шапку. Полушубок не стал снимать — в избе было холодно.

На печке сидела маленькая девочка с большими синими глазами, играла в куклы. Это сестра Ваньки — Наташка.

— Ваня пришел, — сказала Наташка. — Ты в школе был?

— Был, был, — недовольно ответил Ванька, заглядывая в шкаф.

— Вань, вам про кого сёдня рассказывали?

— Про жаркие страны. — Ванька заглянул в миску на шестке, в печку. — Пошамать нечего?

— Нету, — сказала Наташка и снова стала наряжать куклу — деревянную ложку — в разноцветные лоскуты. Запела тоненьким голоском:

*Ох, сронила колечко-о
С правой руки-и!
Забилось сердечко
По милом дружке-е...*

Наташка пела песню на манер колыбельной, но мелодии ее — невыносимо тяжелой и заунывной — не искажала. Ванька сидел у стола и смотрел в окно.

*Ох, сказали, мил помер —
Во гробе-е лежи-ит,
В глубокой могилке-е
Землею зарыт.*

Ванька нахмурился и стал водить грязным пальцем по синим клеточкам клеенки.

Голос Наташки, как чистый ручеек, льется сверху в синюю пустоту избы.

*Ох, надену я платъе-е,
К милому пойду-у,
А месяц укажет
Дорожку к нему-у...*

— Хватит тебе... распелась, — сказал Ванька. — Спой лучше про Хаз-Булата.

Наташка запела:

Хаз-Булат удадо-ой...

Но тут же оборвала:

- Не хочу про Хаз-Булата.
- Вредная! Ну, про Катю.
- Катя-Катерина, купеческая дочь?
- Ага.
- Тоже не хочу. Я про милого буду.

*Ох, пускай люди судю-ют,
Пускай говоря-ят...*

Ванька поднялся, достал из-под лавки сумку, сел на пол, высыпал из сумки бабки и стал их считать. Вид у него вызывающе-спокойный; краем глаза наблюдает за Наташкой.

Наташка от неожиданности сперва онемела, потом захлопала в ладоши.

— Вот они где, бабочки-то! Ты опять в школе не был? Обязательно скажу маме. Ох, попадет тебе, Ванька!..

— ...Семь, восемь... Говори, я ни капли не боюсь. Девять, десять...

— Вот не выучиться — будешь всю жизнь лоботрясом. Пожалеешь потом. Локоть-то близко будет, да не укусишь.

Ванька делает вид, что его душит смех.

— ...Одиннадцать, двенадцать... А лоботрясом, думаешь, хуже?

В сенцах что-то треснуло. Ванька сгреб бабки и замер.

— Ага! — сказала Наташка.

Но это трещит мороз.

Однако бабки все равно нужно припрятать. Ванька ссыпал их в старый валенок и вынес в сенцы.

Потом опять он сидит у стола. Думает, где можно достать три полена дров. Хорошо бы затопить камелек. Мать придет, а в избе такая теплынь, хоть по полу валяйся. Она, конечно, удивится, скажет: «Да где же ты дров-то достал, сынок?» Ванька даже пошевелился — так захотелось достать три полена. Но дров нету, он это знает.

Наташка уже не поет, а баюкает куклу.

Нудно течет пустое тоскливое время.

За окнами стало синеть.

Чтобы отвязаться от назойливой мысли о дровах, Ванька потихоньку встал, подкрался к печке, вскочил и крикнул громко:

— А-а!

— Ой!.. Ну что ты делаешь-то! — Наташка заплакала. — Напужал, прямо сердце упало...

— Нюня! — говорит Ванька. — Ревушка-коровушка! Не принесу тебе елку. А я знаю, где вот такие елочки!

— Не надо мне твою елочку. Мне мама принесет.

— А хочешь, я тебе «Барыню» оторву?

Ванька взялся за бока, и пошел по избе, и пошел, высоко подкидывая ноги в огромных валенках.

Наташка засмеялась.

— Ну и дурак ты, Ванька! — сказала она, размазывая по лицу слезы. — Все равно скажу маме, как ты меня пужаешь.

Ванька подошел к окну и стал оттаивать кружок на стекле, чтобы смотреть на дорогу.

В избе тихо, сумрачно и пусто. И холодно.

— Вань, расскажи, как вы волка видели? — попросила Наташка.

Ваньке не хочется рассказывать — надоело.

— Как... Видели, и все.

— Ну уж!

Опять молчат.

— Вань, ты бы сейчас аржаных лепешек поел? Горяченьких, — спрашивает Наташка ни с того ни с сего.

— А ты?

— Ох, я бы поела!

Ванька смеется. Наташка тоже смеется.

В это время под окнами закрипели легкие шаги. Ванька вскочил и сломя голову кинулся встречать мать.

Наташка запуталась в фуфайке, как перепелка в силке, — никак не может слезть с печки.

— Вань, ссади ты меня, а... Ва-ань! — просит она.

Ванька пролетел мимо с криком:

— А я первый услышал!

Мать в ограде снимала с веревки стылое белье. На снегу около нее лежал узелок.

— Мам, чо эт у тебя?

— Неси в избу. Опять раздешкой выскакиваешь!

В избе Наташка колотит ножонкой в набухшую дверь и ревет — не может открыть. Увидев Ваньку с узелком в руках, она перестает плакать и пытается тоже подержаться за узел — помочь брату.

Вместе проходят к столу, быстренько развязывают узел — там немного муки и кусок сырого мяса. Легкое разочарование — ничего нельзя есть немедленно.

Мать со стуком свалила в сенях белье, вошла в избу. Она, наверно, очень устала и намерзлась за день. Но она улыбается. Родной, веселый голос ее сразу наполнил всю избу; пустоты и холода в избе как не бывало.

— Ну, как вы тут?.. Таля? (Она так зовет Наташку). Ну-ка, расскажи, хозяйюшка милая.

— Ох, мамочка-мама! — Наташка всплескивает руками. — У Ваньки в сумке бабки были. Он их считал.

Ванька смотрит в большие синие глаза сестры и громко возмущается:

— Ну что ты врешь-то! Мам, пусть она не врет никогда...

Наташка от изумления приоткрыла рот, беспомощно смотрит на мать: такой чудовищной наглости она не в силах еще понять.

— Мамочка, да были же! Он их в сенцы отнес. — Она чуть не плачет. — Ты в сенцы-то кого отнес?

— Не кого, а — чего, — огрызается Ванька. — Это же неодушевленный предмет.

Мать делает вид, что сердится на Ваньку.

— Я вот покажу ему бабки. Такие бабки покажу, что он у нас до-олго помнить будет.

Но сейчас матери не до бабок — Ванька это отлично понимает. Сейчас начнется маленький праздник — будут стряпать пельмени.

— У нас дровишек нисколько не осталось? — спрашивает она.

— Нету, — сказал Ванька и предупредительно мотнулся на полати за корытцем. — В мясо картошки будем добавлять?

— Маленько надо.

Наташка ищет на печке скалку.

— Обещал завезти Филипп одну лесинку... Не знаю... может, завезет, — говорит мать, замешивая в кути тесто.

Началась светлая жизнь. У каждого свое дело. Стучат, брякают, переговариваются... Мать рассказывает:

— Едем сейчас с сеном, глядь: а на дороге лежит лиса. Лежит себе калачиком и хоть бы хны — не шевелится, окаянная. Чуток конь не наступил. Уж до того они теперь осмелели, эти лисы.

Наташка приоткрыла рот — слушает. А Ванька спокойно говорит:

— Это потому, что война идет. Они в войну всегда смелые. Некому их стрелять — вот они и валяются на дорогах. Рыжуха, наверно?

...Мясо нарублено. Тесто тоже готово. Садятся втроем стряпать. Наташка раскатывает лепешечки; мать и Ванька заворачивают в них мясо. Наташка старается, прикусив язык; вся выпачкалась в муке. Она даже не догадывается, что вот эти самые лепешечки можно так поджарить на углях, что они будут хрустеть и таять на зубах. Если бы в камельке горел огонь, Ванька нашел бы случай поджарить парочку.

— Мама, а у ней детки бывают? — спрашивает Наташка.

— У кого, доченька?

— У лисы.

Ванька даже фыркнул.

— А как же они размножаются, по-твоему? — спрашивает он Наташку.

Наташка не слушает его — обиделась.

— Есть у нее детки, — говорит мать. — Маленькие... лисятки.

— А как же они не замерзнут?

Ванька так и покатился.

— Ой, ну, я не могу! — восклицает он. — А шубки-то у них для чего!

— Ты тут не вякай, — говорит Наташка. — Лоботряс!

— Не надо так на брата говорить, доченька. Это нехорошо.

— Не выучится он у нас, — говорит Наташка, глядя на Ваньку строгими глазами. — Потом хватится.

— Завтра зайду к учительше, — сказала мать и тоже строго посмотрела на Ваньку, — узнаю, как он там...

Ванька сосредоточенно смотрит в стол и швыряет носом.

Мать посмотрела в темное окно и вздохнула.

— Обманул нас Филиппушка... образина косяя!
Пойдем в березник, сынок.

Ванька быстренько достает с печки стеганые штаны, рукавицы-лохмашки, фуфайку. Мать тоже одевается потеплее. Уговаривает Наташку:

— Мы сейчас, доченька, мигом сходим. Ладно?

Наташка смотрит на них и молчит. Ей не хочется одной оставаться.

Мать с Ванькой выходят на улицу, под окном нарочно громко разговаривают, чтобы Наташка их слышала. Мать еще подходит к окну, стучит Наташке.

— Таля, мы сейчас придем. Никого не бойся, милая!

Наташка что-то отвечает — не разобрать что.

— Боится, — сказала мать. — Милая ты моя-то...

— Отвернулась и вытерла рукавицей глаза.

— Они все такие, — объяснил Ванька.

...Спустились по крутому взвозу к реке. На открытом месте гуляет злой ветер. Ванька пробует увернуться от него: идет боком, идет задом, а лицо все равно жжет, как огнем.

— Мам, посмотри! — кричит он.

Мать осматривает его лицо, больно трет шершавой рукавицей щеку. Ванька терпит.

В лесу зато тепло и тихо. Удивительно тихо, как в каком-то сонном царстве. Стройные березки молча обступили пришельцев и ждут.

Ванька вылетел вперед по глубокому снегу и, облюбовав одну, ударил обухом по ее звонкому крепкому телу. Сверху с шумом тяжело ухнула туча снега. Ванька хотел отскочить, запнулся и угодил с головой в сугроб, как в мягкую холодную постель. Мать смеется и говорит:

— Ну, вставай!

Пока Ванька отряхивается, мать утаптывает снег вокруг березки. Потом, скинув рукавицы, делает первый удар, второй, третий... Березка тихо

вздрагивает и сыплет крохотными сверкающими блестками. Сталь топора хищно всплещивает холодным огнем и раз за разом все глубже вгрызается в белый упругий ствол.

Ванька тоже пробует рубить, когда мать отдыхает. Но после десяти-двенадцати ударов горячий туман застилает ему глаза. Гладкое топорщице рвется из рук.

Снова рубит мать.

Березка охнула и повалилась набок.

Срубали еще одну — поменьше — Ваньке и, взвалив их на плечи, вышли на дорогу.

Идти поначалу легко. Даже весело. Тонкий конец березки едет по дороге, и березка глуховато поет около уха. Прямо перед Ванькой на дороге виляет хвост березки, которую несет мать. Ванькой овладевает желание наступить на него. Он подбегает и прижимает его ногой.

— Ваня, не балуй! — строго говорит мать.

Идут.

Березка гудит и гнется в такт шагам, сильно нажимая на плечо. Ванька останавливается, перекладывает ее на другое плечо. Скоро онемело и это. Ванька то и дело останавливается и перекладывает комель березы с плеча на плечо. Стало жарко. Жаром пышет в лицо дорога.

— ...Семисит семь, семисит восемь, семисит девять... — шепчет Ванька.

Идут.

— Притомился? — спрашивает мать.

— Еще малость... Девяносто семь, девяносто восемь... — Ванька прикусил губу и отчаянно швыряет носом. — Девяносто девять, сто! — Ванька сбросил с плеча березку и с удовольствием вытянулся прямо на дороге.

Мать поднимает его. Сидят на березке рядом. Ваньке очень хочется лечь. Он предлагает:

— Давай сдвинем обои березки вместе, и я на них лягу, если уж ты так боишься, что я захвораю.

Мать тормошит его, прижимает к теплой груди.

— Мужичок ты мой маленький, мужичок... Потерпи маленько. Большую мы тебе срубили. Надо было поменьше.

Ванька молчит. И молчит Ванькина гордость.

Мать думает вслух:

— Как теперь наша Талюшка там?.. Плачет, наверно?

— Конечно, плачет, — говорит Ванька. Он эту Талюшку изучил как свои пять пальцев.

Еще некоторое время сидят.

— Отцу нашему тоже трудно там, — задумчиво говорит мать. — Небось в снегу сидят, сердешные... Хоть бы уж зимой-то не воевали.

— Теперь уж не остановятся, — поясняет Ванька. — Раз начали — не остановятся, пока фрицев не разобьют.

Еще с минуту сидят.

— Отдохнул?

— Отдохнул.

— Пошли с богом.

Было уже совсем темно, когда пришли домой.

Наташка не плакала. Она наложила в блюдо сырых пельменей, сняла с печки две куклы и усадила их перед блюдом. Одну куклу посадила несколько дальше, а второй, та, что ближе, говорила ласково:

— Ешь, доченька моя милая, ешь! А этому лоботрясу мы не дадим сегодня.

...Ванька с матерью быстро распилили березки; Ванька впотьмах доколот чурбаки, а мать в это время затопила камелек.

Потом Ванька с Наташкой сидят перед камельком.

Огонь весело гудит в печке; пятна света, точно маленькие желтые котята, играют на полу. Ванька блаженно молчит. Наташка пристроилась у него

на коленях и тоже молчит. По избе голубыми волнами разливается ласковое тепло. Наташку клонит ко сну. Ваньку тоже. А в чугулке еще только-только начинает «ходить» вода.

Мать кроит на столе материю, время от времени окликает ребятишек и рассказывает:

— Вот придет Новый год, срубим мы себе елочку, хоро-ошенькую елочку... Таля, слышишь? Не спите, милые мои. Вот срубим мы эту елочку, раскрасим ее всякими шишками да игрушками, всякими зайчиками — до того она у нас будет красивая...

Ванька хочет слушать, но кто-то осторожно берет его за плечи и валит на пол. Ванька сопротивляется, но слабо. Голос матери доносится откуда-то издалека. Кажется Ваньке, что они опять в лесу, что лежит Ванька в снегу... Мать ищет его по лесу, зовет. А Ванька лежит в снегу и помалкивает. Странно, что в снегу тепло.

...Разбудить их, наверно, было нелегко. Когда Ванька всплыл из тягучего сладкого сна на поверхность, мать говорила:

— ...Это что же за сон такой, обломон... сморил моих человечков. Ух, он сон какой!..

Ванька, покачиваясь, идет к столу.

В тарелке на столе дымят пельмени, но теперь это уже не волнует. Есть не хочется. Наташка, та вообще не хочет просыпаться. Хитрая, как та лиса. Мать полусонную усаживает ее за стол. Она чихает и норовит устроиться спать за столом. Мать смеется. Ванька тоже улыбается. Едят.

Через несколько минут Ванька объявляет, что наелся до отвала. Но мать заставляет есть еще.

— Ты же себя обманываешь — не кого-нибудь, — говорит она.

...После ужина Ванька стоит перед матерью и спит, свесив голову. Материны теплые руки поворачивают Ваньку: полоска клеенчатого

сантиметра обвивает Ванькину грудь, шею — ему шьется новая рубаха. Сантиметр холодный — Ванька ежится.

Потом Ванька лезет на полати и, едва коснувшись подушки, засыпает. Наташка тоже спит. В одной руке у нее зажат пельмень.

В самый последний момент Ванька слышит стрекот швейной машинки — завтра он пойдет в школу в новой рубахе.

1963

ВОЛКИ

В воскресенье, рано утром, к Ивану Дегтяреву явился тесть, Наум Кречетов, нестарый еще, расторопный мужик, хитрый и обаятельный. Иван не любил тестя; Наум, жалеючи дочь, терпел Ивана.

— Спишь? — живо заговорил Наум. — Эхха!.. Эдак, Ванечка, можно все царство небесное проспать. Здравствуйте.

— Я туда не сильно хотел. Не устремляюсь.

— Зря. Вставай-ка... Поедем съездим за дровишками. Я у бригадира выпросил две подводы. Конечно, не за «здорово живешь», но черт с ним — дров надо.

Иван полежал, подумал... И стал одеваться.

— Вот ведь почему молодежь в город уходит? — заговорил он. — Да потому, что там отработал норму — иди гуляй. Отдохнуть человеку дают. Здесь как проклятый: ни дня ни ночи. Ни воскресенья.

— Што же, без дров сидеть? — спросила Нюра, жена Ивана. — Ему же коня достали, и он же еще недовольный.

— Я слышал: в городе тоже работать надо, — заметил тесть.

— Надо. Я бы счас с удовольствием лучше водопровод пошел рыть, траншеи: выложилс раз, зато потом без горя — и вода, и отопление.

— С одной стороны, конечно, хорошо — водопровод, с другой — беда: ты б тогда совсем заспался. Ну, хватит, поехали.

— Завтракать будешь? — спросила жена.
Иван отказался — не хотелось.
— С похмелья? — полюбопытствовал Наум.
— Так точно, ваше благородие!
— Да-а... Вот так. А ты говоришь — водопровод... Ну, поехали.

День был солнечный, ясный. Снег ослепительно блестел. В лесу тишина и нездешний покой.

Ехать надо было далеко, верст двадцать: ближе рубить не разрешалось.

Наум ехал впереди и все возмущался:

— Черт те чего!.. Из леса в лес — за дровами.

Иван дремал в санях. Мерная езда убаюкивала.

Выехали на просеку, спустились в открытую логовину*, стали подыматься в гору. Там, на горе, снова синей стеной вставал лес.

Почти выехали в гору... И тут увидели, недалеко от дороги, — пять штук. Вышли из леса, стоят, ждут. Волки.

Наум остановил коня, негромко, нараспев заматерился:

— Твою в душеньку ма-ать... Голубочки сизые. Выставились.

Конь Ивана, молодой, трусливый, попятился, заступил оглоблю. Иван задергал вожжами, разворачивая его. Конь храпел, бил ногами — не мог перешагнуть оглобину.

Волки двинулись с горы.

Наум уже развернулся, крикнул:

— Ну, што ты?!

Иван выскочил из саней, насилу втолкал коня в оглобли... Упал в сани. Конь сам развернулся и с места взял в мах.

Наум был уже далеко.

— Грабю-ут! — заполошно орал он, нахлестывая коня.

* *Впадина; назкое ровное место (диал.) (прим.ред.)*

Волки серыми комками податливо катились с горы наперерез подводам.

— Грабю-ут! — орал Наум.

«Что он, с ума сходит? — невольно подумал Иван. — Кто кого грабит?» Он испугался, но как-то странно: был и страх, и жгучее любопытство, и смех брал над тестем. Скоро, однако, любопытство прошло. И смешно тоже уже не было. Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянувшись цепочкой, стали быстро нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и смотрел на волков.

Впереди отмахивал крупный, грудастый, с паленой мордой... Уже только метров пятнадцать — двадцать отделяло его от саней. Ивана поразило несходство волка с овчаркой. Раньше он волков так близко не видел и считал, что это что-то вроде овчарки, только крупнее. Сейчас понял, что волк — это волк, зверь. Самую лютую собаку еще может в последний миг что-то остановить: страх, ласка, неожиданный властный окрик человека. Этого, с паленой мордой, могла остановить только смерть. Он не рычал, не пугал... Он догонял жертву. И взгляд его круглых желтых глаз был прям и прост.

Иван оглядел сани — ничего, ни малого прутика. Оба топора в санях тестя. Только клок сена под боком да бич в руке.

— Грабю-ут! — кричал Наум.

Ивана охватил настоящий страх.

Передний, очевидно вожак, стал обходить сани, примериваясь к лошади. Он был в каких-нибудь двух метрах... Иван привстал и, держась левой рукой за отводину саней, огрел вожака бичом. Тот не ждал этого, лязгнув зубами, прыгнул в сторону, сбился с маха... Сзади налетели другие. Вся стая крутнулась с разгона вокруг вожака. Тот присел на задние лапы, ударил клыками одного, дру-

гого... И снова, вырвавшись вперед, легко догнал сани. Иван привстал, ждал момента... Хотел еще раз достать жоака. Но тот стал обходить сани дальше. И еще один отвалил в сторону от своры и тоже начал обходить сани — с другой стороны. Иван стиснул зубы, сморщился...

«Конец. Смерть». Глянул вперед.

Наум нахлестывал коня. Оглянулся, увидел, как обходят зятя волки, и быстро отвернулся.

— Грабю-ут!

— Придержи малость, отец!.. Дай топор! Мы отобьемся!..

— Грабю-ут!

— Придержи, мы отобьемся!.. Придержи малость, гад такой!

— Кидай им чево-нибудь! — крикнул Наум.

Вожак поравнялся с лошадьё и выбирал момент, чтоб прыгнуть на нее. Волки, бежавшие сзади, были совсем близко: малейшая задержка, и они с ходу влетят в сани — и конец. Иван кинул клочок сена; волки не обратили на это внимания.

— Отец, сука, придержи, кинь топор!

Наум обернулся:

— Ванька!.. Гляди, кину!..

— Ты придержи!

— Гляди, кидаю! — Наум бросил на обочину дороги топор.

Иван примерился... Прыгнул из саней, схватил топор... Прыгая, он пугнул трех задних волков, они отскочили в сторону, осадили бег, намереваясь броситься на человека. Но в то самое мгновение жоак, почувствовав под собой твердый наст, прыгнул. Конь шархнулся в сторону, в сугроб... Сани перевернулись: оглобли свернули хомут, он захлестнул коню горло. Конь захрипел, забился в оглоблях. Волк, настигавший жертву с другой стороны, прыгнул под коня и ударом когтистой лапы распустил ему брюхо повдоль.

Три отставших волка бросились тоже к жертве.

В следующее мгновение все пять рвали мясо еще дрыгавшей лошади, растаскивали на ослепительно белом снегу дымящиеся клубки сизо-красных кишок, урчали. Вожак дважды прямо глянул своими желтыми круглыми глазами на человека...

Все случилось так чудовищно скоро и просто, что смахивало скорей на сон. Иван стоял с топором в руках, растерянно смотрел на жадное, торопливое пиршество. Вожак еще раз глянул на него... И взгляд этот, торжествующий, наглый, обозлил Ивана. Он поднял топор, заорал что было силы и кинулся к волкам. Они нехотя отбежали несколько шагов и остановились, облизывая окровавленные рты. Делали они это так старательно и увлеченно, что, казалось, человек с топором нимало их не занимает. Впрочем, вожак смотрел внимательно и прямо. Иван обругал его самыми страшными словами, какие знал. Взмахнул топором и шагнул к нему... Вожак не двинулся с места. Иван тоже остановился.

— Ваша взяла, — сказал он. — Жрите, сволочи. — И пошел в деревню. На растерзанного коня старался не смотреть. Но не выдержал, глянул... И сердце сжалось от жалости, и злость великая взяла на тестя. Он скорым шагом пошел по дороге.

— Ну погоди!.. Погоди у меня, змей ползучий. Ведь отбились бы и конь был бы целый. Шкура.

Наум ждал зятя за поворотом. Увидев его живого и невредимого, искренне обрадовался:

— Живой? Слава те, господи! — На совести у него все-таки было нелегко.

— Живой! — откликнулся Иван. — А ты тоже живой?

Наум почуял в голосе зятя недоброе. На всякий случай зашагнул в сани.

— Ну, что они там?..

— Поклон тебе передают. Шкура!..

— Чего ты? Лаешься-то?..

— Счас я тебя бить буду, а не лаяться. — Иван подходил к саням.

Наум стегнул лошадь.

— Стой! — крикнул Иван и побежал за санями.

— Стой, паразит!

Наум опять нахлестывал коня... Началась другая гонка: человек догонял человека.

— Стой, тебе говорят! — крикнул Иван.

— Заполошный! — кричал в ответ Наум. — Чего ты взъелся-то? Сума, что ли, спятил? Я-то при чем здесь?

— Ни при чем?! Мы бы отбились, а ты предал!..

— Да где же отбились?! Где отбились-то, ты што!

— Предал, змей! Я тебя проучу малость. Не уйдешь ты от меня, остановись лучше. Одного отметелю — не так будет позорно. А то при людях отлуплю. И расскажу все... Остановись лучше!

— Сейчас — остановился, держи карман! — Наум нахлестывал коня. — Оглоед чертов... откуда ты взялся на нашу голову!

— Послушай доброго совета — остановись! — Иван стал выдыхаться. — Тебе же лучше: отметелю и никому не скажу.

— Тебя, дьявола, голого почесть в родню приняли, и ты же на меня с топором! Стыд-то есть или нету?

— Вот отметелю, потом про стыд поговорим. Остановись! — Иван бежал медленно, уже далеко отстал. И наконец вовсе бросил догонять. Пошел шагом.

— Найду, никуда не денешься! — крикнул он напоследок тестю.

Дома у себя Иван никого не застал: на двери висел замок. Он отомкнул его, вошел в дом. Поискал в шкафу... Нашел недопитую вчера бутылку водки, налил стакан, выпил и пошел к тестю.

В ограде тестя стояла выпряженная лошадь.

— Дома, — удовлетворенно сказал Иван. — Счас будем уроки учить.

Толкнулся в дверь — не заперто. Он ждал, что будет заперто. Иван вошел в избу... Его ждали: в избе сидели тесть, жена Ивана и милиционер. Милиционер улыбался.

— Ну что, Иван?

— Та-ак... Сбегал уже? — спросил Иван, глядя на тестя.

— Сбегал, сбегал. Налил шары-то, успел?

— Малость принял дя... красноречия. — Иван сел на табуретку.

— Ты чего это, Иван? С ума, что ли, сошел? — поднялась Нюра. — Ты што?

— Хотел папаню твоего поучить... Как надо человеком быть.

— Брось ты, Иван, — заговорил милиционер. — Ну, случилось несчастье, испугались оба... Кто же ждал, что так будет? Стихия.

— Мы бы легко отбились. Я потом один был с ними...

— Я же тебе бросил топор? Ты попросил, я бросил. Чего еще-то от меня требовалось?

— Самую малость: чтоб ты человеком был. А ты — шура. Учить я тебя все равно буду.

— Учитель выискался! Сопля... Гол как сокол, пришел в дом на все на готовенькое да еще грозится. Да еще недовольный всем: водопроводов, видите ли, нету!

— Да не в этом дело, Наум, — сказал милиционер. — При чем тут водопровод?

— В деревне плохо!.. В городе лучше, — продолжал Наум. — А чево приперся сюда? Недовольство свое показывать? Народ возбуждать против Советской власти?

— От сука! — изумился Иван. И встал.

Милиционер тоже встал.

- Бросьте вы! Пошли, Иван...
- Таких взбудителей-то знаешь куда девают?
- не унимался Наум.
- Знаю! — ответил Иван. — В прорубь головой... — И шагнул к тестю.
- Милиционер взял Ивана под руки и повел из избы.
- На улице остановились, закурили.
- Ну не паразит ли! — все изумлялся Иван. — И на меня же попер.
- Да брось ты его!
- Нет, отметелить я его должен.
- Ну и заработаешь! Из-за дерьма.
- Куда ты меня сейчас?!
- Пойдем, переночуешь у нас... Остынешь. А то себе хуже сделаешь. Не связывайся.
- Нет, это же... што ж это за человек?
- Нельзя, Иван, нельзя: кулаками ничего не докажешь.
- Пошли по улице по направлению к сельской кутузке*.
- Там-то не мог? — спросил вдруг милиционер.
- Не догнал! — с досадой сказал Иван. — Не мог догнать.
- Ну вот... Теперь — все, теперь нельзя.
- Коня жалко.
- Да...
- Замолчали. Долго шли молча.
- Слушай: отпусти ты меня. — Иван остановился. — Ну чего я в воскресенье там буду?! Не трону я его.
- Да нет, пойдем. А то потом не оберешься... Тебя жалеючи, говорю. Пойдем сейчас в шахматинки сыграем... Играешь в шахматы?
- Иван сплюнул окурочек и полез в карман за другой папироской.
- Играю.

1967

* Отделение полиции (милиции) (прим.ред.)

ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ ИВАНА ПОПОВА

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ

Перед самой войной повез нас отчим в город Б. Это — ближайший от нас, весь почти деревянный, бывший купеческий, ровный и грязный.

Как горько мне было уезжать! Я невзлюбил отчима, и хоть не помнил родного отца, думал: будь он с нами, тятя-то, никуда бы мы не засобирались ехать. Назло отчиму (теперь знаю: это был человек редкого сердца — добрый, любящий... Будучи холостым парнем, он взял маму с двумя детьми), так вот назло отчиму, папке назло — чтобы он разозлился и пришел в отчаяние, — я свернул огромную папиросу, зашел в уборную и стал «смолить» — курить. Из уборной из всех щелей повалил дым. Папка увидел... Он никогда не бил меня, но всегда грозился, что «вольет». Он распахнул дверь уборной и, подбоченившись, стал молча смотреть на меня. Он был очень красивый человек, смуглый, крепкий, с карими умными глазами... Я бросил папироску и тоже стал смотреть на него.

— Ну? — сказал он.

— Курил... — Хоть бы он ударил меня, хоть бы щелкнул разок по лбу, я бы тут же разорался, схватился бы за голову, испугал бы маму... Может, они бы поругались, и, может, мама заявила бы ему, что никуда она не поедет, раз он такой — бьет детей.

— Я вижу, что курил. Дурак ты, дурак, Ванька... Кому хуже-то делаешь? Мне, что ли? Пойду сейчас и скажу матери...

Это не входило в мои планы, и это могло мне выйти боком — мама-то как раз и отстегала бы меня. Я догнал папку...

— Папка, не надо, не ходи!

— Зачем ты куришь, дурачок, с таких лет? Ведь это ж сколько никотину скопится за целую жизнь! Ты только подумай, голова садовая. Скажи, что больше не будешь, — не пойду к матери.

— Не буду. Истинный мой бог, не буду.

— Ну, смотри.

...И вот едем в город — переезжаем. На телеге наше добро, мы с Талей сидим на верхотуре, мама с папкой идут пешком. За телегой, привязанная, идет наша корова Райка.

Таля, маленькая сестра моя, радуется, что мы едем, что нам еще далеко-далеко ехать. Невдомек ей, что мы уезжаем из дома. Вообще-то мне тоже нравится ехать. Вольно кругом, просторно... Степь. В травах стоит несмолкаемая трескотня: тысячи маленьких неутомимых кузнецов бьют и бьют крохотными молоточками в звонкие наковаленки, а сверху, из жаркой синевы, льются витые серебряные ниточки... Наверно, эти-то тоненькие ниточки и куют на своих наковаленках маленькие кузнецы и развешивают сверкающими паутинками по траве. Рано утром, когда встает солнце, на ниточки эти, протянутые от травинки к травинке, кто-то нанизывает изумрудный бисер — зеленое платье степи блестит тогда дорогами нарядами.

Мы останавливаемся покормиться.

Папка выпрягает коня, пускает его по бережку. Райка тоже пошла с удовольствием хрумтеть сочным разнотравьем. Мы раскладываем костерок — варить пшеничную кашу. Хорошо! Я даже забываю, что мы уезжаем из дома. Папка напоминает:

— Вот здесь наша река последний раз к дороге подходит. Дальше она на запад поворачивает.

Мы все некоторое время молча смотрим на родимую реку. Я вырос на ней, привык слышать днем и ночью ее ровный, глуховатый, мощный шум... Теперь не сидеть мне на ее берегах с удочкой, не бывать на островах, где покойно и прохладно, где кусты ломятся от всякой ягоды: смородины, малины, ежевики, черемухи, облепихи, боярки, калины... Не заводиться с превеликим трудом — так, что ноги в кровь и штаны на кустах оставишь — бечевой далеко вверх и никогда, может быть, не испытать теперь величайшее блаженство — обратный путь домой. Как нравилось мне, каким взрослым, несколько удрученным заботами о семье мужиком я себя чувствовал, когда собирались вверх «с ночевой». Надо было не забыть спички, соль, ножик, топор... В носу лодки свалены сети, невод, фуфайки. Есть хлеб, картошка, котелок. Есть ружье и тугой, тяжелый патронташ.

— Ну все?

— Все вроде...

— Давайте, а то поздно уже. Надо еще с ночевой устроиться. Берись!

Самый хитрый из нас, владелец ружья или лодки, отправляется на корму, остальные, человека два-три, — в бечеву. Впрочем, мне и нравилось больше в бечеве, правда: там горсть смородины на ходу слупишь, там второпях к воде припадешь горячими губами, там надо вброд через протоку — по пояс... Да еще сорвешься с осклизлого валуна да с головой ухнешь... Хорошо именно то, что все это на ходу, не нарочно, не для удовольствия. А главное, ты, а не тот, на корме, основное-то дело делаешь...

Эх, папка, папка! А вдруг да у него не так все хорошо пойдет в городе? Ведь едем-то мы — попробовать. Еще неизвестно, где он там работу найдет, какую работу? У него ни грамоты большой, ни специальности. И вот надо же — поперся в город

и еще с собой трех человек потащил. А сам ничего не знает, как там будет. Съездил только, договорился с квартирой, и все. И мама тоже... Куда согласилась? Последнее время, я слышал, все шептались по ночам: она вроде не соглашалась. Но ей хотелось выучиться на портниху, а в городе есть курсы... Вот этими курсами-то он ее и донял. Согласилась. Попробуем, говорит. Ничего, говорит, продавать не будем, лишнее, что не надо, рассуем для хранения по родным и поедем, попробуем. А папке страсть как охота куда-нибудь на фабрику или в мастерскую какую — хочется ему стать рабочим, и все тут. Ну, вот и едем.

...Приехали в город затемно. Я не видел его. Папка чудом находил дорогу: сворачивали в темные переулки, громыхали колесами по булыжнику улиц... Раза два он только спрашивал у встречных, встречные объясняли что-то на тарабарском языке: надо еще до конца Осовиахимовской, потом свернуть к Казармам, потом будет Дегтярный... Папка возвращался к нам и говорил, что все правильно — верно едем. Мы с Талей и мама притихли. Только папка один храбрился, громко говорил... Наверно, чтоб подбодрить нас.

По бокам темных улиц и переулков стояли за заборами большие дома. В окнах яркий свет.

— Господи, да когда же приедем-то? — не выдержала мама. Это же самое удивляло и меня: казалось, что мы, пока едем по городу, проехали пять таких деревень, как наша. Вот он, город-то!

— Скоро, скоро, — бодрится папка. — Еще свернем на одну улицу, потом в переулок — и дома.

Дома!.. Смелый он человек, папка. Я его уважаю. Но затею его с городом все-таки не могу принять. Страшно здесь, все чужое, можно легко заблудиться.

Не заблудились. Подъехали к большому дому, папка остановил коня.

— Здесь. Счас скажу, что приехали...

— Скорей там, — велит мама.

— Да скоро! Скажу только...

В переулке темно. Я чувствую, мама боится, и сам тоже начинаю бояться. Одной Тале — хоть бы хны.

— Mam, мы тут жить станем?

— Тут, доченька... Заехали!

— Уговори ты его назад, домой, — советую я.

— Да тепер уж... Вот дура-то я, дура!

Папки как на грех долго нету. В доме горит свет, но забор высокий, ничего в окнах не видать.

Наконец появился папка... С ним еще какой-то мужик.

— Здравствуйте, — не очень приветливо говорит мужик. — Заезжай, я покажу, куда ставить. Барахла-то много?

— Откуда!.. Одежонка кой-какая да постелишка.

— Ну, заезжайте.

Пока перетаскивают наши монатки, мы сидим с Талей в большой, ярко освещенной комнате на сундуке в углу.

В комнату вошел долговязый парнишка... с самолетом. Я прирос к сундуку.

— Хочешь подержать? — спросил парнишка.

Самолет был легкий, как пушинка, с тонкими размашистыми крыльями, с винтиком впереди... Таля тоже потянулась к самолету, но долговязый не дал.

— Ты изломаешь.

Таля захныкала и все тянулась к самолету — тоже подержать. Долговязый был неумолим. И во мне вдруг пробудилось чудовищное подхалимство, и я сказал строго:

— Ну, чего ты? Изломаешь, тогда что?! — Мне хотелось еще разок подержать самолет, а чтоб долговязый дал, надо, чтоб Таля не тянулась и нечаянно не выхватила бы его у меня.

Тут вошли взрослые. Отец долговязого сказал сыну:

— Иди спать, Славка, не путайся под ногами.

Когда остались мы одни, я вдруг обнаружил, что свет-то — с потолка!.. Под потолком висела на шнуре стеклянная лампочка, похожая на огурец, а внутри лампочки — светлая паутинка. Я даже вскрикнул:

— Гляньте-ка!..

— Ну, что? Электричество. Ты, Ванька, поменьше теперь ори — не дома.

Тут вступилась мама:

— Парнишке теперь и слова нельзя сказать?

— Да говори он, сколько влезет, — потихоньку. Чего заполошничать-то?

Они еще поговорили в таком духе — частенько так разговаривали.

— Завез, да еще недовольный...

— Ну, и давай теперь на каждом шагу: «Гляди-ка! Смотри-ка!» Смеяться ведь начнут.

— Ну, и не одергивай каждый раз парнишку!

— погоди, сядет он тебе на шею, если так будешь...

А как, интересно? Самого отец чуть не до смерти зашиб на покосе за то, что он, мальчишкой, побоялся распутать и обратат^{*} шкодливую кобылу — лягалась... Сам же нет-нет да вспомнит про это и обижается на своего отца. Его тогда, маленького-то, насилу откачала мать, бабушка наша неродная. А на шею я никому не сяду, не надо этого бояться.

Мы легли спать.

Долго мне не спалось. Худо было на душе. За стеной громко, с присвистом храпел хозяин, чуждо гудели под окнами провода, проходили по улице — группами — молодые парни и девушки, громко разговаривали, смеялись. Почему-то вспомнилось, как родной наш дедушка, когда выпьет медовухи, всякий раз спрашивает меня:

— Ванька, какое самое длинное слово на свете?

Я давно знаю, какое, а чтоб еще раз услышать, как он выговаривает это слово, хитрю:

** Обрататъ — надеть обротъ на непослушную лошадь. Обротъ — конская узда без удила с одним поводом для привязки (прим. ред.)*

— Не знаю, деда.

— А-а!.. — И начинает: — Интре... интренацал... —
И потом только одолевает: — Ин-тер-на-ци-о-нал!

— Мы покатываемся со смеху — мама, я и Таля.

— Эх вы!.. Смешно? — обижается бабушка. — Ну, валяйте, смейтесь.

Можно бы сейчас написать, что в ту ночь мне снились большие дома, самолет, лампочка... Можно бы написать, но не помню, снилось ли. Может, снилось.

Утром я проснулся оттого, что прямо под окном громко сморкался хозяин и приговаривал:

— Ты гляди што!.. Прямо круги в глазах.

Мамы и папки не было. Таля спала. Я стал думать: как теперь пойдет жизнь? Дружков не будет — они, говорят, все тут хулиганистые, еще надают одному-то. Речки тоже нету. Она есть, сказывал папка, но будет далеко от нас. Лес, говорит, рядом, там, говорит, корову будем пасти. Но лес не нашенский, не острова — бор, это страшновато. Да и што там, в бору-то? — грузди только.

Тут вдруг в хозяйской половине забежали, закричали... Я понял из криков, что Славка засадил в ухо горошину. Всем семейством они побежали в больницу. Я встал и пошел в их комнату — посмотреть, какие в городе печки. Говорили, какие-то чудные. Открыл дверь... и не печку увидел, а аккуратную белую булочку на столе. Потом я узнал, что их зовут — сайки. Никого в комнате не было. Я подошел к столу, взял сайку и пошел к Тале. Она как раз проснулась.

— Ой! — сказала она. — Дай-ка мне.

— Всю, што ли?

— Да зачем?.. Смеряй ниточкой да отломи половинку. Это мама купила?

— Дали. Славка дал.

Разломил саечку и стали есть, сидя на кровати. Никогда не ел такого вкусного хлеба. До чего же душистый, мягкий, чуть солоноватый, даже есть

жалко; я все поглядывал, сколько осталось. Мы не услышали, как открылась дверь... Услышали:

— Уже пакостить начали? — С порога на нас глядела хозяйка. У меня все оборвалось внутри. — Зачем ты взял сайку?

И — вот истинный бог, не вру — я сказал:

— Я думал, она чужая.

— Чужая... Нехорошо так делать. Это — воровство называется. Я вот скажу отцу с матерью...

Что-то я вконец растерялся... Вдруг спросил:

— Горошину-то вытащили?

— О, какой! — удивилась хозяйка. — Хитрит еще. — И ушла.

Мне стало совсем неважно.

— Пойдем домой? — предложил я Тале.

— Счас, давай только доедим, — легко согласилась она. Она твердо помнила наказ мамы: не есть на ходу, а — сядь, съешь, чего у тебя там есть, тогда уж ходи или бегай.

Я увидел в окно, что хозяйка пошла в сарай, и заторопил Талю. Она было заупрямилась, но все же пошла.

Я помнил, что мы к воротам подъехали слева, если стоять к ним лицом, значит, теперь надо — вправо. Пошли вправо. Дошли до перекрестка... Я не знал, как дальше. Спросил какого-то дяденьку:

— Как бы нам до Ч-ского тракта* дойти?

— А зачем? — спросил дяденька.

— Нам мама сказала туда идти. Она нас там поджидает. Раньше всего другого, что значительно облегчает эту жизнь, я научился врать. И когда врал и мне не верили, я чуть не плакал от обиды. Дяденька внимательно посмотрел на меня, на Талю... И показал:

— Вот так прямо — до перекрестка, потом улица налево пойдет — по ней, а там, как дойдешь до водонапорной башни, большая такая, там спроси снова.

* Имеется в виду Чуйский тракт — в настоящее время автомобильная дорога федерального значения Р 256 Новосибирск-Бийск-граница с Монголией (962 км). В.М. Шукшин имеет в виду т.н. «старый Чуйский тракт» — участок магистрали от Бийска до границы с Монголией, проходящий по долинам рр. Катунь и Чуя (прим.ред.)

От водонапорной башни дорогу дальше показала тетенька и даже прошла с нами немного.

Долго ли, коротко ли мы шли, а к Ч-скому тракту вышли. Там мы сели на взгорок и стали ждать, кто бы нас подвез до нашей деревни. Там, на взгорке, к вечеру уже, нашли нас мама с папкой. Таля плакала — хотела есть, мной потихоньку овладевало отчаяние...

— Таленька!.. Доченька ты моя-а!..

Я думал, мне крепко влетит. Нет, ничего.

Скоро началась война. Мы вернулись в деревню... Папку взяли на войну.

В 1942 году его убили.

ГОГОЛЬ И РАЙКА

В войну, с самого ее начала, больше всего стали терзать нас, ребятишек, две беды: голод и холод. Обе сразу наваливались, как подступала бесконечная наша сибирская зима со своими буранами и злыми морозами. Летом — другое дело. Летом пошел поставил на ночь перемета три-четыре, глядишь, утром — пара налимов есть. (До сего времени сладостно вздрагивает сердце, как вспомнишь живой, трепетный дерг бечевы в руках, чириканье ее по воде, когда он начинает там «водить».) Или пошел назорил в околках сорочьих яиц, испек в золе — сыт. Да мало ли! Будь попроворней да имей башку на плечах — можно и самому прокормиться, и домой принести. Но зима!.. Будь она трижды проклята, эта зимушка-зима! И воеет и воеет над крышей, хлопает плахами... Все тепло, какое было с утра в избе, все к вечеру высвистит, сколько ни наваливай на порог, под дверь, тряпья, как ни старайся утеплить окна. Или наладятся такие морозы, что в сенцах трескотня стоит и, кажется, вот-вот, еще маленько поддаст, и полопаются стекла в окнах. Выскочишь на минуту в ограду, в пригон — тебя точно в сугроб голенького, и рот ледяной ладошкой запечатают. А в пригоне — корова... Вот горе-то: сена в обрез, ей жевать и жевать в такую стужу, а где возьмешь, зиме еще конца не видно. Сделаешь свое малое дело и пулей опять в избу — от холода жгучего, в нестерпимой боли за корову: чтоб уж хоть не видеть ее, понурую, всю

в инее, с печальными глазами. И в избе нет покоя: тут — худо-бедно — согреешься, а она там стоит... И только на ночь дадим ей охапку сена, и все. И так и видишь все время бесконечно печальные коровьи глаза — прямо в душу глядят. Она ведь кормилица. Она по весне принесет молоко и теленка — это такая суматошная радость в эти дни, когда наша Райка (корова) вот-вот отелится. Тут весна, теплеет уже, а тут скоро заскользит по полу нежными копытцами, может, бог даст, телочка. (Мы в прошлом году сдали телочку в колхоз. Нам дали муки, много жмыха и чайник меда. Долго, конечно, такого праздника ждать — лето, зиму и еще лето, — но тем он и дороже, праздник-то. Да и есть, что ждать.) В такие дни, весной, у нас в избе идет такой тарарам, что душа заходится от ликующего, делового чувства. Я то и дело выскакиваю посмотреть Райку, щупаю ее теплое брюхо, хоть ни шиша не смыслю в этом. Тяля тоже бегаёт со мной, тоже щупает Райкино брюхо... Райка, повернув голову, смотрит на нас дымчато-влажными глазами, нежными глазами — она тоже ждет теленка, она, наверно, понимает наше суетливое беспокойство.

— Вань, скоро?

— Ночью, наверно, опростается*.

Всю ночь у нас горит свет; мама ходит к Райке, тоже щупает ее брюхо... Приходит и говорит:

— Прямо близко уже... Слышно: толкается ногами-то, толкается, а все никак. Уж не беда ли с ней? Матушка — царица небесная, не допусти до смерти голодной. Куда мы тогда денемся?

Тревожная, страшная ночь.

А рано поутру наш дедушка смотрит Райку и говорит нам всем:

— Чего заполошничаете-то? Сегодня к ночи только... Детей пужаешь, дуреха! — Это он на маму, потому что к утру мы с Талей бываем зареванными. Сколько счастья приносил нам дедушка!

* *Отелиться (о корове) (диал.) (прим.ред.)*

А теперь — еще зима. Я на стенке начертил в ряд столько палочек, сколько осталось дней до марта. Вычеркиваю вечерами по одной, но их еще так много!

Но бывала у меня одна радость — неповторимая, большая — и зимой: в долгие вечера я читал на печке маме и Тале книги.

С книгами у меня целая история. Я каким-то образом научился читать до школы: учил меня дядя Павел (тот сам читать страсть как любил и даже пытался сочинять стихи и, говорит, когда он был на войне, то некоторые его стихи печатали во фронтовой газете. Наверно, неправду говорит, он прихвастнуть любит: когда мне теперь попалась тетрадка его стихов, они поразили меня своей бестолковщиной)... Словом, как только я еще и в школе поднаторел и стал читать достаточно хорошо, я впился в книги. Я их читал без разбора, подряд, какие давала библиотекарша. Она удивлялась и не верила:

— Уже прочитал?

— Прочитал.

— Неправда. Надо, мальчик, до конца читать, если берешь книги. Вот возьми и дочитай.

Что с ней было делать? Брал книжку обратно, терпел дня два и шел опять. Потом я наловчился воровать книги из школьного книжного шкафа. Он стоял в коридоре, шкаф, и когда летом школу ремонтировали, в коридор — вечерком, попозже — можно было легко проникнуть. Дальше — еще легче: шкаф двустворчатый, два колечка на краях створок, замок с дужкой... Приоткроешь створки — щель достаточно, чтоб пролезла рука: выбирай любую! Грех говорить, я это делал с восторгом. Я потом приворовывал еще кое-что по мелочи, в чужие огороды лазил, но никогда такого упоения, такой зудящей страсти не испытывал, как с этими книгами.

Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось, что учусь я в школе на редкость плохо.

Это пришла и рассказала учительница. Они с мамой тут же установили причину такого страшного отставания: книги. (Парень-то я был не такой уж совсем дремучий.) А тут еще какая-то дура сказала маме, что нельзя, чтобы парнишка так много читал, что бывает — зачитываются. Мама начала немилосердно бороться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, друзьям моим запретили давать мне книги, которые они берут на свое имя. Они, конечно, давали. Мама выследила меня дома, книжки отняла, меня выпорола... Я стал потихоньку снимать с чердака книги, украденные раньше в школьном шкафу. (Эта лавочка со школьными книгами к тому времени для меня кончилась: обнаружили пропажу, переделали замок. В краже книг обвинили плотников: зачем они на свои самокрутки достают и дерут книги, которые так нужны школе. Для этого есть старые газеты. Плотники клялись, что они ни сном ни духом не ведают, куда девались книги — они не брали.) Я снимал книги с чердака и перечитывал уже читанное. Я делал это так: вкладывал книгу в обложку задачника и спокойно читал. Мама видела, что у меня в руках задачник, и оставляла меня в покое и еще радовалась, наверное, что я сел, наконец, за уроки. Подумай она нечаянно, что нельзя же так подолгу, с таким упоением читать задачник — подумай она так, мне опять была бы выволочка.

На мое счастье, об этой возне с книгами узнала одна молодая учительница из эвакуированных ленинградцев (к стыду своему, забыл теперь ее имя), пришла к нам домой и стала беседовать со мной и с мамой. (Наши женщины, все жители села очень уважали ленинградцев.) Ленинградская учительница узнала, как я читаю, и разъяснила, что это действительно вредно. А главное, совершенно без всякой пользы: я почти ничего не помнил из про-

читанной уймы книг, а значит, зря угробил время и отстал в школе. Но она убедила и маму, что читать надо, но с толком. Сказала, что она нам поможет: оставит список, и я по этому списку стану брать книги в библиотеке. (Читал я действительно черт знает что: вплоть до трудов академика Лысенко — это из ворованных. Обожал также брошюры — нравилось, что они такие тоненькие, опрятные: отчесал за один присест и в сторону ее.)

С тех пор стал я читать хорошие книжки. Реже, правда, но всегда это был истинный праздник. А тут еще мама, а вслед за ней Таля тоже проявили интерес к книгам. Мы залезали вечером все трое на обширную печь и брали туда с собой лампу. И я начинал... Господи, какое жгучее наслаждение я испытывал! Точно я прожил большую-большую жизнь, как старик, и сел рассказывать разные истории моим родным, крайне заинтересованным, благодарным людям. Точно не книгу я держу поближе к лампе, а сам все это знаю. Когда мама удивлялась: «Ах ты, господи! Гляди-ка! Вот ведь что на свете бывает!» — я чуть не стонал от счастья и торопливо и несколько раздраженно говорил: «Да ты погоди, ты послушай, что дальше будет!»

— А что дальше, Вань? — вылетала со своим языком курносовая Таля. Я шипел на нее, обзывал «дурой», мама строго говорила, что так не надо.

— А чего она!..

— Ну, раз мы не понимаем, мы и спрашиваем. А ты не сердись, а рассказывай — ты же знаешь. Тебя разве учительница обзывает дураком?

— Да как можно же сообразить, что я еще сам пока не знаю, что будет дальше!

— Она маленькая. Читай-ка дальше.

Ах, какие это были праздники! (Я тут частенько восклицаю: счастье, радость! праздники!.. Но это — правда, так было. Может, оттого, что — детство. А еще, я теперь догадываюсь, что в трудную, горькую пору нашей жизни радость — пусть малая,

редкая — переживается острее, чище.) Это были праздники, которые я берегу — они сами сберегаются — всю жизнь потом. Лучшего пока не было.

Вот что только омрачало праздники: мама, а вслед за ней Таля скоро засыпали. Только разохотишься, только наладишься читать всю ночь, глядь, уж мама украдкой зевает. А вслед за ней и ее копия тоже ладошечкой рот прикрывает — подражает маме. Я чуть не со слезами смотрю на них.

— Читай, читай! Што, уж зевнуть нельзя?

— Да ведь поснете сейчас!

— Не поснем. Читай знай.

Но я знаю — поснут. Читаю дальше... Мама борется со сном, глаза ее закрываются, она слабеет. Эх!.. Еще минута-две, и мои слушательницы крепко спят. Сижу, горько обиженный... Невдомек было дураку: мама наработалась за целый день, намерзлась. А этой, маленькой, ей эти мои книжки — до фонаря: она хочет быть похожей на маму, и все. Пробую читать один — не то. Да и в сон тоже начинает клонить... И еще одно, что тревожило праздники: мысль о Райке. Вот она скоро доест свою охалку сена и будет стоять мерзнуть до утра. От этой мысли самому холодно и горько, и совестно становится на теплых кирпичках. И маму тоже больно тревожила эта же мысль, и она нет-нет да вздохнет, когда я читаю.

Я знаю, о чем она. Но что делать, что делать! Где его возьмешь, сена?

В один такой вечер мы читали «Вия». Я, сам замирая от страха, читал:

— «Он дико взглянул и протер глаза. Но она, точно, уже не лежит, а сидит в своем гробу. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил их на гроб. Она встала... идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.

Она идет прямо к нему...»

Первой не выдержала мама.

— Хватит, сынок, не надо больше. Завтра дочитаем.

— Давай, мам...

— Не надо, ну их... Вот завтра дедушку позовем ночевать, и ты нам опять ее всю прочитаешь. Как заглавие-то?

— Гоголь. Но тут разные, а эта — «Вий».

— Господи, господа... Не надо больше.

Мы долго лежали со светом. Таля уже спала, а мы с мамой не могли заснуть. По правде говоря, я бы и сам не смог читать дальше. Вот так книга! Учительница отметила на листочке, какие читать в сборнике, а эту не отметила. А я почему-то (запретный плод, что ли?) начал именно с «Вия». И вот, пожалуйста: сразу непостижимый, душу сосущий, захватывающий ужас. И сил нет оторваться, и жутко. Хоть бы завтра дедушка не хворал, хоть бы он пришел, курил бы, лежал на лавке, накрывшись тулупом (он не мог спать в кровати под одеялом), хоть бы он... Мы бы... я бы снова стал читать этого «Вия» и дочитал бы до конца.

— Ты не бойся, сынок, спи. Книжка она и есть книжка: выдуманно все. Кто он такой, Вий?

— Главный черт. Я давеча в школе маленько с конца урвал.

— Да нету никаких Виев! Выдумывают, окаянные, — ребятишек пужать. Я никогда не слыхала ни про какого Вия. А то у нас старики не знали бы!..

— Так это же давно было! Может, он помер давно.

— Все равно старики все знают. Они от своих отцов слыхали, от дедушек... Тебе же дедушка рассказывает разные истории? — рассказывает. Так и будешь своим детишкам, а потом, может, внукам...

Мне смешно от такой необычайной мысли. Мама тоже смеется.

— Вот чего, — говорит она, — побудьте маленько одни, я схожу сено подберу. Давеча везла да в переулке у старухи Сосниной сбросила навильник. Она

подымается рано — увидит, подберет. А жалко — добрый навильник-то. Посидишь, ничего?

— Посижу, конечно.

— Посиди, я скоренько. Огонь не гаси. С печки не слазь.

Мама торопливо собралась, еще сказала, чтоб я никого не боялся, и ушла. Я стал думать, что я опять не отдал должок (семнадцать бабок) Кольке Быстрову — чтоб не думать про Вия. Тоже невеселая дума (неделю уже не могу отдать), но уж лучше про это, чем... Но мысли мои упрямо возвращаются к Вию; возникает неодолимое желание посмотреть вниз, в темный угол. Я начинаю отчаянно бороться с этим желанием, отвернулся к Тале, внушаю себе знакомое: на печке никакая нечистая сила не страшна, на печку они не могут залезть, им не дано, они могут сколько им влезет звать, беситься, стращать внизу, но на печку не полезут, это проверено. Покрутятся до первых петухов и исчезнут. Лежу и стараюсь повеселей думать об этом. Но точно кто за волосы тянет — затылок сводит от желания посмотреть вниз, в угол. Сил моих нет бороться. И уж думаю: ну, загляну! Пусть они попробуют на печку залезть. Пусть они только попробуют... И тут я слышу в сенях торопливые шаги. Я цепенею от ужаса... Кто там? Мама еще до старухи Сосниной не дошла... Вот уж за скобку взялись... Я дернул одеяло на себя — с головой, — чтоб только не видеть... Господи, господи!.. Учиться хорошо буду, маму слушаться... Дверь открылась, и я слышу мамин голос, потревоженный скорой ходьбой:

— Спишь, сынок?

С сердца схлынул мгlistый, цепкий холодок жути.

— Ты, мам? Ты чего скоро-то?

— Да я подумала: чего же я одна-то пошла, мне же одной-то не донести — навильник-то добрый... Пойдем-ка возьмем веревки, навяжем две вязанки да принесем. Жалко бросать-то. Таля-то спит?

Я мигом слетаю с печки.

— Спит. Я сейчас... Она сроду не проснется!

И вот мы идем темной улицей близко друг к другу... Молчим. Пospешаем. Я считаю, сколько еще домов осталось до старухи Сосниной. Пять. Вот — переулочек. Тут — четыре избы и длинный огород этой самой старухи.

— Сено-то доброе! Прямо пух... Жалко оставлять-то. Давечь никого в переулке-то не было, я и сбросила с воза. Чего им, колхозным-то? Им-то до весны с лишком хватит...

— Если хороший навильник, — раза на три хватит дать.

— Там на четыре хватит. Я ишо там, когда накладывались, подумала: может, запоздаем в деревню-то — стемнеет, поедем переулком, я и сброшу. Да и положила поверх бастырка* здоро-о-вый навильник.

— А если б в переулке кто-нибудь бы оказался?

— Ну, тогда что ж... отвезла бы в бригаду. Тут уж ничего не сделаешь.

— Ух, она же и поест у нас сейчас! Свеженького-то... Сразу согреется. Сразу ей дадим?

— Знамо, сразу! Дармовое...

Ну вот она, старухина изба. У нее там — между избой и баней — есть такой закоулок... Летом там крапива растет в рост человеческий, а зимой сохлые стеблины торчат из снега, чернеют — вечером и то никакого сена не разглядишь, не то что ночью.

Мы скоро навязываем две большие вязанки... Сено пахучее, шуршит в руках, колетя. Так и вижу нашу Райку — как она уткнет свою морду в это добро.

Идем назад. И тут — черт ее вынес, проклятую — собака Чуевых: подбежала, невидная, неслышная, да как гавкнет. Я подскочил, но вязанки не выронил... А мама выронила свою и села на нее. Едва оправилась от страха, пошли. Мама ругается:

— Вот гадина!.. У меня чуть разрыв сердца не случился. Ты-то как, сынок?

* Жердь, толстая палка для укрепления сена на возу (диал.) (прим. ред.)

— Да ничего. Ноги маленько ослабли сперва, а сейчас ничего.

Некоторое время еще идем.

— Может, подбежим, сынок? Оно скорее дело-то будет. А то Таля бы там не проснулась...

— Давай.

И вот мы трусим по улице. Мне смешно, как вязка — точно большой, темный горб — подскакивает на маминой спине.

Райка мыкнула, услышав нас... Я распустил свою вязанку и бухнул ей в ноги большую охапку. Райка мотнула головой и захрумтела вкуснейшим сенцом.

— Ешь, милая, ешь, — говорит мама. — Ешь, родимая. — И чего-то всплакнула и тут же вытерла слезы и сказала: — Ну, пошли, Вань, а то Талюха там... Дело сделали!

Талья спит! Даже не пошевелинулась, пока мы шумно и весело раздевались и залезали на печку.

«Здорово, Вий!» — сказал я про себя и посмотрел вниз, в дальний темный угол.

Весны-то мы кое-как дождались, а вот Райки у нас не стало... У меня и теперь не хватает духу рассказать все подробно. У нас уж в избе раскорячился теленок — телочка! — цедил на соломенную подстилку тоненькую бесконечную струйку. Мы ели картошку и запивали молочком.

Сена, конечно, не хватило. А уж вот-вот две недели — и выгонять пастись. Только бы эти две недели как-нибудь... Мама выпрашивала у кого-нибудь по малой вязанке, но чего там! Райке теперь много надо: у ней теперь молоко. И мы ее выпускали за ворота, чтобы она подбирала по улице: может, где клочок старого вытает или повезут возы на колхозную ферму и оставят на плетнях... Иногда оставляют на кольях по доброй горсти. Так она у нас и ходила. А где-то, видно, забрела в чужой двор, пристроилась к стожку... Стожки

еще у многих стояли: у кого мужики в доме, или кто по блату достал воз, или кто купил, или... бог их там знает. Поздно вечером Райка пришла к воротам, а у ней кишки из брюха висят, тащатся за ней: прокололи вилами...

Вот... Значит, надо ждать телочку, пока она вырастет. Назвали ее тоже Рая.

ЖАТВА

Год, наверно, 1942-й. (Мне, стало быть, 13 лет.)
Лето, страда. Жара несусветная. И нет никакой возможности спрятаться куда-нибудь от этой жары. Рубаха на спине накалилась и, повернешься, обжигает.

Мы жнем с Сашкой Кречетовым. Сашка старше, ему лет 15–16, он сидит «на машине» — на жнейке (у нас говорили — жатка). Я — гусевым. Гусевым, это вот что: в жнейку впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла (водила или водилины), а один, на длинной постромке, впереди, и на нем-то в седле сидел обычно парнишка моих лет, направляя пару тягловых — и, стало быть, машину — точно по срезу жнивья.

Оглушительно, с лязгом, звонко стрекочет машина, машет добела отполированными крыльями (когда смотришь на жнейку издали, кажется, кто-то заблудился в высокой ржи и зовет руками к себе); сзади стоячей полосой остается висеть золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя все время наплывает сухой, горячий запах спелого зерна, соломы, нагретой травы и пыли — прошлый след, хоть давешняя золотистая полоса и осела, и сзади поднимается и остается неподвижно висеть новая.

Жара жарой, но еще смертельно хочется спать: встали чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда не приученный к этой работе мерин сворачивает в хлеб — сбивать стеблями ржи паутов* с ног. Сашка орет:

— Ванька, огрею!

* Овод (диал.) (прим.ред.)

Бичина у него длинный — может достать. Я потихоньку матерюсь, выравниваю коня... Но сон, чудовищный, желанный сон опять гнет меня к конской гриве, и сил моих не хватает бороться с ним.

— Ванька!.. — Сашка тоже матерится. — Я сам с сиденья валюсь! У меня у самого сейчас кровоизлияние мозга будет! Потерпи!

— Давай хоть пять минут поспим?! — предлагаю я.

— Еще три круга — и выпрягаем.

Три огромных круга!.. А машина стрекочет и стрекочет, и размерно шагает конь, и дергает повод, и фыркает, и на голову точно масляный блин положили, и горячее масло струйками стекает под рубаху, в штаны... Там, где сидишь в седле, мокро, все остальное раскалилось, тлеет.

— А, Сань?! А то упаду под жатку, вот увидишь!

Сашку допекло тоже; он еще немного хорохорится, поет песни, потом натягивает вожжи.

— Тр-р! Пять минут, Ванька! А то застукают.

Господи, да больше и не надо! Это и так вечность. Падаю с коня, на карачках отползаю подальше в рожь — на тот случай, если кони сами тронут, то чтоб не переехало машиной — успеваю еще подумать про это... Потом горячая, пахучая земля приникла к лицу, прижалась; в ушах еще звон жнейки, но он скоро слабеет, над головой тихо прошуршали литые, медные колоски — и все. Мир звуков сомкнулся, я отбыл в мягкую, зыбучую тишину. Еще некоторое время все тело вроде слегка покачивается, как в седле, приятно гудит кровь, потом я бестелесно куда-то плыву и испытываю блаженство. Странно, я чувствую, как я сплю — сознательно, сладко сплю. Земля стремительно мчит меня на своей груди, а я — сплю, я знаю это. Никогда больше в своей жизни я так не спал — так вот — целиком, вволю, через край.

Сколько мы спали, не знаю, только проснулся я — вдруг, с ощущением близкой опасности; сразу

как-то, как от толчка, всплыл из глубины небытия на поверхность... Кто-то кричал... Я вскочил. Нас все же застукали: сам председатель колхоза Иван Алексеич бегал по стерне* за Сашкой, но так как одна нога у председателя деревянная, то догнать Сашку, конечно, он не мог, и только издали грозил плетью и ругался. Увидев меня, председатель кинулся было за мной, но я так дернул с места, что он сразу остановился.

— Контры! Вы мне ответите!.. Садитесь жать сейчас же!

— Отойди от жатки, тогда сядем, — Сашке, видно, попало разок председательской плетью — он почесывал спину.

— Сейчас же у меня садитесь! Вы што, под статью меня подвести хотите?!

— Отойди от жатки...

Председатель, ругаясь, пошел к своему легкому коробку**, который стоял в стороне.

Опять заскрипела, заскрежетала жнейка, опять наладилось жечь солнце, но теперь на душе куда легче, даже весело: малость урвали.

Председатель еще постоял немного, посмотрел на нас и уехал.

Странный он был человек, Иван Алексеич, председатель. Эта нога его — это ему давно еще, молотилкой: хотел потуже вогнать сноп под барабан, и вместе со снопом туда задернуло ногу. Пока успели скинуть со шкива приводной ремень, ногу всю изодрало зубьями барабана, потом ее отняли выше колена. Мы его несколько не боялись, нашего председателя, хоть он страшно ругался и иногда успевал жогнуть плетью. Мы не догадывались тогда, что народ мы еще довольно зеленый, всю ругались по-мужичьи, и с председателем — тоже. С нами было нелегко. Как я теперь понимаю, это был человек добродушный, большого терпения и совестливости. Он жил с нами на пашне, сам починял веревочную

* Сжатое поле.

** Коробок — возок с плетеным кузовом (диал.) (прим. ред.)

сбрую, длинно матерился при этом... Иногда с силой бросал чиненую-перечиненую шлею, топтал ее здоровой ногой и плакал от злости.

В тот день председатель здорово насмешил нас.

Съехались мы поздно вечером к бригадному дому, расселись кто где хлебать затируху (мелкие кусочки теста, крошки, сваренные в воде). Потом должно было быть собрание: у председателя много накопилось фактов нашего безобразного поведения: кто-то еще, кроме нас с Сашкой, спал на полосе, кто-то накануне, вечером, самовольно бегал домой в баню, кто-то, дожав клин, гонялся с бичом за перепелками — терял драгоценное время...

Председатель, пока мы ужинали, застелил красным сукном длинный стол под навесом, сидел один за столом, строго поглядывал в нашу сторону — ждал: предстояла «накачка».

Мы ополоснули чашки, закурили и приготовились слушать.

— Сегодня четыре оглоеда, — начал председатель, — спали на полосе. Это: Санька Кречетов, Илюха Чумазый, Ванька Попов и Васька-безотцовщина. Вы што, соображаете?! А этот верзила... Колька, я про тебя! — в баньку ему, вишь, захотелось!

(Колька, Моисеев внук, поймал у меня вчера на рубахе вшу и подговаривал вместе бежать вечером в деревню в баню, а к свету вернуться. Я отказался.)

— Попариться ему, вишь, захотелось, жеребцу! Дубина такая... Ты всю ночь-то пробегаешь туда-сюда, а днем — спать на полосе!

— Я не спал.

— Я посплю вам! Я вам посплю, дьяволы! Вы у меня ишо скирдовать в ночь будете.

Далеко, за лесом, медленно опускается в синие дымы большое красное солнце; хорошо на земле, задумчиво, покойно. Под председательским столом, свернувшись калачиком, мирно спит Борзя, наш бесконечно добрый, шалавый кобель.

Председатель никак не может разозлиться, вяло у него получается — никакого интереса. Мы клюем носами.

— Дальше: што это за моду взяли — перепелок стегать?! Живодеры... Первое: они всяких личинок уничтожают... Да время же теряете, черти! Пока ты ее догонишь да угодишь бичом — времени-то сколько уходит! Дальше: Ленька-японец наехал, сукин сын, на пенек, порвал пилу. Оглазел?! Скину вот трудодней пятнадцать, будешь вперед смотреть! Ехай сейчас прямо в кузню — штоб завтра, как только дед Макар проснется, пилу мне склепали.

Ленька-японец радешенек: дома побудет. Везет недомерку! Не нарочно ли на пень-то наехал? Но он хитрый, радости не показывает, а виновато хмурится.

— Дальше: еслив ишшо кого увижу...

Тут-то нанесло неожиданного: на дороге, из-за взгорка, показались дрожки уполномоченного: мы хорошо знали его жеребца. К нам едет.

Эх, как вскочил тут наш председатель (он ужасно боялся уполномоченного), да как застучал кулаком по столу, как закричал:

— Я давно уж замечаю среди вас контр... контр...

А деревяшкой своей председатель наступил Борзе на хвост; Борзя взвыл блажным голосом. Председателю надо перекричать собаку, он кричит:

— Давно уж я замечаю среди вас контрреволюционные элементы!

Собака воеет, крутится под столом; председатель почему-то не может сойти с нее — то ли от волнения, то ли... бог его знает. Добрый Борзя начал кусать деревяшку; мы корчимся от смеха: до того уморительная картина. (Потом, когда мы вспоминали эту историю, Ленька-японец сознался, что у него случилась тогда посикота — написал в штаны от смеха.)

Уполномоченный подъехал. Глядит на нас, ничего не может понять. Председатель быстро по-

шел навстречу ему. Ошалевший Борзя с визгом вылетел из-под стола, кинулся бежать... Да прямо в ноги райкомовскому жеребцу. Красавец жеребец дико всхрапнул, дал в дыбы — чуть из хомута не вылез. Уполномоченный выскочил из коробка; председатель поскакал было на деревяшке за Борзей, потом вернулся, стал успокаивать жеребца.

Мы все лежали вповал. Мы тоже побаивались уполномоченного, но тут ничего не могли с собой сделать — умирали от смеха.

— В чем дело?! — строго спросил уполномоченный.

— Это... собрание у нас — насчет итогов, — пояснил Иван Алексеич. — С собакой маленько комедия вышла... — И закричал на нас: — Завтра же убрать этого блохастого!..

— Я вижу, что комедия, а не собрание. Может, рано веселиться-то?! — спросил у нас уполномоченный. — Может, наоборот, плакать надо?!

Мы постепенно затихли. Вот теперь, кажется, будет «накачка» настоящая. Но уполномоченный почему-то отменил собрание. Неожиданно добрым голосом сказал:

— Ладно: поработали, посмеялись — идите спать.

Спали мы в доме на нарах. Долго еще не могли успокоиться в тот вечер, вспоминали Борзю, Ивана Алексеича, хохотали в подушки. Иван Алексеич беседовал у огонька с уполномоченным... Раза два он входил к нам и сердито шипел:

— Вы будете спать? Опять завтра не добудитесь!.. Оглоеды. Хоть бы человека постеснялись.

Потом уполномоченный уехал.

Мы один за другим проваливаемся в сон...

Когда я — позже других, последним, наверно, — выхожу до ветра, уже светит луна и где-то близко вскрикивает ночная птица.

Председатель сидит у костра, тихонько звякает ложкой об алюминиевую чашку — хлебает затируху. Протез его отстегнут, лежит рядом... Худая култышка как-то неестественно белеет на траве. Иван Алексеевич часто склоняется и дует на нее — видно, до боли натрудил за день, теперь она, горячая, отдыхает.

А вокруг тепло и ясно; кто-то высоко-высоко золотыми гвоздями пришил к небу голубое полотно, и сквозь него сквозит, льется нескончаемым потоком чистый, голубовато-белый, легкий свет.

И все вскрикивает в согре какая-то ночная птица — зовет, что ли, кого?

БЫК

Одно время работал я на табачной плантации, на табачке, у нас говорили. Поливал табак.

Воду надо было возить из согры.

Как только солнце подымалось, мы запрягали в водовозки быков и весь день возили воду.

Бык у меня был на редкость упрямый и ленивый. Сбруя — веревочная, то и дело рвется. Едешь на взвоз, бык поднатужится — хомут пополам. А бык шагает дальше. А я с бочкой посередь дороги стою. Догоняю быка, заворачиваю, кое-как связываю хомут, запрягаю, и с грехом пополам выезжаем на взвоз. Несколько раз он меня переворачивал с бочкой. Идет, идет по дороге, потом ему почему-то захочется свернуть в сторону. Свернул — бочка набок. Я бил его чем попало. Бил и плакал от злости. Другие ребята по полтора трудодня в день зашибали, я едва трудодень выколачивал с таким быком. Я бил его, а он спокойно стоял и смотрел на меня большими глупыми глазами. Мы ненавидели друг друга.

Один раз — после обеда — надо запрягать, моего быка нет. Бригадир, Петрунька Яриков, косой, маленький мужик, орет на меня:

— Куда же он у тебя девался-то, мать-перемать?! В землю, что ли, провалился?

Я ополекал все закоулки, все укромные места — нет быка. Ну, думаю, только бы мне найти тебя, змей, я тебе покажу

Нашел в просе — лежит, отдувается в холодке.

Я прямо с разбегу сапогом ему в морду. Как он мэкнет, как вскочит да как даст мне под зад! Я отлетел метра на три и подумал, что я уже мертвый. А он раскорячил ноги, нагнул голову и смотрит на меня. Я тоже смотрю на него... Мне показалось, что мы долго так смотрели друг на друга. Я боялся пошевелиться. Думаю, как с собакой: встанешь, он опять кинется. Потом все-таки потихоньку стал подниматься... Бык стоит. Смотрит. Я поднялся и пошел от него задом. Кое-как доковылял до бригады. Задница огнем горит... Хорошо, еще не рогом попал (они у него широченные, лбом угодил), — сидеть бы мне у него на голове, как снопу на вилах.

Бригадир разозлился на быка, вырвал из телеги железный курок* и побежал в просо. Через пять минут, видим, летит наш бригадир, сломя голову, за ним бык. Бежит бригадир и орет:

— Стреляйте в него! Стреляйте, чо вы стоите?! Спорет ведь он меня!..

Забыл с перепуту, что ружья ни у кого нет — у нас их позабирали, как началась война.

Ребятишки и бабы, увидев разъяренного быка, — кто куда, врассыпную. Я лежал на животе возле избушки. Бык протопал мимо — не обратил внимания. Видно, Петрунька с железным курком насолил ему здорово. Пробежал бык совсем близко, аж земля задрожала. У меня сердце в пятки ушло.

Петрунька туда — бык за ним, Петрунька сюда — бык за ним, гоняет его по ограде. Загнал в угол. Петрунька, как птица, взлетел на плетень — и на ту сторону. Бык, не останавливаясь, с ходу саданул рогами в плетень, вырвал его с кольями и пронес, и сбросил. Тогда только остановился. Ему накинули волосяную петлю на шею, стянули, измучили, потом продели веревку в кольцо и привязали к столбу.

По давней традиции (она, как ни странно, сохранилась и в войну) после того, как табак уберут с плантации, высушат и свезут в город на табач-

* Штырь, на котром держится и ходит передняя ось повозки (прим. ред.)

ную фабрику, бригада гуляет. Валили какую-нибудь скотину, варили, жарили... Привозили из деревни самогонку — и начиналось.

На этот раз забили моего быка. Трое мужиков взяли его и повели на чистую травку — неподалеку от избышки. Бык покорно шел за ними. А они несли кувалду, ножи, стираную холстину... Я убежал из бригады, чтобы не услышать, как он заревет. И все-таки я услышал, как он взревел — негромко, глухо, коротко, как вроде сказал: «ой!» К горлу мне подступил горький комок; я вцепился руками в траву, стиснул зубы и зажмурился. Я видел его глаза... В тот момент, когда он, раскорячив ноги, стоял и смотрел на меня, повергнутого на землю, — пожалел он меня тогда, пожалел.

Мяса я не ел — не мог. И было обидно, что не могу как следует наестся — такой «рубон» не часто бывает.

САМОЛЕТ

Мы, четверо пацанов: Шуя, Жаренок, Ленька и я — шагаем с сундучками в гору. Поступаем в автомобильный техникум. Через три с половиной года будем техниками-механиками по ремонту и эксплуатации автотранспорта. Техникум — в городе, точнее, за городом, километрах в семи, в бывшем монастыре. Идти надо обрывистым правым берегом широкой реки. Это мой второй приезд в этот город. Душа потихоньку болит — тревожно, охота домой. Однако надо выходить в люди. Не знал я тогда, что навсегда уйду из родного села. То есть буду еще приезжать потом, но — так, отдышаться... Вот уж не знал!

Городские ребята не любили нас, деревенских, смеялись над нами, презирали. Называли «чертями» и «рогалями». Что такое «рогаль», я по сей день не знаю, и как-то лень узнавать. Наверно, тот же черт — рогатый. В четырнадцать лет презрение очень больно и ясно сознаешь, и уже чувствуешь в себе кое-какую силенку — она порождает неодолимое желание мстить. Потом, когда освоились, мы обижать себя не давали. Помню, Шуя, крепыш парень, подсаdistый* и хлесткий, закатал в лоб одному городскому журавлю, и тот летел — только что не курлыкал. Жаренок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился — схватил нож... Тот, кто стоял против него — тоже с ножом, — очень удивился. И это-то — что он только удивился — толкнуло меня к нему с голыми кулаками.

* *Т.е. невысокого роста, но с крепким телосложением (прим. ред.)*

Надо было защищаться — мы защищались. Иногда — так вот — безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной.

Но это было потом. Тогда мы шли с сундучками в гору, и с нами вместе — налегке — городские. Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя.

— Чяво там, Ваня? Сальса шматок да мядку туясок?

— Сейчас раскошелитесь, черти! Все вытряхнем!

— Гроши-то куда запрятали?.. Куркули, в рот вам пароход!..

Откуда она бралась, эта злость — такая осмысленная, не четырнадцатилетняя, обидная? Что, они не знали, что в деревне голодно? У них тут хоть карточки какие-то, о них думают, там — ничего, как хочешь, так выживай. Мы молчали, изумленные, подавленные столь открытой враждебностью. Проклятый сундучок, в коором не было ни «мядку», ни «сальса», обжигал руку — так бы пустил его вниз с горы.

А на горе, когда поднялись, на ровном открытом месте стоял... самолет. Да так близко! Там был аэродром. И так он неожиданно открылся, этот самолетик, так близко стоял, и никого рядом не было — можно подойти и потрогать... Раньше нам приходилось — редко — видеть самолет в небе. Когда он летел над селом, выскакивали из всех домов, шумели: «Где?.. Где он?» Ах ты, господи!.. Я так и ахнул. Да все мы слегка ошалели. И городские — тоже. Что уж, так каждый день видели они их, самолеты? Но они скоро взяли себя в руки, притворяшки.

— Кукурузник, сука.

— Сидит... Горючего, наверно, нет...

И пошли, не глядя больше на самолет.

Мы пошли за ними и тоже старались не смотреть на самолет: нельзя было показать, что мы — действительно такая уж совсем непролазная «деревня».

А ничего же ведь не случилось бы, если бы мы маленько постояли, посмотрели. Но мы шли и не оглядывались. Когда я не выдержал и все-таки оглянулся, меня кто-то из наших крепко дернул за рукав.

Он мне, этот самолет, снился потом. Много раз после приходилось ходить горой, мимо аэродрома, но самолета там не было — он летал. И теперь он стоит у меня в глазах — большой, легкий, красивый... Двукрылый красавец из далекой-далекой сказки.

1968

МИКРОСКОП

На это надо было решиться. Он решился.

Как-то пришел домой — сам не свой — желтый; не глядя на жену, сказал:

— Это... я деньги потерял. — При этом ломаный его нос (кривой, с горбатинкой) из желтого стал красным. — Сто двадцать рублей.

У жены отвалилась челюсть, на лице появилось, просительное выражение: может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не шутит, не умеет. Она глупо спросила:

— Где?

Тут он невольно хмыкнул.

— Дак если б я знал, я б пошел и...

— Ну не-ет!! — взревела она. — Ухмыляться ты теперь до-олго не будешь! — И побежала за сквородником. — Месяцев девять, гад!

Он схватил с кровати подушку — отражать удары. (Древние только форсили своими сверкающими щитами. Подушка!) Они закружились по комнате...

— Подушку-то, подушку-то мараешь! Самой стирать!..

— Выстираю! Выстираю, кривоносик! А два ребра мои будут! Мои! Мои!..

— По рукам, слушай!..

— От-теньки-коротеньки!.. Кривенькие носики!

— По рукам, зараза! Я ж завтра на бюлитень сяду! Тебе же хуже.

- Садись!
- Тебе же хуже...
- Пускай!
- Ой!
- От так!
- Ну, будет?

— Нет, дай я натешусь! Дай мне душеньку ответить, скважина ты кривоногая! Дятел... — Тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама испугалась...

Он бросил подушку, схватился за голову, застыл. Она пытливо смотрела на него: притворяется или правда больно? Решила, что — правда. Поставила сковородник, села на табуретку и завывала. Да с причетом, с причетом:

— Ох, да за што же мне дюлюшка така-ая-а?.. Да копила-то я их, копила!.. Ох, да лишней-то раз кусочка белого не ела-а!.. Ох, да и детушкам своим пряничка сладкого не покупала!.. Все берегла-то я, берегла, скважина ты кривоногая-а!.. Ох-х!.. Каждую-то копеечку откладывала да радовалась: будут у моих детушек к зиме шубки теплые да нарядные! И будут-то они ходить в школу не рваные да не холодные!..

— Где это они у тебя рваные-то ходят? — не вытерпел он.

— Замолчи, скважина! Замолчи. Съел ты эти денюжки от своих же детей! Съел и не подавился... Хоть бы ты подавился имя, нам бы маленько легче было.

— Спасибо на добром слове, — ядовито прошептал он.

— М-хх, скважина!.. Где был-то? Может, вспомнишь?.. Может, на работе забыл где-нибудь? Может, под верстак положил да забыл?

— Где на работе!.. Я в сберкассе-то с работы пошел. На работе...

— Ну, может, заходил к кому, скважина?
— Ни к кому не заходил.
— Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками?..
Вспомни. Может, выронил на пол... Беги, они пока ишо отдадут.

— Да не заходил я в ларек!
— Да где ж ты их потерять-то мог, скважина?
— Откуда я знаю?
— Ждала его!.. Счас бы пошли с ребяташками, примерили бы шубки... Я уж там подобрала — какие. А теперь их разберут. Ох, скважина ты, скважина...

— Да будет тебе! Заладила: скважина, скважина...
— Кто же ты?
— Што теперь сделаешь?
— Будешь в две смены работать, скважина! Ты у нас худой будешь... Ты у нас выпьешь теперь читушечку после бани, выпьешь! Сырой водички из колодца...

— Нужна она мне, читушечка. Без нее обойдусь.
— Ты у нас пешком на работу ходить будешь!
Ты у нас покатаешься на автобусе.

Тут он удивился:

— В две смены работать и — пешком? Ловко...
— Пешком! Пешком — туда и назад, скважинка! А где, так ишо побежишь — штоб не опоздать. Отольются они тебе, эти денюжки, вспомнишь ты их не раз.

— В две не в две, а по полторы месячишко отломаю — ничего, — серьезно сказал он, потирая ушибленное место. — Я уж с мастером договорился. — Он не сообразил сперва, что проговорился. А когда она недоуменно глянула на него, поправился: — Я, как хватился денег-то, на работу снова поехал и договорился.

— Ну-ка дай сберегательную книжку, — потребовала она. Посмотрела, вздохнула и еще раз горько сказала: — Скважина.

С неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при «Заготзерне», что в девяти километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена все злилась; он то и дело получал «скважину», сам тоже злился, но обзывать вслух не смел.

Однако дни шли... Жена успокаивалась. Андрей ждал. Наконец решил, что — можно. И вот поздно вечером (он действительно «вламывал» по полторы смены) пришел он домой, а в руках держал коробку, а в коробке, заметно, что-то тяжеленькое. Андрей тихо сиял.

Ему нередко случалось приносить какую-нибудь работу на дом, иногда это были небольшие какие-нибудь деревянные штучки, ящички, завернутые в бумагу, — никого не удивляло, что он с чем-то пришел. Но Андрей тихо сиял. Стоял у порога, ждал, когда на него обратят внимание... На него обратили внимание.

— Чего эт ты, как... голый зад при луне, светисся?

— Вот... дали за ударную работу. — Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку... И наконец открыл. И выставил на стол... микроскоп. — Микроскоп.

— Для чего он тебе?

Тут Андрей Ерин засуетился. Но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился.

— Луну будем разглядывать! — И захохотал. Сын-пятиклассник тоже засмеялся: луну в микроскоп!

— Чего вы? — обиделась мать.

Отец с сыном так и покатались.

Мать навела на Андрея строгий взгляд. Тот успокоился.

— Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды... Так? — Андрей зачерпнул кружку воды. — Ты думаешь, ты воду пьешь?

- Пошел ты!..
- Нет, ты ответь.
- Воду пью.

Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал.

- Воду она пьет!.. Ну не дура?..
- Скважина! Счас сковородник возьму.

Андрей снова посерьезнел.

— Микробов ты пьешь, голубушка, микробов. С водой-то. Миллиончика два тяпнешь — и порядок. На закуску! — Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя (жена) пошла в куть* за сковородником.

— Гляди суда! — закричал Андрей. Подбежал с кружкой к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверно, минуты две, еле дыша, смотрел. Сын стоял за ним — смерть как хотелось тоже глянуть.

— Пап!..

— Вот они, собаки!.. — прошептал Андрей Ерин. С каким-то жутким восторгом прошептал: — Разгуливают.

— Ну, пап!

Отец дрыгнул ногой.

— Туда-суда, туда-суда!.. Ах, собаки!

— Папка!

— Дай ребенку посмотреть! — строго велела мать, тоже явно заинтересованная.

Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил место сыну. И жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил:

— Ну?

Сын молчал.

— Ну?!

— Вот они! — заорал парнишка. — Беленькие...

Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери.

* Задний женский угол в избе, место возле русской печи, где хозяйка готовит пищу (диал.) (прим. ред.)

— Гляди! Воду она пьет...

Мать долго смотрела... Одним глазом, другим...

— Да никого я тут не вижу.

Андрей прямо зашелся весь, стал удивительно смелый.

— Оглазела! Любую копейку в кармане найдет, а здесь микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебе прыгают, дура! Беленькие такие...

Мать, потому что не видела никаких беленьких, а отец с сыном видели, не осердилась.

— Вон, однако... — Может, соврала, у нее высказывало. Могла приврать.

Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и прилип к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот.

— Твою мать, што делают! Што делают!..

— Мутненькие такие? — расспрашивала сзади мать сына. — Вроде как жиринки в супу?.. Они, што ли?

— Ти-ха! — рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа. — Жиринки... Сама ты жиринка. Ветчина целая. — Странно, Андрей Ерин становился крикливым хозяином в доме.

Старший сынишка-пятиклассник засмеялся. Мать дала ему подзатыльник. Потом подвела к микроскопу младших.

— Ну-ка ты, доктор кислых щей!.. Дай детям посмотреть. Уставился.

Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал о чем-то.

Когда ужинали, Андрей все думал о чем-то, поглядывал на микроскоп и качал головой. Зачерпнул ложку супа, показал сыну:

— Сколько здесь? Приблизительно?

Сын наморщил лоб:

— С полмиллиончика есть.

Андрей Ерин прищурил глаз на ложку.

— Не меньше. А мы их — ам! — Он проглотил суп и хлопнул себя по груди. — И — нету. Сейчас их там сам организм начнет колошматить. Он-то с имя управляется!

— Небось сам выпросил? — Жена с легким удовольствием посмотрела на микроскоп. — Может, пылесос бы дали. А то пропылесосить — и нечем.

Нет, бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлёкся творец, увлёкся. Как всякий художник, впрочем. Да ведь и то — не Мыслителя делал.

Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел в микроскоп и шептал:

— От же ж собаки!.. Што вытворяют. Што они только вытворяют! И не спится им!

— Не помешайся, — сказала жена, — тебе ведь немного и надо-то — тронешься.

— Скоро начну открывать, — сказал Андрей, залезая в тепло к жене. — Ты с ученым спала когда-нибудь?

— Еще чего!..

— Будешь. — И Андрей Ерин ласково похлопал супругу по мягкому плечу. — Будешь, дорогуша, с ученым спать.

Неделю, наверно, Андрей Ерин жил, как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал... Косился на микроскоп.

— Дело в том, — рассказывал он, — что человеку положено жить сто пятьдесят лет. Спрашивается, почему же он шестьдесят, от силы семьдесят — и протянул ноги? Микробы! Они, сволочи, укорачивают век человеку. Пролезают в организм, и как только он чуток ослабнет, они берут верх.

Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали. Рассматривали каплю воды из колодца, из питьевого ведра... Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку. Еще отец

посылал сына взять для пробы воды из лужицы... И там этих беленьких кишмя кишело.

— Твою мать-то, што делают!.. Ну вот как с имя бороться? — У Андрея опускались руки. — Наступил человек в лужу, пришел домой, наследил. Тут же прошел и ребенок босыми ногами — и, пожалуйста, подцепил. А какой там организм у ребенка!

— Поэтому всегда надо вытирать ноги, — заметил сын. — А ты не вытираешь.

— Не в этом дело. Их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то — я вытру, знаю теперь, а Сенька вон Маров... докажи ему: как шлепал, дурак, так и всегда будет.

Рассматривали также капельку пота, для чего сынишка до изнеможения бегал по улице, потом отец ложечкой соскреб у него со лба влагу — получили капельку, склонились к микроскопу...

— Есть! — Андрей с досадой ударил себя кулаком по колену. — Иди проживи сто пятьдесят лет!.. В коже и то есть.

— Давай спробуем кровь? — предложил сын.

Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце... Склонился к трубке и застонал.

— Хана, сынок, — в кровь пролезли! — Андрей Ерин распрямился, удивленно и горько посмотрел вокруг. — Та-ак. А ведь знают, паразиты, лучше меня знают, — и молчат.

— Кто? — не понял сын.

— Ученые. У их микроскопы-то получше нашего — все видят. И молчат. Не хотят расстраивать народ. А чего бы не сказать? Может, все вместе-то и придумали бы, как их уничтожить. Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется.

Андрей Ерин сел на табуретку, закурил.

— От какой мелкой твари гибнут люди! — Вид у Андрея был убитый.

Сын смотрел в микроскоп.

— Друг за дружкой гоняются! Эти маленько другие... Кругленькие.

— Все они — кругленькие, длинненькие — все на одну масть. Матери не говори пока, што мы у меня их крове видели.

— Давай у меня посмотрим?

Отец внимательно поглядел на сына... И любопытство и страх отразились в глазах Ерина-старшего. Руки его, натруженные за много лет — большие, пропахшие смолем, чуть дрожали на коленях.

— Не надо. Может, хоть у маленьких-то... Эх, вы! — Андрей встал, пнул со зла табуретку. — Вшей, клопов, личинок всяких — это научились выводить, а тут каких-то... меньше же гниды самой маленькой — и ничего сделать не можете! Где же ваша ученая степень?!

— Вшу видно, а этих... Как ты их?

Отец долго думал.

— Скипидаром?.. Не возьмет. Водка-то небось покрепче... я ж пью, а вон видел, што делается в крове-то!

— Водка в кровь, что ли, поступает?

— А куда же? С чего же дурет человек?

Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу... Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в горницу.

— Давай попробуем... Наточил проволочку — может, сумеем наколоть парочку.

Кончик проволочки был тонкий-тонкий — прямо волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельку воды. Пыхтел... Вспотел даже.

— Разбегаются, заразы... Нет, толстая, не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя — не сделать. Ладно, счас поужинаем, попробуем их током... Я батарейку прихватил: два проводка подведем и законтачим. Посмотрим, как тогда они будут...

И тут-то во время ужина нанесло неурочного: зашел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем в «Заготзерне». По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверно, и забрел к Андрею — просто так.

В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова.

— Садись с нами, — без всякого желания пригласил Андрей.

— Зачем? Мы вот тут... Нам што? Нам — в уголку!..

«Ну чего вот сдуру сиротой казанской прикинулся?»

— Как хочешь.

— Дай микробов посмотреть?

Андрей встревожился.

— Каких микробов? Иди проспись, Серега... Никаких у меня микробов нету.

— Чего ты скрываешь-то? Оружью, што ли, прячешь? Научное дело... Мне мой парнишка все уши прожужжал: дядя Андрей всех микробов хочет уничтожить. Андрей!.. — Сергей стукнул себя в грудь кулаком, устремил свирепый взгляд на «ученого». — Золотой памятник отольем!.. На весь мир прославим! А я с тобой рядом работал!.. Андрюха!

Зое Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что по селу говорят про ее мужа — ученый. Скорей по привычке поворчат при случае, чем из истинного чувства, она заметила:

— Не могли уж чего-нибудь другое присудить? А то — микроскоп. Свихнется теперь мужик — ночи не спит. Што бы — пылесос какой-нибудь присудить... А то пропылесосить — и нечем, не соберемся никак купить.

— Кого присудить? — не понял Сергей.

Андрей Ерин похолодел.

— Да премию-то вон выдали... Микроскоп-то этот...

Андрей хотел было как-нибудь — глазами — дать понять Сергею, что... но куда там! Тот уставился на Зою как баран.

— Какую премию?

— Ну премию-то вам давали!

— Кому?

Зоя посмотрела на мужа, на Сергея...

— Вам премию выдавали?

— Жди, выдадут они премию! Догонют да ишо раз выдадут. Премию...

— А Андрею вон микроскоп выдали... за ударную работу... — Голос супруги Ериной упал до жути — она все поняла.

— Они выдадут! — разорялся в углу пьяный Сергей. — Я в прошлом месяце на сто тридцать процентов нарядов назакрывал... так? Вон Андрей не даст соврать...

Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть.

Андрей встал... Взял Сергея за шкурку и вывел из избы. Во дворе стукнул его разок по затылку, потом спросил:

— У тебя три рубля есть? До полочки...

— Есть... Ты за што меня ударил?

— Пошли в лавку. Кикимора ты болотная!.. Какого хрена пьяный болтаешься по дворам?.. Эх-х... Чурка ты с глазами.

В эту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея. Напились они с ним до соплей. Пропили свои деньги, у кого-то еще занимали до полочки.

Только на другой день, к обеду, заявился Андрей домой... Жены не было.

— Где она? — спросил сынишку.

— В город поехала, в эту... как ее... в комиссионку.
Андрей сел к столу, склонился на руки. Долго сидел так.

— Ругалась?

— Нет. Так, маленько. Сколько пропил?

— Двенадцать рублей. Ах, Петька... сынок... — Андрей Ерин, не поднимая головы, горько сморщился, заскрипел зубами. — Разве же в этом дело?! Не поймешь ты по малости своей... не поймешь...

— Понимаю: она продаст его.

— Продаст. Да... Шубки надо. Ну ладно — шубки, ладно. Ничего... Надо, конечно...

1969

СРЕЗАЛ

К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович. С женой и дочерью. Поприведовать, отдохнуть.

Деревня Новая — небольшая деревня, а Константин Иванович еще на такси подкатил, и они еще всем семейством долго вытаскивали чемоданы из багажника... Сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал сын с семьей, средний, Костя, богатый, ученый.

К вечеру узнали подробности: он сам — кандидат, жена тоже кандидат; дочь — школьница. Агафье привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки.

Вечером же у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали Глеба.

Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали.

Глеб Капустин — толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло знатных людей: один полковник, два летчика, врач, корреспондент... И вот теперь, Журавлев — кандидат. И как-то так повелось, что когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ — слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересо-

вался, — тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал знатного гостя. Многие этим были недовольны, но многие, мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. Даже не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж — вместе — к гостю. Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника — с блеском, красиво. Заговорили о войне 1812 года... Выяснилось, что полковник не знает, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, что какой-то граф, но фамилию перепутал, сказал — Распутин. Глеб Капустин коршуном взмыл над полковником... И срезал. Переволновались все тогда, полковник ругался... Бегали к учительнице домой — узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб Капустин сидел красный в ожидании решающей минуты и только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?» Глеб остался победителем; полковник бил себя кулаком по голове и недоумевал. Он очень расстроился. Долго потом говорили в деревне про Глеба, вспоминали, как он только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях». Удивлялись на Глеба. Старики интересовались — почему он так говорил.

Глеб посмеивался. И как-то мстительно щурил свои настырные глаза. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. Опасались.

И вот теперь приехал кандидат Журавлев...

Глеб пришел с работы (он работал на пилораме), умылся, переоделся... Ужинать не стал. Вышел к мужикам на крыльцо.

Закурили... Малость поговорили о том о сем — нарочно не о Журавлеве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлевой. Спросил:

- Гости к бабке Агафье приехали?
- Кандидаты!

— Кандидаты? — удивился Глеб. — О-о!.. Голой рукой не возьмешь.

Мужики посмеялись: мол, кто не возьмет, а кто может и взять. И посматривали с нетерпением на Глеба.

— Ну, пошли попроведаем кандидатов, — скромно сказал Глеб.

И пошли.

Глеб шел несколько впереди остальных, шел спокойно, руки в карманах, шурился на избу бабки Агафьи, где теперь находились два кандидата. Получалось вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый ухарь.

Дорогой говорили мало.

— В какой области кандидаты? — спросил Глеб.

— По какой специальности? А черт его знает... Мне бабенка сказала — кандидаты. И он и жена...

— Есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательные, эти в основном трепалогией занимаются.

— Костя вообще-то в математике рубил хорошо, — вспомнил кто-то, кто учился с Костей в школе. — Пятерочник был.

Глеб Капустин был родом из соседней деревни и здешних знатных людей знал мало.

— Посмотрим, посмотрим, — неопределенно пообещал Глеб. — Кандидатов сейчас как нерезанных собак.

— На такси приехал...

— Ну, марку-то надо поддержать!.. — посмеялся Глеб.

Кандидат Константин Иванович встретил гостей радостно, захопотал насчет стола... Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе...

— Эх, детство, детство! — сказал кандидат. — Ну, садитесь за стол, друзья.

Все сели за стол. И Глеб Капустин сел. Он пока помалкивал. Но — видно было — подбирался к прыжку. Он улыбался, поддакнул тоже насчет детства, а сам все взглядывал на кандидата — примеривался.

За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина... И тут он попер на кандидата.

— В какой области выявляете себя? — спросил он.

— Где работаю, что ли? — не понял кандидат.

— Да.

— На филфаке.

— Философия?

— Не совсем... Ну, можно и так сказать.

— Необходимая вещь. — Глебу нужно было, чтоб была — философия. Он оживился. — Ну, и как насчет первичности?

— Какой первичности? — опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба. И все посмотрели на Глеба.

— Первичности духа и материи. — Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут. Кандидат поднял перчатку.

— Как всегда, — сказал он с улыбкой. — Материя первична...

— А дух?

— А дух — потом. А что?

— Это входит в минимум? — Глеб тоже улыбался. — Вы извините, мы тут... далеко от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься — не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости?

— Как всегда определяла. Почему — сейчас?

— Но явление-то открыто недавно. — Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату. — Поэто-

му я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это так, стратегическая философия — совершенно иначе...

— Да нет такой философии — стратегической! — заволновался кандидат. — Вы о чем вообще-то?

— Да, но есть диалектика природы, — спокойно, при общем внимании продолжал Глеб. — А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерянности не наблюдается среди философов?

Кандидат искренне засмеялся. Но засмеялся один... И почувствовал неловкость. Позвал жену:

— Валя, иди, у нас тут... какой-то странный разговор!

Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иванович все же чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос.

— Давайте установим, — серьезно заговорил кандидат, — о чем мы говорим.

— Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?

Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулся. И терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются.

— Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами... — Глеб опять великодушно улыбнулся. Особо улыбнулся жене кандидата, тоже кандидату, кандидатке, так сказать. — Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать. Верно?

— Вы серьезно все это? — спросила Валя.

— С вашего позволения. — Глеб Капустин привстал и сдержанно поклонился кандидатке. И покраснел. — Вопрос, конечно, не глобальный, но, с точки зрения нашего брата, было бы интересно узнать.

— Да какой вопрос-то? — воскликнул кандидат
— Твое отношение к проблеме шаманизма. —
Валя опять невольно засмеялась. Но спохватилась
и сказала Глебу: — Извините, пожалуйста.

— Ничего, — оказал Глеб. — Я понимаю, что,
может, не по специальности задал вопрос...

— Да нет такой проблемы! — опять сплеча ру-
банул кандидат. Зря он так. Не надо бы так.

Теперь засмеялся Глеб. И сказал:

— Ну, на нет и суда нет!

Мужики посмотрели на кандидата.

— Баба с возу — коню легче, — еще сказал
Глеб. — Проблемы нету, а эти... — Глеб что-то
показал руками замысловатое, — танцуют, зве-
нят бубенчиками... Да? Но при желании... — Глеб
повторил: — При же-ла-нии — их как бы нету.
Верно? Потому что, если... Хорошо! Еще один
вопрос: как вы относитесь к тому, что Луна тоже
дело рук разума?

Кандидат молча смотрел на Глеба. Глеб про-
должал:

— Вот высказано учеными предположение, что
Луна лежит на искусственной орбите, допускает-
ся, что внутри живут разумные существа...

— Ну? — спросил кандидат. — И что?

— Где ваши расчеты естественных траекторий?
Куда вообще вся космическая наука может быть
приложена?

Мужики внимательно слушали Глеба.

— Допуская мысль, что человечество все чаще
будет посещать нашу, так сказать, соседку по кос-
мосу, можно допустить также, что в один пре-
красный момент разумные существа не выдержат
и вылезут к нам навстречу. Готовы мы, чтобы по-
нять друг друга?

— Вы кого спрашиваете?

— Вас, мыслителей...

— А вы готовы?

— Мы не мыслители, у нас зарплата не та. Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо... Что прикажете делать? Лаять по-собачьи? Петухом петь?

Мужики засмеялись. Пошевелились. И опять внимательно уставились на Глеба.

— Но нам тем не менее надо понять друг друга. Верно? Как? — Глеб помолчал вопросительно. Посмотрел на всех. — Я предлагаю: начертить на песке схему нашей Солнечной системы и показать ему, что я с Земли, мол. Что, несмотря на то, что я в скафандре, у меня тоже есть голова и я тоже разумное существо. В подтверждение этого можно показать ему на схеме, откуда он: показать на Луну, потом на него. Логично? Мы, таким образом, выяснили, что мы соседи. Но не больше того! Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал такой, какой есть на данном этапе...

— Так, так. — Кандидат пошевелился и значительно посмотрел на жену. — Это очень интересно, по каким законам?

Это он тоже зря, потому что его значительный взгляд был перехвачен; Глеб взмыл ввысь... И оттуда, с высокой выси, ударил по кандидату. И всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент — когда Глеб взмывал кверху. Он, наверно, ждал такого момента, радовался ему, потому что дальше все случалось само собой.

— Приглашаете жену посмеяться? — спросил Глеб. Спросил спокойно, но внутри у него, наверно, все вздрагивало. — Хорошее дело... Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят, кандидатам это тоже не мешает...

— Послушайте!..

— Да мы уже послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить,

господин кандидат, что кандидатство — это ведь не костюм, который купил — и раз и навсегда. Но даже костюм и то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо... поддерживать. — Глеб говорил негромко, но напористо и без передышки — его несло. На кандидата было неловко смотреть: он явно растерялся, смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков... Мужики старались не смотреть на него. — Нас, конечно, можно тут удивить: подкатить к дому на такси, вытащить из багажника пять чемоданов... Но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели — и кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили о них приятные воспоминания, потому что это, как правило, люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат: почаще спускайтесь на землю. Ей-богу, в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно: падать будет не так больно.

— Это называется — «покатил бочку», — сказал кандидат. — Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно...

— Не знаю, не знаю, — торопливо перебил его Глеб, — не знаю, как это называется, — я в заключении не был и с цепи не срывался. Зачем? Тут, — оглядел Глеб мужиков, — тоже никто не сидел — не поймут. А вот и жена ваша сделала удивленные глаза... А там дочка услышит. Услышит и «покатит бочку» в Москве на кого-нибудь. Так что этот жаргон может... плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не «катали бочку» на профессора. Верно? — Глеб встал. — И «одеяло на себя не тянули». И «пофене не ботали». Потому что профессоров надо

уважать — от них судьба зависит, а от нас судьба не зависит, с нами можно «по фене ботать». Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко... «микитим». И газеты тоже читаем, и книги, случается, почитываем... И телевизор даже смотрим. И, можете себе представить, не приходим в бурный восторг ни от КВН, ни от «Кабачка «13 стульев». Спросите, почему? Потому что там — та же самонадеянность. Ничего, мол, все съедят. И едят, конечно, ничего не сделаешь. Только не надо делать вид, что все там гении. Кое-кто понимает... Скромней надо.

— Типичный демагог-кляузник, — сказал кандидат, обращаясь к жене. — Весь набор тут...

— Не попали. За всю жизнь ни одной анонимки или кляузы ни на кого не написал. — Глеб посмотрел на мужиков: мужики знали, что это правда. — Не то, товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность?

— Хочу, объясните.

— Люблю по носу щелкнуть — не задирайся выше ватерлинии! Скромней, дорогие товарищи...

— Да в чем же вы увидели нашу нескромность? — не вытерпела Валя. — В чем она выразилась-то?

— А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте — и поймете. — Глеб даже как-то с сожалением посмотрел на кандидатов. — Можно ведь сто раз повторить слово «мед», но от этого во рту не станет сладко. Для этого не надо кандидатский минимум сдавать, чтобы понять это. Верно? Можно сотни раз писать во всех статьях слово «народ», но знаний от этого не прибавится. Так что когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собранней. Подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свидания. Приятно провести отпуск... среди народа. — Глеб усмехнулся и не торопясь вышел из избы. Он всегда один уходил от знатных людей.

Он не слышал, как потом мужики, расходясь от кандидатов, говорили:

— Оттянул он его!.. Дошлый, собака. Откуда он про Луну-то знает?

— Срезал.

— Откуда что берется!

И мужики изумленно качали головами.

— Дошлый, собака. Причесал бедного Константина Иваныча... А? Как миленького причесал! А эта-то, Валя-то, даже рта не открыла.

— А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он, Костя-то, хотел, конечно, сказать... А тот ему на одно слово — пять.

— Чего тут... Дошлый, собака!

В голосе мужиков слышалась даже как бы жалость к кандидатам, сочувствие. Глеб же Капустин по-прежнему неизменно удивлял. Изумлял. Восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил еще.

Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим (играть будет) спросит мужиков:

— Ну, как там кандидат-то?

И усмехнется.

— Срезал ты его, — скажут Глебу.

— Ничего, — великодушно заметит Глеб. — Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя...

1970

САПОЖКИ

Ездили в город за запчастями... И Сергей Ду- ханин увидел там в магазине женские сапожки. И потерял покой: захотелось купить такие жене. Хоть один раз-то, думал он, надо сделать ей на- стоящий подарок. Главное, красивый подарок... Она таких сапожек во сне не носила.

Сергей долго любовался на сапожки, потом по- щелкал ногтем по стеклу прилавка и спросил весело:

— Это сколько же такие пипеточки стоят?

— Какие пипеточки? — не поняла продавщица.

— Да вот... сапожки-то.

— Пипеточки какие-то... Шестьдесят пять рублей.

Сергей чуть вслух не сказал: «О, ё!...» — протянул:

— Да... Кусаются.

Продавщица презрительно посмотрела на него. Станный они народ, продавщицы: продаст обыкновенный килограмм пшена, а с таким видом, точно вернула забытый долг.

Ну, дьявол с ними, с продавщицами. Шестьдесят пять рублей у Сергея были. Было даже семьдесят пять. Но... Он вышел на улицу, закурил и стал ду- мать. Вообще-то, не для деревенской грязи такие сапожки, если уж говорить честно. Хотя она их, конечно, беречь будет... Раз в месяц и наденет-то — сходить куда-нибудь. Да и не наденет в грязь, а — посуху. А радости сколько! Ведь это же черт знает какая дорогая минута, когда он вытащит из чемода- на эти сапожки и скажет: «На, носи».

Сергей пошел к ларьку, что неподалеку от магазина, и встал в очередь за пивом.

Представил Сергей, как заблестят глаза у жены при виде этих сапожек. Она иногда, как маленькая, до слез радуется. Она вообще-то хорошая. С нами жить — надо терпение да терпение, думал Сергей. Одни проклятые выпивки чего стоят. А ребяташки, а хозяйство... Нет, они двужильные, что могут выносить столько. Тут хоть как-нибудь, да отдашь душу: выпьешь когда — все легче маленько, а ведь они с утра до ночи, как заводные.

Очередь двигалась медленно, мужики без конца «повторяли». Сергей думал.

Босиком она, правда, не ходит, чего зря приbedняться-то? Ходит, как все в деревне ходят... Красивые, конечно, сапожки, но не по карману. Привезешь, а она же первая заругает. Скажет, на кой они мне, такие дорогие! Лучше бы девчонкам чего-нибудь взяла, пальтишечки какие-нибудь — зима подходит.

Наконец Сергей взял две кружки пива, отошел в сторону и медленно стал пропускать по глоточку. И думал.

Вот так живешь — сорок пять лет уже — все думаешь: ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет... И так и подойдешь к той ямке, в которую надо ложиться, — а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать? Вот же: есть деньги, лежат необыкновенные сапожки — возьми, сделай радость человеку! Может, и не будет больше такой возможности. Дочери еще не невесты — чего-ничего, а надеть можно — изнасят. А тут — один раз в жизни...

Сергей пошел в магазин.

— Ну-ка дай-ка их посмотреть, — попросил он.

— Чего?

— Сапожки.

— Чего их смотреть? Какой размер нужен?
— Я на глаз прикину. Я не знаю, какой размер.
— Едет покупать, а не знает, какой размер. Их примерять надо, это не тапочки.

— Я вижу, что не тапочки. По цене видно, хэ-хэ...

— Ну и нечего их смотреть.

— А если я их купить хочу?

— Как же купить, когда даже размер не знаете?

— А вам-то что? Я хочу посмотреть.

— Нечего их смотреть. Каждый будет смотреть...

— Ну, вот чего, милая, — обозлился Сергей, — я же не прошу показать мне ваши панталоны, потому что не желаю их видеть, а прошу показать сапожки, которые лежат на прилавке.

— А вы не хамите здесь, не хамите! Нальют глаза-то и начинают...

— Чего начинают? Кто начинает? Вы что, поили меня, что так говорите?

Продавщица швырнула ему один сапожок. Сергей взял его, повертел, поскрипел хромом, пощелкал ногтем по лаково блестящей подошве... Осторожненько запустил руку вовнутрь...

«Нога-то в нем спать будет», — подумал радостно.

— Шестьдесят пять ровно? — спросил он. Продавщица молча, зло смотрела на него.

«О господи! — изумился Сергей. — Прямо ненавижит. За что?»

— Беру, — сказал он поспешно, чтоб продавщица поскорей бы уж отмякла, что ли, — не зря же он отвлекает ее, берет же он эти сапожки. — Вам платить или кассиру?

Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко:

— В кассу.

— Шестьдесят пять ровно или с копейками?

Продавщица все глядела на него; в глазах ее, когда Сергей повнимательней посмотрел, дей-

ствительно стояла белая ненависть. Сергей струсил... Молча поставил сапожок и пошел к кассе. «Что она?! Сдурела, что ли, — так злиться? Так же засохнуть можно, не доживя веку».

Оказалось, шестьдесят пять рублей ровно. Без копеек. Сергей подал чек продавщице. В глаза ей не решался посмотреть, глядел выше тощей груди. «Больная, наверно», — пожалел Сергей.

А продавщица чек не брала. Сергей поднял глаза... Теперь в глазах продавщицы была и ненависть, и какое-то еще странное удовольствие.

— Я прошу сапожки.

— На контроль, — негромко сказала она.

— Где это? — тоже негромко спросил Сергей, чувствуя, что и сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу.

Продавщица молчала. Смотрела.

— Где контроль-то? — Сергей улыбнулся прямо в глаза ей. — А? Да не гляди ты на меня, не гляди, милая, — женатый я. Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться, но... что я сделаю? Терпи уж, что сделаешь? Так где, говоришь, контроль-то?

У продавщицы даже ротик сам собой открылся... Такого она не ждала.

Сергей отправился искать контроль.

«О-о! — удивился он на себя. — Откуда что взялось! Надо же так уесть бабу. А вот не будешь психовать зря. А то стоит — вся изозлилась».

На контроле ему выдали сапожки, и он пошел к своим, на автобазу, чтобы ехать домой. (Они приезжали на своих машинах, механик и еще два шофера.)

Сергей вошел в дежурку, полагая, что тотчас же все потянутся к его коробке — что, мол, там? Никто даже не обратил внимания на Сергея. Как всегда — спорили. Видели на улице молодого попа и теперь выясняли, сколько он получает. Больше других орал Витька Кибяков, рябой, бледный, с большими печальными глазами. Даже

когда он надрывался и, между прочим, оскорблял всех, глаза оставались печальными и умными, точно они смотрели на самого Витьку — безнадежно грустно.

— Ты знаешь, что у него персональная «Волга»?! — кричал Рашпиль (Витьку звали Рашпиль). — У их, когда они еще учатся, стипендия — сто пятьдесят рублей! Понял? Сти-пен-дия!

— У них есть персональные, верно, но не у молодых. Чего ты мне будешь говорить? Персональные — у этих... как их?... У апостолов не у апостолов, а у этих... как их?..

— Понял? У апостолов — персональные «Волги»? Во, пень дремучий. Сам ты апостол!

— Сто пятьдесят стипендия! А сколько же тогда оклад?

— А ты что, думаешь, он тебе за так будет гонениям подвергаться? На! Пятьсот рублей хотел?

— Он должен быть верующим.

Сергей не хотел ввязываться в спор, хоть мог поспорить: пятьсот рублей молодому попу — это много. Но спорить сейчас об этом... Нет, Сергею охота было показать сапожки. Он достал их, стал разглядывать. Сейчас все заткнутся с этим попом... Замолкнут. Не замолкли. Посмотрели, и все. Один только протянул руку — покажи. Сергей дал сапожок. Шофер (незнакомый) поскрипел хромом, пощелкал железным ногтем по подошве... И полез грязной лапой в белоснежную, нежную... внутрь сапожка. Сергей отнял сапожок.

— Куда ты своим поршнем?

Шофер засмеялся.

— Кому это?

— Жене.

Тут только все замолчали

— Кому? — спросил Рашпиль.

— Клавке.

— Ну-ка?..

Сапожок пошел по рукам, все тоже мяли голенище, щелкали по подошве... Внутрь лезть не решались. Только расшеперивали голенище и заглядывали в белый пушистый мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытывал прежде незнакомую гордость.

— Сколько же такие?

— Шестьдесят пять.

Все посмотрели на Сергея с недоумением. Сергей слегка растерялся.

— Ты что, офонарел?

Сергей взял сапожок у Рашпиля.

— Во! — воокликнул Рашпиль. — Серьга... дал! Зачем ей такие?

— Носить.

Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало. И привязалась одна тупая мысль: «Половина мотороллера. Половина мотороллера». И хотя он знал, что шестьдесят пять рублей — это не половина мотороллера, все равно упрямо думалось: «Половина мотороллера».

— Она тебе велела такие сапожки купить?

— При чем тут велела? Купил, и все.

— Куда она их наденет-то? — весело пытали Сергея. — Грязь по колено, а он — сапожки за шестьдесят пять рублей.

— Это ж зимние!

— А зимой в них куда?

— Потом — это ж на городскую ножку. Клавикина-то не ползет сроду... У ей какой размер-то? Это ж ей — на нос только.

— Какой она носит-то?

— Пошли вы!.. — вконец обозлился Сергей. — Чего вы-то переживаете?

Засмеялись.

— Да ведь жалко, Сережа! Не нашел же ты их, шестьдесят пять рублей-то.

— Я заработал, я и истратил, куда хотел. Чего базарить-то зря?

— Она тебе, наверно, резиновые велела купить? Резиновые... Сергей всю злился.

— Валяйте лучше про попа — сколько он, все же, получает?

— Больше тебя.

— Как эти... сидят, курва, чужие деньги считают.

— Сергей встал. — Больше делать, что ли, нечего?

— А чего ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали. И не надо так нервничать...

— Я и не нервничаю. Да чего ты за меня переживаешь-то?! Во, переживатель нашелся! Хоть бы у него займы взял, или что...

— Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков смотреть. Мне их жалко...

— Жалко — у пчелки в попе. Жалко ему!

Еще немного позубатились* и поехали домой. Дорогой Сергея доконал механик (они в одной машине ехали).

— Она тебе на что деньги-то давала? — спросил механик. Без ехидства спросил, сочувствуя. — На что-нибудь другое?

Сергей уважал механика, поэтому ругаться не стал.

— Ни на что. Хватит об этом.

Приехали в село к вечеру.

Сергей ни с кем не подосвиданькался... Не пошел со всеми вместе — отделился, пошел один. Домой.

Клавдя и девочки вечерали.

— Чего это долго-то? — спросила Клавдия. — Я уж думала, с ночевкой там будете.

— Пока получили да пока на автобазу перевезли... Да пока там их разделили по районам...

— Пап, ничего не купил? — спросила дочь, старшая, Груша.

— Чего? — По дороге домой Сергей решил так: если Клавка начнет косоротиться, скажет — дорого, лучше бы вместо этих сапожек... «Пойду и брошу их в колодец».

* Поругались (диал.) (прим. ред.)

— Купил.

Трое повернулись к нему от стола. Смотрели. Так это «купил» было оказано, что стало ясно — не платок за четыре рубля купил муж, отец, не мясорубку. Повернулись к нему... Ждали.

— Вон, в чемодане. — Сергей присел на стул, полез за папиросами. Он так волновался, что заметил: пальцы трясутся.

Клавдя извлекла из чемодана коробку, из коробки выглянули сапожки... При электрическом свете они были еще красивей. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакали из-за стола... Заахали, заохали.

— Тошно мнеченьки*! Батюшки мои!.. Да кому это?

— Тебе, кому.

— Тошно мнеченьки!.. — Клавдя села на кровать, кровать закрипела... Городской сапожок смело полез на крепкую, крестьянскую ногу. И застрял. Сергей почувствовал боль. Не лезли... Голенище не лезло.

— Какой размер-то?

— Тридцать восьмой...

Нет, не лезли. Сергей встал, хотел натиснуть. Нет.

— И размер-то мой...

— Вот где не лезут-то. Голяшка.

— Да что же это за нога проклятая!

— погоди! Надень-ка на тоненький какой-нибудь чулок.

— Да кого там? Видишь?..

— Да...

— Эх-х!.. Да что же это за нога проклятая!

Возбуждение угасло.

— Эх-х! — сокрушалась Клавдя. — Да что же это за нога! Сколько они?..

— Шестьдесят пять. — Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдя не расслышала цену. — Шестьдесят пять рубликов, мол, цена-то.

* Мне (диал.) (прим. ред.)

Клавдя смотрела на сапожок, машинально поглаживала ладонью гладкое голенище. В глазах ее, на ресницах блестели слезы... Нет, она слышала цену.

— Черт бы ее побрал, ноженьку! — сказала она. — Разок довелось, и то... Эхма!

В сердце Сергея опять толкнулась непрошенная боль... Жалость. Любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающую сапожок. Пожал. Клавдя глянула на него... Встретились глазами. Клавдя смущенно усмехнулась, тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была молодой, — как-то по-мужичьи озорно, простецки, но с достоинством и гордо.

— Ну, Груша, повезло тебе. — Она протянула сапожок дочери. — Ну-ка примерь.

Дочь растерялась.

— Ну! — сказал Сергей. И тоже тряхнул головой. — Десять хорошо кончишь — твои.

Клавдя засмеялась.

...Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низенькую табуретку у кухонной двери — курил последнюю папироску. Присел и сегодня... Курил, думал, еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как ему сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибудь спугнуло бы это хорошее состояние, эту редкую гостью-минуту.

Клавдя стелила в горнице постель.

— Ну, иди... — позвала она.

Он нарочно не откликнулся, — что дальше скажет?

— Сергунь! — ласково позвала Клава.

Сергей встал, загасил окурочек и пошел в горницу. Улыбнулся сам себе, качнул головой... Но не подумал так: «Купил сапожки, она ласковая сделалась». Нет, не в сапожках дело, конечно, дело в том, что...

Ничего. Хорошо.

1970

ДЯДЯ ЕРМОЛАЙ

Вспоминаю из детства один случай.

Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо — синим-сине, и уже дергал ветер. Мы, ребяташки, рады были дождю, рады были отдохнуть, а дядя Ермолай, бригадир, недовольно поглядывал на тучу и не спешил.

— Не будет никакого дождя. Пронесет все с бурей. — Ему охота было домолотить скирду. Но... все уж собирились, и он скрепя сердце тоже стал собираться.

До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней и поужинали, синева напозла, но дождя, правда, не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль... Во тьме трепетно вспыхивали молнии и гремел гром. Ветер рвал, носил, а дождя не было.

— Самая воровская ночь, — сказал дядя Ермолай. — Ну-ка, Гришка... — дядя Ермолай поискал глазами, я попался ему. — Гришка с Васькой, идите на точок* — там ночуете. А то как бы в такую-то ночку не подъехал кто да не нагреб зерна. Ночью... самая такая.

Мы с Гришкой пошли на ток.

Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю; вспыхивало и гремело со всех сторон! Прилетали редкие капли, больно били по лицу. Пахло пылью и чем-то

* Место, где молотят хлеб, ток (диал.) (прим. ред.)

вроде жженым — резко, горьковато. Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь.

Когда вверху вспыхивало, все на земле — скирды, деревья, снопы в суслонах*, неподвижные кони — все как будто на миг повисало в воздухе, потом тьма проглатывала все; сверху гремело гулко, уступами, как будто огромные камни срывались с горы в пропасть, сшибались.

Мы наконец заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда осветит: опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе, в синем, резком свете, и всё опять исчезло, и в крошечной тьме грохотали вниз огромные камни.

— Давай залезем в первую попавшую скирду и заночуем, — предложил Гришка.

— Давай, конечно.

— А утром скажем, что ночевали на точке, кто узнает?!

Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому. Поговорили малость, наказали себе проснуться пораньше... И не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь.

Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы, конечно, проспали. Но так как ночью промочило, наши молотить рано не поедут, мы знали. Мы пошли в дом.

— Ну, караульщики, — спросил дядя Ермолай, увидев нас, мне показалось, что он смотрит пылливо. — Как ночевали?

— Хорошо.

— Все там в порядке? На точке-то?

— Все в порядке? А что?

— Ничего. Спрашиваю... Я посылал, я и спрашиваю. «А что?» — А сам все смотрит. Мне стало не по себе. — Зерно-то целое?

— Целое. — У Гришки круглые, ясные глаза; он смотрит не мигая. — А что?

* Суслон — несколько снопов, поставленных в поле для просушки и покрытых сверху снопом (диал.) (прим. ред.)

- Да вы были там?! На точке-то?
- У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся... Хлоп-хлоп глазами.
- Как это «были»?..
- Ну да, были вы там?
- Были. А где же мы были?
- Эх, тут дядя Ермолай взвился.
- Да не были вы там, сукины вы сыны! Вы где-то под суслоном ночевали, а говорите — на точке! Сгребу вот счас обоих да носом — в точок-то, носом, как котов пакостливых. Где ночевали?
- От... ты чо?
- Где ночевали?!
- На точкё. — Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче.
- Васька, где ночевали?
- На точке.
- Да растудыт вашу туда-суда и в ребра!.. — Дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился. — Ты гляди, что они вытворяют-то! Да не было вас на току, не было-о! Я ж был там! Ну?! Обормоты вы такие, обормоты! Я ж следом за вами пошел туда — думаю, дошли ли они хоть? Не было вас там!
- Это нас не смутило, — что он, оказывается, был на току.
- Ну и что?
- Что?
- Ну и... мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже... Мы блудили.
- Где попозже?! — взвизгнул дядя Ермолай.
- Где попозже-то?! Я там весь дождь переждал! Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там!
- Были...
- Дядя Ермолай ошалел... Может быть, мы — в глазах его — тоже на миг подпрыгнули и повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони — отчего-то у него глаза сделались большие и удивленные.
- Были?

— Были.

Он схватил узду... Мы — в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый.

— Обормоты, — говорил он на ходу. — Не были же, не были — и в глаза врут стоят. Штыбы бы вам околеть, не доживая веку! Штыбы бы вам... Жоны злые попались!.. Обормоты. В глаза врут стоят — и хоть бы что! О!.. — Дядя Ермолай повернулся к нам. — Да ты скажи честно: испужались, может, не нашли — нет, в глаза смотрят и врут. Обормоты... По пять трудодней снимаю, раз вы такие.

Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам.

— Гришка, Васьк... сознайтесь: не были на точке? По пять трудодней не сниму. Не были же?

— Были.

Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас... Потом позвал с собой.

— Идите суда. Идите, идите. Вот тут вот я от дождя прятался. — Показал. И посмотрел на нас с мольбой. — А вы где же прятались?

— А мы — с той стороны.

— С какой?

— Ну, с той.

— Да где же с той-то?! Где с той-то? — Он опять стал терять терпение. — Я же шумел, вас звал!.. Я ее кругом всю обошел, скирду-то. А молонья такая резала, что тут не то что людей, иголку на земле найдешь. Где были-то?

— Тут.

Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтоб опять не взвиться. Опять сморщился...

— Ну, ладно, ладно... Вы, может, боитесь, что я ругаться буду? Не буду. Только честно скажите: где ночевали? Не скину по пять трудодней... Где ночевали?

— На току.
— Да где на току-то!! — сорвался дядя Ермолай.
— Где на току-то?! Где, когда я... У-у, обормоты! —
Он заискал глазами — чем бы согреть нас.

Мы убежали.

Дядя Ермолай ушел за скирду... Опять, наверно,
всплакнул.

Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю
дома и прихожу на кладбище помянуть покойных
родных, я вижу на одном кресте:

«Емельянов Ермолай ...вич».

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже
поминаю — стою над могилой, думаю. И дума моя
о нем — простая: вечный был труженик, добрый,
честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед
мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не
умею, со всеми своими институтами и книжками.
Например: что, был в этом, в их жизни, какой-то
большой смысл? В том именно, как они ее прожи-
ли. Или — не было никакого смысла, а была одна
работа, работа... Работали да детей рожали. Видел
же я потом других людей... Вовсе не лодырей, нет,
но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее
понимаю иначе! Но только когда смотрю на их
холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?

1971

БИЛЕТИК НА ВТОРОЙ СЕАНС

Последнее время что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова — опостылело все на свете. Так бы вот встал на четвереньки, и зарычал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы.

Пил со сторожем у себя на складе (он был кладовщиком перевалочной товарной базы) — не брало. Не то что не брало — легче не делалось.

— С чего эт тебя так? — притворно сочувствовал сторож Ермолай.

Тимофей понимал притворство Ермолая, но все равно жаловался:

— Судьба-сучка... — И дальше сложно: — Чтобуней голова не качалась... Чтоб сухари в сумке не мялись... — Тимофей, когда у него болела душа, умел ругаться сладостно и сложно, точно плел на кого-то, ненавистного, многожильный ременный бич. Ругать судьбу до страсти хотелось, и поэтому было еще «двенадцать апостолов», «осиновый кол в бугорок», «мама крестителя» — много. Даже Ермолай изумлялся:

— Забрало тебя!

— Заберет, когда она, сучка, так со мной обошлась.

— Ну, если уж тебе на судьбу обидеться, то... не знаю. Чего тебе не хватает-то? В доме-то всего невпроворот.

Тимофею не хотелось объяснять дураку-сторожу, отчего болит душа. Да и не понимал он. Сам не понимал. В доме действительно все есть, детей выучил в институтах... Было время, гордился, что жить

умеет, теперь тосковал и злился. А сторож думал про себя: «Совесть тебя, дьявола, заела: хапал всю жизнь, воровал... И не попался ни разу, паразит!»

— Разлад, Ермоха... Полный разлад в душе. Сам не знаю отчего.

— Пройдет.

Не проходило.

В тот день, в субботу (он весь какой-то вышел, день, нараскосяк), Тимофеем опечатав склад, опять выпили со сторожем, и Тимофей пошел домой. Домой не хотелось — там тоже тоска, еще хуже: жена начнет нудить.

Была осень после дождей. Несильно дул сырой ветер, морщил лужи. А небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. Окна в избах загорелись холодным желтым огнем. Холодно, тоскливо. И как-то противно ясно...

Тимофей думал: «Вот — жил, подошел к концу... Этот остаток в десять-двенадцать лет, это уже не жизнь, а так — обглоданный мосол под крыльцом — лежит, а к чему? Да и вся-то жизнь, как раздумаешься, — тьфу! Вертелся всю жизнь, ловчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими правдами и неправдами доставал то то, то это... А Ермоха, например, всю жизнь прожил валиком — рыбачил себе в удовольствие: ни горя, ни заботы. А червей вместе будем кормить. Но Ермоха хоть какую-нибудь радость знал, а тут — как циркач на проволоке: пройти прошел, а коленки трясутся».

Шел Тимофей, думал... И взял да свернул в знакомый переулочек. Жила в том знакомом переулочке Поля Тепляшина. Когда-то давно Тимофей с Полей «крутили» преступную любовь. Были скандалы, битые окна, позор. Жена Тимофея, Гутя, семь лет отчаянно боролась с Полей за Тимоху, Гутю хвалили в деревне, она гордилась и учила молодых баб, какие оказывались в ее положении:

** Палка (диал.) (прим. ред.)*

— Он к сударушке, а ты — со стяжком* — под окошки к им. Да по окошкам-то, по окошкам-то — стяжком-то...

Бывала в деревне такая любовь — со стяжками. Теперь лучше — разошлись, и все. Раньше годами лютовали.

С Тимохиной любовью тогда все само собой утряслось: у вдовы Поли подрос сын Колька, Николай Петрович, и стал гонять Тимофея от матери. Тимофей набычился — к Поле:

— Уйми сосуна!

А та вдруг залепила:

— Пошел ты!.. Чего я, сына на тебя променяю? На — выкуси.

Тимофей хотел разок покуражиться, но нарвался на молодой Колькин кулак и после этого перестал туда ходить. Самое дурацкое положение настало потом: обе женщины, Поля и Гутя, вдруг подружались. И вместе смеялись над Тимохой.

— Как там сударчик-то мой поживает? — принародно спрашивала Поля.

Гутя смеялась:

— На печке — клопов давит.

Мстили, что ли.

Тимоха тогда же налетел на законную жену, но получил отпор на этот раз от своих детей.

Спроси сейчас Тимофея, зачем он идет к Поле, он не сказал бы. Не знал.

Поля удивилась.

— Вона!.. Вот так гость. Зачем это?

— А что? Что ты, заразная, что ли, что тебя обходить надо? Посидим по старой памяти, выпьем вот... — У Тимофея была с собой бутылка, он ее поставил на стол. — Спомним былое...

— Было бы чего!

Поля стала старая, некрасивая. Тимофеем со злости подумал: «Она красивой-то и не была сразу». Стало вдруг жалко себя.

— Хошь, анекдот один расскажу?
— Вона!
— Чего ты, как попка, заладила: «вона! вона!»
Как дикари, честное слово. Ну, зашел... Ну, и что?
Глупые вы какие-то, бабы, честное слово!

— Чего же ходите — к глупым-то?
— А где вас, умных-то, взять? Так и меняешь —
шило на мыло.

— Небось ревизия была — злой-то?
— На меня еще такой ревизор не родился...
— Оно видно.

Тимофей выпил стакан — закусить чем-нибудь не спросил, Поля не предложила. Зато и он Полю не пригласил с собой выпить.

— Слушай анекдот. Приехал один мужик в город, идет по улице... А сам доходной-доходной — мужик-то. Но все-таки думает: где бы тут подцепить какую-нито? Слышал, значит, про городских-то, ну и мысли-то заиграли. И тут подходит к нему одна — гладкая вся, тут — полна пазуха, вежливая. «Пойдемте ко мне, я тут близко живу». Мужик радешенький — сама навялилась. Приходит. Она говорит: «Раздевайтесь, я счас приду». А сама — в другую комнату. Ну, он разделся, сидит. Ждет. А она выводит детей малых и говорит им: «Вот, детки, если не будете хорошо кушать, будете такие же худые, как вот этот дядя».

Полю эта история не рассмешила. Тимофею тоже было не смешно. А днем, когда рассказали, смеялся с шоферами. И подумал еще, что историчка поучительная.

— К чему эт ты? — спросила Поля.

Тимофей пояснил:

— Точно так со мной выкинула судьба-сучка. Живи, мол, Тимофей!.. Раз башка есть на плечах — живи, никого не бойся! Ну, Тимофей и разлысил лоб...

— Жил бы честно, никого бы и не боялся.

Это она больно уела.

Тимофей стал соображать, как бы ее тоже побольней укусить.

— Не знаешь, кто это вот тут, — показал на кровать, — честно с чужим мужиком миловался? Не приходилось слышать?

— Приходилось. А тебе не приходилось слышать, кто на этом же самом месте от живой жены с чужой бабой миловался? Я одинокая была, вдова, а ты семейный. Поганец ты...

Тимофей еще выпил. Вот теперь он, кажется, все понял: жалко себя, жалко свою прожитую жизнь. Не вышло жизни.

— Сказка про белого бычка у нас получается, Поля... Поля засмеялась.

— Чего смеешься? — спросил Тимофей.

— А чего мне не посмеяться?

— Не надо... Тебе не личит — зубы кривые.

— А ведь когда-то не замечал...

— Замечал, почему не замечал, только... Эхма! Что ведь и обидно-то, дорогуша моя: кому дак все в жизни — и образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая, с сахарными зубами. А Тимохе, ему с кривинкой сойдет, с гнильцой...

— Во змей-то! — изумилась Поля. — Козел вонючий. Ну-ка забирай свою бутылку — и чтоб духу твоего тут не было! А то возьму ухват вон да по башке-то по умной... Умник!

Тимофей аккуратно надел на бутылку железенькую косыночку, устроил бутылку во внутренний карман пиджака и, не торопясь, пошел прочь. Стало вроде малость полегче. Но хотелось еще кому-нибудь досадить. Кому-нибудь так же бы вот спокойно, тихо наговорить бы гадостей.

Пришел он домой, а дома, в прихожей избе, склонившись локотком на стол, сидит... Николай-Угодник. По всем описаниям, по всем рассказам — вылитый Николай-Угодник: белый, невысокого росточка,

игрушечный старичочек. Сидит, головку склонил, смотрит ласково. Больше никого в доме нет.

— Ну, здравствуй, Тимофей, — говорит.

Тимофей глянул кругом... И вдруг бухнулся в ноги старичку. И, стараясь тоже ласково, тоже кротко и благостно, сказал тихо:

— Здорово, Николай-Угодничек. Я сразу тебя узнал, батюшка.

Угодник весь как-то вострепнулся, удивился, засмеялся мелко, погрозил пальцем.

— Пьяненький?

— А — есть маленько! — с отчаянной какой-то веселостью, с любовью продолжал Тимофей. — С тоски больше... не обессудь, батюшка. С тоски. Шибко-то не загуливаюсь. Ребятишек теперь вырастил — чего, думаю, теперь не попить? Какой ты, батюшка, седенький... А чего пришел-то?

Угодник поморгал ясными глазами... Опять по-смеялся.

— С чего тоска-то?

— Тоска-то? А бог ее знает! Не верим больше — вот и тоска. В боженьку-то перестали верить, вот она и навалилась, матушка. Церкви позакрывали, матершинничаем, блудим... Вот она и тоска.

— А ты веровал ли когда?

— Батюшка!.. Вот те крест: маленький был, веровал. В рождество Христа славить ходил. Не приди большевики, я бы и теперь, может, верил бы.

— Сам-то не коммунист?

— Откуда! Я бы, может, и коммунистом стал — перед тобой-то чего лукавить! — но был у меня тесть — ни дна бы ему, ни покрывки! — его в тридцатом году раскулачили...

— Ну.

— Ну, я с той поры и завязал рот тряпочкой и не заикался никогда.

Угодник больше того удивился. Горько удивился.

- Ты что, Тимофей?
- Как на духу, батюшка! Да как ты чего пришел-то? К добру или к худу — как понимать-то?
- Угодник потрогал маленькой сморщенной ладонью белую бородку.
- Чего пришел... Да вот попроведать вас, окантных, пришел. Ты, однако, подымись с колен-то.
- Постояю! Чего мне не постоять? Не отсохнут. Что, батюшка, так вот походишь, поглядишь по свету-то: испаскудился народишко?
- Маленько есть. Значит, говоришь, теще тебе перешел дорогу?
- Перешел. Да он и кулаком-то, по правде сказать, никогда не был, так — заупрямился тогда, с колхозами-то, нашумел, натрепался где-то... Трепач он был, теще-то. Дурак дураком. Ботало коровье. Жил, правда, крепко. А я середнячишко был... мне бы в партию большевиков-то можно бы...
- И что же он, теще-то?
- Отпыхтел свое, пришел. Я его так и не видел — далеко живем друг от друга. У сына он живет, балда старая. А сын далеко где-то. Так, говоришь, испаскудился народишко?
- Здорово испаскудился, — серьезно сказал Угодник.
- Совсем некудышный стал народ! — подхватил Тимофей. — Пьют, воруют... Я и то приворовываю на складе. Знамо, грех, но поглядишь кругом-то — господи-господи, что делается!
- Приворовываешь?
- Приворовываю, батюшка. Ребятишек вон выучил — на какие бы шиши, так-то? Батюшка...
- Тимофей весь собрался, подполз поближе. — Чего я тебя хотел попросить...
- Ну?
- Ты там к господу нашему, Иисусу Христу, близко сидишь... К деве Марии... Посоветуйтесь там собача да и... это... Шибко уж жалко, батюшка! До того

жалко, сердце обмирает. Ведь я мужик-то неглупый, ведь у меня грамотешки-то совсем почти нету, а я вон каких молодцев обвожу вокруг пальца...

— Не пойму я.

— Родиться бы мне ишо разок! А? Пусть это не считается, что прожил, — родите-ка вы меня ишо разок. А?

Угодник опять невольно рассмеялся.

— То жалуется — тоска, а то... Ну и сукин ты сын, Тимоха!

— Да потому я жалуюсь, что жизнь-то не вышла! — Тимофей готов был заплакать злыми слезами. — Ты вот смеешься, а мало тут смешного, батюшка, одна грусть-тоска зеленая. Ведь вон на земле-то... хорошо-то как! Разве ж я не вижу, не понимаю, все понимаю, потому и жалко-то. Тьфу! — да растереть, вот и вся моя жизнь.

— А как бы ты, интересно, жить стал? Другой-то раз...

— Перво-наперво я б на другой бабе женился. Про любовь даже в библии писано, а для меня — что любовь, что чирей на одном месте, прости, господи, — одинаково. Или как все одно килу смолоду нажил — так и жена мне: кряхтишь, а носишь. Никудышная бабенка попалась. Дура. Вся в папашу своего. Хайло разинет и давай — только и знает. Сундук плетеный, не баба. Из-за нее больше и приворовываю-то. Жадная!.. Несусветно жадная. А с моей-то башкой — мне бы и в начальстве походить тоже бы не мешало... Из меня бы прокурор, я думаю, неплохой бы получился. — Тимофей засмотрелся снизу в святые глаза Угодника. — Тестюшку, например, своего я б тада так законопатил, что он бы и по сей день там... За язычину его...

— Цыть! — зло сказал старичок. — Ведь я и есть твой тесть, дьявол ты! Ворюга. Разуй глаза-то! Допился?

Тимофей, удовлетворенный, поднялся с колен, отряхнул штаны и спокойно и устало сказал:

— Гляди-ка, правда — тесть. Тестюшка! Ну, давай выпьем. Со стречей. Вишь, за кого я тебя принял...

— Допился, сукин сын!

— Все секреты свои рассказал тебе. Тц! Ну, ничего — знай. Вот ведь как обознался! Это ж надо так вклепаться... А-я-я-я-й!

...Потом, когда выпили, тесть, оскорбленный за себя и за дочь, тыкал под нос Тимофею опрятный кукиш и твердил скороговоркой:

— Вот тебе, а не другую жись! Вот тебе — билетик на второй сеанс! Ворюга...

А Тимофей, красный, удовлетворенный, повторял:

— Ах, как я вклепался!.. А-я-я-я-й! Это ж надо так!

— Я тебя самого посажу, ворюга!

— Кто, ты? Господь с тобой! Кто тебе поверит, лишенцу?

— Вот, вот тебе — на второй сеанс! Хе-хе-хе! Другой раз жить собрался!.. На-ка! — Тесть-Угодник хотел опять угодить под нос зятю белым кукишкой, но зять вылил ему на голову стакан водки и, пугая, полез в карман за спичками.

— Подожду ведь.

Тесть-Угодник вытерся полотенцем и заплакал.

— Чего ты, Тимоха?.. Над старым-то человеком... Бесстыдник ты! Дешевка... Приехал к нему, как к доброму...

— В том-то и дело, что не знаю, — миролюбиво уже сказал Тимоха. — Не знаю, тестюшка, не знаю. Я б все честно сказал, только не знаю, чего такое со мной делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали Сивку... Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко — песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости великодушно.

1971

ВЕРУЮ!

По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая... Максим физически чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками — ласкала и тянулась поцеловать.

— Опять!.. Навалилась.

— О!.. Господи... Пузырь: туда же, куда и люди, — тоска, — издевалась жена Максима, Люда, неласковая, рабочая женщина: она не знала, что такое тоска. — С чего тоска-то?

Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами... Стискивал зубы.

— Давай матерись. Полайся — она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.

Максим иногда пересиливал себя — не ругался. Хотел, чтоб его поняли.

— Не поймешь ведь.

— Почему же я не пойму? Объясни, пойму.

— Вот у тебя все есть — руки, ноги... и другие органы. Какого размера — это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога — ты чувствуешь, захотела есть — налаживаешь обед... Так?

— Ну.

Максим легко снимался с места (он был сорокалетний легкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и глаза его свирепо блестели.

— Но у человека есть также — душа! Вот она здесь, — болит! — Максим показывал на грудь. — Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую — болит.

— Больше нигде не болит?

— Слушай! — взвизгивал Максим. — Раз хочешь понять, слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу... Дура! — вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет — требуха. Да и сам он не верил в такую-то — в кусок мяса. Стало быть, все это — пустые слова. Чего и злить себя? — Спроси меня напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нету. Или она поганая. С вами говорить — все равно, что об стенку головой биться.

— Ой, трепло!

— Сгинь с глаз!

— А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть?

— А что, по-твоему, душа-то — пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит. А я злюсь поэтому. Нервничаю.

— Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то да отдыхают культурно... В кино ходят. А этот — нервничает, видите ли. Пузырь.

Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу.

Зима. Мороз. Село коптит в стылое небо серым дымом — люди согреваются. Пройдет бабка с ведрами на коромысле, даже за двойными рамами слышно, как скрипит под ее валенками тугой, крепкий снег. Собака залает сдуру и замолкнет —

мороз. Люди — по домам, в тепле. Разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних... Есть — выпивают, но и там веселого мало.

Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту свою он ни к кому не обращает, не хочется никому по морде дать и не хочется удаться. Ничего не хочется — вот где сволочь-маета! И пластом, недвижно лежать — тоже не хочется. И водку пить не хочется — не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал... Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел — оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это — гнусное предательство, что он — «научный Власов», просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.

— Зачем же чертежи-то передал? — допытывался старшина. — И кому!!!

Этого Максим не знал, знал только, что это — «хуже Власова». И горько плакал.

В одно такое мучительное воскресенье Максим стоял у окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и дымились трубы.

«Ну, и что? — сердито думал Максим. — Так же было сто лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Малофеева сын... А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих — свои такие же будут. А у тех — свои... И все? А зачем?»

Совсем тошно стало Максиму... Он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник

жены, а родственник тот — поп. Самый натуральный поп — с волосьями. У попа что-то такое было с легкими — болел. Приехал лечиться. А лечился он барсучьим салом, барсуков ему добывал Илья. У попа было много денег, они с Ильей часто пили спирт. Поп пил только спирт.

Максим пришел к Лапшиным.

Илюха с попом сидели как раз за столом, попи-вали спирт и беседовали. Илюха был уже на развезях* — клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье он принесет сразу двенадцать барсуков.

— Мне столько не надо. Мне надо три хороших — жирных.

— Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам, каких. Мое дело принести. А ты уж выбирай сам, каких получишь. Главное, чтоб ты оздоровел... А я их тебе приволоку двенадцать штук..

Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.

— Что? — спросил он.

— Душа болит, — сказал Максим. — Я пришел узнать: у верующих душа болит или нет?

— Спирту хочешь?

— Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать: болит у тебя когда-нибудь душа или нет?

Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму один стакан и графин с водой.

— Разбавляй по вкусу.

Поп был крупный шестидесятилетний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Даже не верилось: что у него — что-то там с легкими. И глаза у попа — ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому — не кадилом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благодостный, не постный — не ему бы, не с таким рылом, горести

* *Т.е. в состоянии алкогольного опьянения (прим. ред.)*

и печали человеческие — живые, трепетные нити — распутывать. Однако — Максим сразу это почувствовал — с попом очень интересно.

— Душа болит?

— Болит.

— Так. — Поп выпил и промакнул губы крахмальной скатертью, уголочком. — Начнем подъезжать издалека. Слушай внимательно, не перебивай. — Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил.

— Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом то есть. Появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло — есть добро, нет зла — нет добра. Понимаешь меня?

— Ну, ну.

— Не понуждай, ибо не запрег еще. — Поп, видно, обожал порассуждать вот так вот — странно, далеко и безответственно. — Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея — борется со злом.

Илюха заснул за столом.

— Две тыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста. Или отойди к отдушине и смоли.

Максим погасил о подошву сигарку и с интересом продолжал слушать.

— Чего с легкими-то? — поинтересовался для вежливости.

— Болят, — кратко и неохотно пояснил поп.

— Барсучатина-то помогает?

— Помогает. Идем дальше, сын мой занюханый...

— Ты что? — удивился Максим.

— Я просил не перебивать меня.

— Я насчет легких спросил...

— Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчи-

во рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе — зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос... Но тогда — зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.

— В коммунизм, что ли?

— Что коммунизм?

— В коммунизм веришь?

— Мне не положено. Опять перебиваешь?

— Все. Больше не буду. Только ты это... понятней маленько говори. И не торопись.

— Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную Высшую силу, которая все это затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта — победит. Иначе — для чего все? А? Где такая сила? — Поп вопросительно посмотрел на Максима. — Есть она?

Максим пожал плечами.

— Не знаю.

— Я тоже не знаю.

— Вот те раз!..

— Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не надо и знать ее, и познать, и до конца осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это как раз я и чувствую, и ты со своей больной душой пришел точно по адресу: у меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это — океан. И стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость... — Поп выпил спирт, промакнул скатертью губы. — Когда

мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но — стаканами, стаканами, сын мой! Круг замкнулся — мы обречены.

— Ты прости меня... Можно я одно замечание сделаю?

— Валяй.

— Ты какой-то... интересный поп. Разве такие попы бывают?

— Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник, сказал очень верно. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за бога и не почитал.

— Значит, если я тебя правильно понял, бога нет?

— Я сказал — нет. Теперь я скажу — да, есть. Налей-ка мне, сын мой, спирту, разбавь стакан на двадцать пять процентов водой и дай мне. И себе тоже налей. Налей, сын мой простодушный, и да увидим дно! — Поп выпил. — Теперь я скажу, что бог — есть. Имя ему — Жизнь. В этого бога я верую. Это — суровый, могучий бог. Он предлагает добро и зло вместе — это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза — делаешь вид, что тебе интересно слушать...

Максим пошевелился на стуле.

— Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить: что же верно? Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой, вместо того чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому, в соответствии с этим моим богом, я говорю: душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, ядрена мать! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не

бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай, и ад. — Поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел. — Ты пришел узнать: во что верить? Ты правильно догадался: у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь. Чем все это кончится, не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других... Зло? Ну — зло. Если мне кто-нибудь в этом велико-лепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких — «подставь правую». Дам в рыло, и баста.

— А если у него кулак здоровей?

— Значит, такая моя доля — за ним бежать.

— А куда бежим-то?

— На кудыкину гору. Какая тебе разница — куда? Все в одну сторону — добрые и злые.

— Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь, — сказал Максим.

— Значит, слаб в коленках. Паралитик. Значит, доля такая — скулить на месте.

Максим стиснул зубы... Вьелся горячим злым взглядом в попа.

— За что же мне доля такая несчастная?

— Слаб. Слаб, как... вареный петух. Не вращай глазами.

— Попяра!.. А если я сейчас, например, тебе дам разок по лбу, то как?

Поп громко, густо — при больных-то легких! — расхохотался.

— Видишь! — показал он свою ручищу. — Надежная: произойдет естественный отбор.

— А я ружье принесу.

— А тебя расстреляют. Ты это знаешь, поэтому ружье не принесешь, ибо ты слаб.

— Ну — ножом пырну. Я могу.

— Получишь пять лет. У меня поболит с месяц и заживет. Ты будешь пять лет тянуть.

— Хорошо, тогда почему же у тебя у самого душа болит?

— Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал. Налей.

Максим налил.

— Ты самолетом летал? — спросил поп.

— Летал. Много раз.

— А я летел вот сюда первый раз. Грандиозно!

Когда я садился в него, я думал: если этот летающий барак навернется, значит, так надо. Жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу! А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже погладил по боку — молодец. В самолет верую. Вообще в жизни много справедливого. Вот жалеют: Есенин мало прожил. Ровно — с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.

— А у вас в церкви... как заведут...

— У нас не песня, у нас — стон. Нет, Есенин...
Здесь прожито как раз с песню. Любишь Есенина?

— Люблю.

— Споем?

— Я не умею.

— Слегка поддерживай, только не мешай.

И поп загудел про клен заледенелый, да так грустно и умно как-то загудел, что и правда — защемило в груди. На словах «ах, и сам я нынче что-то стал нестойкий» поп ударил кулаком в столешницу и заплакал и затряс гривой.

— Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я тебя люблю. Справедливо? Справедливо. Поздно? Поздно...

Максим чувствовал, что он тоже начинает любить попу.

— Отец! Отец... Слушай сюда!

- Не хочу! — плакал поп.
- Слушай сюда, колода!
- Не хочу! Ты слаб в коленках...
- Я таких, как ты, обставляю на первом же километре! Слаб в коленках... Тубик.
- Молись! — Поп встал. — Повторяй за мной...
- Пошел ты!..

Поп легко одной рукой поднял за шкуру Максима, поставил рядом с собой.

- Повторяй за мной: верую!
- Верую! — сказал Максим.
- Громче! Торжественно: ве-рую! Вместе: ве-ру-ю-у!

— Ве-ру-ю-у! — заблажили вместе. Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил:

— В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! Ибо это объективно-о! Вместе! За мной!..

Вместе заорали:

- Ве-ру-ю-у!
- Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!.. Верую!
- Верую-у!
- В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоб-лю-у! В плоть и мягкость телесную-у!

...Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел: громадина поп мощно кидал по горнице могучее тело свое, бросался с маху впрыска и орал и нахлопывал себя по бокам и по груди:

*— Эх, верую, верую!
 Ту-ды, ту-ды, ту-ды — раз!
 Верую, верую!
 М-на, м-на, м-на — два!
 Верую, верую!..*

А вокруг попа, подбоченясь, мелко работал Максим Яриков и бабьим голосом громко вторил:

– У-тя, у-тя, у-тя – три!
Верую, верую!
Е-тя, етя – все четыре!

– За мной! — восклицал поп.
– Верую! Верую!

Максим пристраивался в затылок попу, они приплясывая, молча совершали круг по избе, потом поп опять бросался вприсядку, как в прорубь, распахивал руки... Половицы гнулись.

– Эх, верую, верую!
Ты-на, ты-на, ты-на – пять!
Все оглобельки – на ять!
Верую! Верую!
А где шесть, там и шерсть!
Верую! Верую!

Оба, поп и Максим, плясали с такой с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они — пляшут. Тут — или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать, и скрипеть зубами.

Илюха посмотрел-посмотрел на них и пристроился плясать тоже. Но он только время от времени тоненько кричал: «Их-ха! Их-ха!» Он не знал слов.

Рубаха на попе — на спине — взмокла, под рубахой могуче шевелились бугры мышц: он, видно, не знал раньше усталости вовсе, и болезнь не успела еще перекусить тугие его жилы. Их, наверно, не так легко перекусить: раньше он всех барсуков слопаёт. А надо будет, если ему посоветуют, попросит принести волка пожирнее — он так просто не уйдет.

– За мной! — опять велел поп.

И трое во главе с яростным, раскаленным попом пошли, приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы... На столе задребезжали тарелки и стаканы.

– Эх, верую! Верую!..

1971

МАСТЕР

Жил-был в селе Чебровке некто Семка Рысь, забуддыга, непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый — совсем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце... И тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она — в руках. Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они — ровные от плеча до лапы, толстые, словно литые. Красивые руки. Топорик в них — игрушечный. Кажется, не зная таким рукам усталости, и Семка так, для куража, орет:

— Што мы тебе — машины? Тогда иди заведи меня — я заглох. Но сзади подходи осторожней — лягаюсь!

Семка не злой человек. Но ему, как он говорит, «остолбенело все на свете», и он транжирит свои «лошадиные силы» на что угодно — поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь — милое дело.

— У тебя же золотые руки! — скажут ему. — Ты бы мог знаешь как жить!.. Ты бы как сыр в масле катался...

— А я не хочу, как сыр в масле. Склизко.

Он всю зарплату отдавал семье. Выпивал только на то, что зарабатывал слева. Он мог такой шкаф изладить, что у людей глаза разбегались. Приезжали издалека, просили сделать, платили большие деньги. Его даже писатель один, который отдыхал летом в Чебровке, возил с собой в областной центр, и он ему там оборудовал кабинет... Кабинет они оба до-

думались подогнать под деревенскую избу (писатель был из деревни, тосковал по родному).

— Во, дурные деньги-то! — изумлялись односельчане, когда Семка рассказал, какую они избу уделали в современном городском доме. — 16-й век!

— На паркет настелили плах, обстругали их — и все, даже не покрасили. Стол — тоже из досок сколотили, вдоль стен — лавки, в углу — лежак. На лежаке никаких матрасов, никаких одеял... Лежат кошма и тулуп — и все. Потолок паяльной лампой закоптили — вроде по-черному топится. Стены горбылем обшили...

Сельские люди только головами качали.

— Делать нечего дуракам.

— Шестнадцатый век, — задумчиво говорил Семка. — Он мне рисунки показывал, я все по рисункам делал.

Между прочим, когда Семка жил у писателя, в городе, он не пил, читал разные книги про старину, рассматривал старые иконы, прялки... Этого добра у писателя было навалом.

В то же лето, как побывал Семка в городе, он стал приглядываться к церковке, которая стояла в деревне Талице, что в трех верстах от Чебровки. В Талице от двадцати дворов осталось восемь. Церковка была закрыта давно. Каменная, небольшая, она открывалась взору — вдруг, сразу за откосом, который огибала дорога в Талицу... По каким-то соображениям те давние люди не поставили ее на возвышение, как принято, а поставили внизу, под откосом. Еще с детства помнил Семка, что если идешь в Талицу и задумаешься, то на повороте, у косогора вздрогнешь, — внезапно увидишь церковь, белую, легкую среди тяжелой зелени тополей.

В Чебровке тоже была церковь, но явно позднего времени, большая, с высокой колокольной. Она тоже давно была закрыта и дала в стене трещину. Казалось бы — две церкви, одна большая, на воз-

вышени, другая спряталась где-то под косогором — какая должна выиграть, если сравнить? Выигрывала маленькая, под косогором. Она всем брала: и что легкая, и что открывалась глазам внезапно... Чебровскую видно было за пять километров — на то и рассчитывали строители. Талицкую как будто нарочно спрятали от праздного взора, и только тому, кто шел к ней, она являлась вся, сразу...

Как-то в выходной день Семка пошел опять к талицкой церкви. Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. Тишина и покой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица — столько лет стоит! — молчит. Много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце, полоскали ее дожди, заносили снега... Но вот — стоит. Кому на радость? Давно уж истлели в земле строители ее, давно распалась в прах та умная голова, что задумала ее такой, и сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величал или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе — на людную городскую площадь — там заметят. Этого заботило что-то другое — красота, что ли? Как песню спел человек, и спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа. Милый, дорогой человек!.. Не знаешь, что и сказать тебе — туда, в твою черную жуткую тьму небытия — не услышишь. Да и что тут скажешь? Ну, — хорошо, красиво, волнует, радует... Разве в этом дело? Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что — красиво. Что же?.. Ничего. Умеешь радоваться — радуйся, умеешь радовать — радуй... Не умеешь — воюй, командуй или что-нибудь такое делай — можно разрушить вот эту сказку: подложить пару килограммов динамита — дроболызнет, и все дела. Каждому свое.

Посмотрел Семка и заметил: четыре камня вверху, под карнизом, не такие, как все, — блестят. Подошел поближе, всмотрелся — да, тот мастер хотел, видно, отшлифовать всю стену. А стена — восточная, и, если бы он довел работу до конца, то при восходе солнца (оно встает из-за косогора) церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки, и постепенно занималась, светлым огнем вся, во всю стену — от креста до фундамента. И он начал эту работу, но почему-то бросил — может, тот, кто заказывал и давал деньги, сказал: «Ладно, и так сойдет».

Семка больше того заволновался — захотел понять, как шлифовались камни? Наверно, так: сперва грубым песком, потом песочком помельче, потом — сукном или кожей. Большая работа.

В церковь можно было проникнуть через подвал — это Семка знал с детства, не раз лазал туда с ребятней. Ход в подвал, некогда закрываемый створчатой дверью (дверь давно унесли), полуобвалился, зарос бурьяном... Семка с трудом протиснулся в щель между плитой и подножными камнями и, где на четвереньках, где согнувшись в три погибели, вошел в притвор. Просторно, гулко в церкви. Легкий ветерок чуть шевелил отставший, вислый лист железа на маковке, и шорох тот, едва слышный на улице, здесь звучал громко, тревожно. Лучи света из окон рассекали затененную пустоту церкви золотыми широкими мечами.

Только теперь, обеспокоенный красотой и тайной, оглядевшись, обнаружил Семка, что между стенами и полом не прямой угол, а строгое, правильное закругление желобом внутрь. Попросту внизу вдоль стен идет каменный прикладок примерно в метре от стены у основания и в рост человеческого высотой. Наверху он аккуратно сводится на нет со стеной. Для чего он, Семка сперва не сообразил. Отметил только, что камни прикладка,

хорошо отесанные и пригнанные друг к другу, внизу — темные, потом — выше — светлеют и вовсе сливаются с белой стеной. В самом верху, купол, выложен из какого-то особенного камня, и он еще, наверно, шлифован — так светло, празднично там, под куполом. А всего-то — четыре узких оконца...

Семка сел на приступку алтаря, стал думать: зачем этот каменный прикладок? И объяснил себе так: мастер убрал прямые углы — разрушил квадрат. Так как церковка маленькая, то надо было создать ощущение свободы внутри, а ничто так не угнетает, не теснит душу, как клетка-квадрат. Он поэтому снизу положил камни потемней, а по мере того, как поднимал прикладок, выравнивал его со стеной, — стены, таким образом, как бы отодвинулись.

Семка сидел в церкви, пока пятно света на каменном полу не подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел домой.

На другой день Семка, сказавшись больным, не пошел на работу, а поехал в райгородок, где была действующая церковь. Батюшку он нашел дома, неподалеку от церкви. Батюшка отослал сына и сказал просто:

— Слушаю.

Темные, живые, даже с каким-то озорным блеском глаза нестарого еще попа смотрели на Семку прямо, твердо — он ждал.

— Ты знаешь талицкую церкву? — Семка почему-то решил, что с писателями и попами надо говорить на «ты». — Талица, Чебровского района.

— Талицкую?.. Чебровский район... Маленькая такая?

— Ну.

— Знаю.

— Какого она века?

Поп задумался.

— Какого? Боюсь, не соврать бы... Думаю, при Алексее Михайловиче еще... Сынок-то его не очень баловал народ храмами. Семнадцатый век, вторая половина. А что?

— Красота-то какая!.. — воскликнул Семка. — Как же вы так?

Поп усмехнулся.

— Слава богу, хоть стоит пока. Красивая, да. Давно не видел ее, но помню. Внизу, кажется?..

— А кто делал, неизвестно?

— Это надо у митрополита узнать. Этого я не могу сказать.

— Но ведь у вас же есть деньги! Есть ведь?

— Ну, допустим.

— Да не допустим, а есть. Вы же от государства отдельно теперь...

— Ты это к чему?

— Отремонтируйте ее — это же чудо! Я возьмусь отремонтировать. За лето сделаю. Двух-трех помощников мне — до холодов сделаем. Платите нам рублей по...

— Я, дорогой мой, такие вопросы не решаю. У меня тоже есть начальство... Сходи к митрополиту!

— Поп сам тоже заволновался. — Сходи, а чего! Ты веруешь ли?

— Да не в этом дело. Я, как все, а то и похуже — пью. Мне жалко — такая красота пропадает. Ведь сейчас же восстанавливают...

— Восстанавливает государство.

— Но у вас же тоже есть деньги!

— Государство восстанавливает. В своих целях. Ты сходи, сходи к митрополиту-то.

— А он где? Здесь разве?

— Нет, ехать надо.

— В область?

— В область.

— У меня с собой денег нет. Я только до тебя ехал...
— А я дам. Ты откуда будешь-то?
— Из Чебровки, столяр, Семен Рысь...
— Вот, Семен, — съезди-ка! Он у нас человек...
умница... Расскажи ему все. Ты от себя только?
— Как «от себя»? — не понял Семка.
— Сам ко мне-то или выбрали да послали?
— Сам.
— Ну все равно — съезди! А пока ты будешь ехать,
я ему позвоню — он уже будет знать, что к чему, при-
мет тебя.

Семен подумал немного.

— Давай! Я потом тебе вышлю.
— Потом договоримся. От митрополита заез-
жай снова ко мне, расскажешь.

Митрополит, крупный, седой, вечно трезвый старик, с неожиданно тоненьким голоском, принял Семку радушно.

— Звонил мне отец Герасим... Ну, расскажи, расскажи, как тебя надоумило храм ремонтировать?

Семка отхлебнул из красивой чашки горячего чаю.

— Да как?.. Никак. Смотрю — красота какая!
И никому не нужна!..

Митрополит усмехнулся.

— Красивая церковь, я ее знаю. При Алексее Михайловиче, да. Кто архитектор, пока не знаю. Можно узнать. А земли были бояр Борятинских... Тебе зачем мастера-то знать?

— Да так, интересно. С большой выдумкой человек.

— Мастер большой, потом выясним кто. Ясно, что он знал владимирские храмы, московские...

— Ведь до чего додумался!.. — И Семка стал рассказывать, как ему удалось разгадать тайну старинного мастера.

Митрополит слушал, кивал головой, иногда говорил: «Ишь ты!» А попутно Семка выкладывал и свои соображения: стену ту, восточную, отшлифовать, как и хотел мастер, маковки обшить и позолотить

и в верхние окна вставить цветные стекла — тогда под куполом будет такое сияние, такое сияние!.. Мастер туда подобрал какой-то особенный камень, наверно, с примесью слюды... И если еще оранжевые стекла всадить...

— Все хорошо, все хорошо, сын мой, — перебил митрополит. — Вот скажи мне сейчас: разрешаем вам отремонтировать талицкую церковь. Назовите, кому вы поручаете это сделать. Я, не моргнув глазом, называю: Семен Рысь, столяр из Чебровки. Только... не разрешат мне ее ремонтировать, вот какое дело, сын мой. Грустное дело.

— Почему?

— Я тоже спрошу: «Почему?» А они меня спросят: «А зачем?» Сколько дворов в Талице? Это уже я спрашиваю...

— Да в Талице-то мало...

— Дело даже не в этом. Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? Ты подумай-ка.

— Да не надо в ней молиться! Есть же всякие музеи...

— Вот музеи-то — как раз дело государственное, не наше.

— И как же теперь?

— Я подскажу как. Напишите миром бумагу: так, мол, и так — есть в Талице церковь в запустении. Нам она представляется ценной не с точки зрения религии...

— Не написать нам сроду такой бумаги. Ты сам напиши.

— Я не могу. Найдите, кто сумеет написать. А то и — сами, своими словами... даже лучше.

— Я знаю! У меня есть такой человек! — Семка вспомнил про писателя.

— И с той бумагой — к властям. В облисполком. А уж они решат. Откажут, пишите в Москву... Но раньше в Москву не пишите, дождитесь, пока здесь откажут. Оттуда могут прислать комиссию...

— Она бы людей радовала — стояла!

— Таков мой совет. А что говорил с нами, про то не пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело. Прощай, сын мой. Дай бог удачи.

Семка, когда уходил от митрополита, отметил, что живет митрополит — дай бог! Домина — комнат, наверно, из восьми. Во дворе «Волга» стоит. Это неприятно удивило Семку. И он решил, что действительно лучше, пожалуй, иметь дело с родной Советской властью. Эти попы темнят чего-то... И хочется им, и колетса, и мамка не велит.

Но сперва Семка решил сходить к писателю. Нашел его дом... Писателя дома не было.

— Нет его, — резковато сказала Семке молодая полная женщина и захлопнула дверь. Когда он отделывал здесь «избу 16-го века», он что-то не видел этой женщины. Ему страсть как захотелось посмотреть «избу». Он позвонил еще раз.

— Я сама! — услышал он за дверью голос женщины. И дверь опять открылась...

— Ну? Что еще?

— Знаете, я тут отделывал кабинет Николая Ефимыча... охота глянуть...

— Боже мой! — негромко воскликнула женщина. И закрыла дверь.

«По-моему, он дома, — догадался Семка. — И по-моему, у них идет крупный разговор».

Он немного подождал в надежде, что женщина проговорится в сердцах: «Какой-то идиот, который отделывал твой кабинет», и писатель, может быть, выйдет, сам. Писатель не вышел. Наверно, его правда не было.

Семка пошел в облисполком. К председателю облисполкома он попал сразу и довольно странно. Вошел в приемную, секретарша накинулась на него:

— Почему же опаздываете?! То обижаются — не принимают, а то самих не дожدهсья. Где остальные?

— Там, — сказал Семка, — идут.

— Идут. — Секретарша вошла в кабинет, побыла там короткое время, вышла и сказала сердито: — Проходите.

Семка прошел в кабинет... Председатель пошел ему навстречу — здороваться.

— А шуму-то наделали, шуму-то! — сказал он хоть с улыбкой, но и с укоризной тоже. — Шумим, братцы, шумим? Здравствуйте!

— Я насчет церкви, — сказал Семка, пожимая руку председателя. — Она меня перепутала, ваша помощница. Я один... насчет церкви...

— Какой церкви?

— У нас, не у нас, в Талице есть церковь семнадцатого века. Красавица необыкновенная! Если бы ее отремонтировать, она бы... Не молиться, нет! Она ценная не с религиозной точки. Если бы мне дали трех мужиков, я бы ее до холодов сделал. — Семка торопился, потому что не выносил, когда на него смотрят с недоумением. Он всегда нервничал при этом. — Я говорю, есть в деревне Талица церковь, — стал он говорить медленно, но уже раздражаясь. — Ее необходимо отремонтировать, она в запустении. Это — гордость русского народа, а на нее все махнули рукой. А отремонтировать, она будет стоять еще триста лет и радовать глаз и душу.

— Мгм, — сказал председатель. — Сейчас разберемся. — Он нажал кнопку на столе. В дверь заглянула секретарша. — Попросите сюда Завадского. Значит, есть у вас в деревне старая церковь, она показалась вам интересной как архитектурный памятник семнадцатого века. Так?

— Совершенно точно! Главное, не так уж много там и делов-то: перебрать маковки, кое-где поддержать камни, может, растягу вмонтировать — повыше, крестом...

— Сейчас, сейчас... у нас есть товарищ, который как раз этим делом занимается. Вот он.

В кабинет вошел молодой еще мужчина, красивый, с волнистой черной шевелюрой на голове и с ямочкой на подбородке.

— Игорь Александрович, займитесь, пожалуйста, с товарищем, — по вашей части.

— Пойдемте, — предложил Игорь Александрович.

Они пошли по длинному коридору, Игорь Александрович впереди, Семка сзади на полшага.

— Я сам из Талицы, а точнее из Чебровки, Талица от нас...

— Сейчас, сейчас, — покивал головой Игорь Александрович, не оборачиваясь. — Сейчас во всем разберемся.

«Здесь, вообще-то, время зря не теряют», — подумал Семка.

Вошли в кабинет... Кабинет победней, чем у председателя, — просто комната, стол, стул, чертежи на стенах, полка с книгами.

— Ну? — сказал Игорь Александрович. И улыбнулся. — Садитесь и спокойно все расскажите.

Семка начал все подробно рассказывать. Пока он рассказывал, Игорь Александрович, слушая его, нашел на книжной полке какую-то папку, полистал, отыскал нужное и, придерживая ладонью, чтобы папка не закрылась, стал заметно проявлять нетерпение. Семка заметил это.

— Все? — спросил Игорь Александрович.

— Пока все.

— Ну, слушайте. Талицкая церковь Н-ской области, Чебровского района, — стал читать Игорь Александрович. — Так называемая, — на крови. Предположительно семидесятые—девяностые годы семнадцатого века. Кто-то из князей Борятинских погиб в Талице от руки недруга... — Игорь Александрович поднял глаза от бумаги, высказал предположение: — Возможно, передрались пьяные братья или кумовья. Итак, значит...

погиб от руки недруга, и на том месте поставлена церковь. Архитектор неизвестен. Как памятник архитектуры ценности не представляет, так как ничего нового для своего времени, каких-то неожиданных решений или поиска таковых автор здесь не выказал. Более или менее точная копия владимирских храмов. Останавливают внимание размеры церкви, но и они продиктованы соображениями не архитектурными, а, очевидно, материальными возможностями заказчика. Перестала действовать в 1925 году.

— Вы ее видели? — спросил Семка.

— Видел. Это, — Игорь Александрович показал страничку казенного письма в папке, — ответ на мой запрос. Я тоже, как вы, обманулся...

— А внутри были?

— Был, как же. Даже специалистов наших областных возил...

— Спокойно! — зловеще сказал Семка. — Што сказали специалисты? Про прикладок...

— Вдоль стен? Там, видите, какое дело: Брятинские увлекались захоронениями в своем храме и основательно раздолбали фундамент. Церковь, если вы заметили, слегка покосилась на один бок. Какой-то из поздних потомков их рода прекратил это. Сделали вот такой прикладок... Там, если обратили внимание, — надписи на прикладке — в тех местах, где внизу захоронения.

Семка Рысь чувствовал себя обескураженным.

— Но красота-то какая! — попытался он упорствовать.

— Красивая, да. — Игорь Александрович легко поднялся, взял с полки книгу, показал фотографию храма. — Похоже?

— Похоже...

— Это Владимирский храм Покрова. Двенадцатый век. Не бывали во Владимире?

— Я што-то не верю... — Семка кивнул на казенную бумагу. — По-моему, они вам втерли очки, эти наши специалисты. Я буду писать в Москву.

— Так это и есть ответ из Москвы. Я почему обманулся: думал, что она тоже двенадцатого века... Я думал, кто-то самостоятельно — сам по себе, может быть, понаслышке, — повторил владимирцев. Но чудес не бывает. Вас что, сельсовет послал?

— Да нет, я сам...

Домой Семен выехал в тот же день. В райгородок прибыл еще засветло и пошел к отцу Герасиму.

Отец Герасим был в церкви на службе. Семка отдал его домашним деньги, какие еще оставались, оставил себе на билет и на бутылку красного, сказал, что долг вышлет по почте... И поехал домой.

С тех пор он про талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, курил и молчал. Люди заметили это, и никто не решался заговорить с ним в это время. И зачем он ездил в область, и куда там ходил, тоже не спрашивали. Раз молчит, значит, не хочет говорить об этом, значит, зачем спрашивать?

1971

МОЙ ЗЯТЬ УКРАЛ МАШИНУ ДРОВ!

Веня Зяблицкий, маленький человек, нервный, стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей.

Веня приезжает из рейса и обнаруживает, что деньги, которые копились ему на кожаное пальто, жена Соня все ухайдакала себе на шубу из искусственного каракуля. Соня объяснила так:

— Понимаешь, выбросили — все стали хватать... Ну, я подумала, подумала — и тоже взяла. Ничего, Вень?

— Взяла? — Веня зло сморщился. — Хорошо, хоть сперва подумала, потом уж взяла. — Венина мечта — когда-нибудь надеть кожанку и пройти в выходной день по селу в ней нараспашку — отодвинулась далеко. — Спасибо. Подумала об муже... твою мать-то.

— Чего ты?

— Ничего, все нормально. Спасибо, говорю.

— Чего лаешься-то?

— Кто лается? Я говорю, все нормально! Ты же вон какая оборванная ходишь, надо, конечно, шубу... Вы же без шубы не можете. Как это вам без шубы можно!.. Дармоеды.

Соня, круглолицая, толстомясая, побежала к матери жаловаться.

— Мам, ты гляди-ка, што он вытворяет — за шубу-то начал обзывать по-всякому! — Соне тридцать уже, а она все, как маленькая, бегала к маме жаловаться. — Дармоеды, говорит!

Из горницы вышла теща, тоже круглолицая, шестидесятилетняя, крепкая здоровьем, крепкая нравом, взглядом на жизнь, — вообще, вся очень крепкая.

— Ты что это, Вениамин? — сказала она с укоризной. — Другой бы муж радовался...

— А я радуюсь! Я до того рад, что хоть впору заголиться да улочки две дать по селу — от радости.

— Если недопонимаешь, то слушай, што говорят! — повысила голос теща. — Красивая, нарядная жена украшает мужа. А уж тебе-то надо об этом подумать — не красавец.

Веня в самом деле не был красавцем (маловат ростом, худой, белобрысый... и вдобавок хромой: подростком был прицепщиком, задремал ночью на прицепе, свалился в борозду, и его шаркнуло плугом по ноге), и когда ему напоминали об этом — что не красавец, — Веню трясло от негодования.

— Ну да, вы-то, конечно, понимаете, как надо украшать людей! Вы уж двух украсили... — И тесть Вени, и бывший муж Сони — сидели. Тесть — за растрату, муж Сони — за пьяную драку. Слушок по селу ходил — Лизавета Васильевна, теща, помогла посадить и мужа и зятя.

— Молчать! — строго осадила Лизавета Васильевна. — А то договоришься у меня!.. Молокосос. Сопляк.

Веня взмыл над землей от ярости... И сверху, с высоты, скружил ястребом на тещу.

— А ты чего это голос-то повышаешь?! Ты чего тут голос-то повышаешь?! Курва старая...

Соня еще не поняла, что за это можно сажать. Она только очень обиделась за мать.

— Ох, молодой!.. — воскликнула она. — Да тебе двадцать восемь, а от тебя уж козлиным потом пахнет.

Теща, напротив, поняла, что за это уже можно сажать.

— Так... Как ты сказал? Курва? Хорошо! Курва?.. Хорошо. При свидетелях. — Она побежала в горницу — писать заявление в милицию. — Ты у меня получишь за курву! — громко, с дрожью в голосе говорила она оттуда. — Ты у меня получишь!..

— Давай, давай, пиши, тебе не привыкать. — Веня слегка струсил вообще-то. Черт ее знает, она со всем районным начальством в знакомстве. — Тебе посадить человека — раз плюнуть.

— Я первые колхозы создавала, а ты мне — курва! — громко закричала теща, появляясь в дверях.

— А про меня в газете писали, што я, хромой, — на машине работаю! — тоже закричал Веня. И постучал себя в грудь кулаком. — У меня пятнадцать лет трудового стажу!

— Ничего, он тебе там пригодится.

Веню опять взорвало, он забыл страх.

— Где это там?! Где там-то, курва? Ты сперва посади!.. Потом уж я буду думать, где мне пригодится, а где не пригодится. Сажалка...

— Поса-адим, — опять с дрожью в голосе обещала теща. И ушла писать заявление. Но тотчас опять вернулась и закричала: — Ты машину дров привез?! Где ты ее взял?! Где взял?!

— Тебя же согреть привез...

— Где взял?! — изо всех сил кричала Лизавета Васильевна.

— Купил!

— На какие деньги? Ты всю получку домой отдал! Ты их в государственном лесу бесплатно нарубил! Ты машину дров украл!

— Ладно, допустим. А чего же ты сразу не заявила? Чего ж ты — жгла эти дрова и помалкивала?

— Я только сейчас это поняла — с кем мы живем под одной крышей.

— Э-э... завляла хвостом-то. Если уж садиться, так вместе сядем: я своровал, а ты пользова-

лась ворованным. Мне — три года, тебе — полтора, как минимум. Вот так. Мы тоже законы знаем.

— Не-ет, ты их еще не знаешь!.. Вот посидишь там, тогда узнаешь.

Теща в самом деле ездила с заявлением в район, в милицию. Но про машину дров, как видно, не сказала. Ей там посоветовали обратиться с жалобой в дирекцию совхоза, так как налицо пока что — домашняя склока, не больше. Нельзя же, в самом деле, сразу, по первому же заявлению, привлекать человека к уголовной ответственности. Вот если это повторится, и если он будет в пьяном виде... Лизавета Васильевна побежала в дирекцию.

Веню вызвали.

Перед заместителем директора, молодым еще человеком, которого Веня уважал за башковитость, лежало заявление тещи.

— Ну, что там у вас случилось? Жалуются вот...

— Жалуются!.. Сами одетые, как эти... все есть! — стал честно рассказывать Веня. — А у меня — вот што на мне, то и все тут. Хотел раз в жизни кожан купить за сто шестьдесят рублей, накопили, а она себе взяла шубку купила. А у самой зимнее пальто есть хорошее.

— Ну, а обзывал-то зачем? Матерился-то зачем?

— Тут любого злость возьмет! Копил, копил, елки зеленые!.. после бани четвертинку жадничал выпить, а она взяла шубу купила! И, главное, пальто же есть! Если бы хоть не было, а то ведь пальто есть! А чего она тут пишет?

— Да пишет... много пишет.

Тут-то понял Веня, что про машину дров теща умолчала.

— Пишет, што она коллективизацию делала?

— Ну, пишет... Ты все-таки это... не надо — пожилой человек... Ну, купила! Она же тоже работает, жена-то.

— Она шестьдесят рублей приносит, в тепле посиживает, а я, самое малое, сто двадцать — выше нормы вкалываю. Да мне не жалко! Но хоть оди-
то раз надо же и мне тоже чего-нибудь взять! Они бы хоть носили! А то купят — и в сундук. А тут... на
люди стыд показаться.

Замдиректора не знал, что делать. Он верил, Венина правда — вся тут.

— Все равно не надо, Вениамин. Ведь этим же ничего не докажешь. Поговори с женой... Что она? Поймет же она — молодая женщина.

— Да она-то што!.. Она голоса не имеет. Там эта вот, — Веня кивнул на заявление, — всем заправляет.

В общем, поговорили в таком духе, и Веня вышел из конторы с легкой душой. Но обида и злость на тещу не убавилась, нет.

«Вот же ж тварь, — думал он, — посадит и глазом не моргнет. Сколько злости в человеке! Всю жизнь жила, и всю жизнь злилась. Курва... На какой черт тогда и родиться такой?»

Тут встретился ему — не то что дружок — хороший товарищ Колька Волобуев.

— Чего такой? — Колька как-то странно всегда говорит — почти не раскрывая рта. И смотрит на всех снисходительно, чуть сощутив глаза. Характер у парня.

— Какой?

— Какой-то... как воробей подстреленный. Откуда прыгаешь-то?

— Из конторы. — И Веня все рассказал — как он умылся с кожаном, как поскандалил дома и как его теща хотела посадить.

— Дух сожрала — мало, — процедил Колька. — Пошли выпьем.

Веня с удовольствием пошел.

Когда выпили, Колька, прищутив холодно-
то-серые глаза, стал учить Веню:

У Вени мстительно взыграла душа... Вспомнились разом все обиды, какие нанесла ему Соня: как долго не хотела выходить за него, как манежила и изводила у своих ворот: ни «да», ни «нет», как... Нет, надо, в самом деле, все поставить на свое место. Какой он, к черту, хозяин в доме! Ишак, правильно Колька сказал.

— Пойду сала под кожу кое-кому залью, — сказал он. И скоро похромал домой. И нес в груди тяжелое, злое чувство.

«Нашли дурачка!.. Сволочи. Еще по милициям бегают! Курва».

Сони не было дома.

— А где она? — спросил Веня.

— А я откуда знаю, — буркнула теща. Уборщица из конторы успела сообщить ей, что Веню особенно-то и не ругали. (Странное дело: Лизавета Васильевна пять лет как уже не работала, а иные с ней считались, бегали наушничать, даже побаивались.) — Она мне не докладает.

— Разговорчики! — крикнул Веня с порога. — Слишком много болтаем!

Лизавета Васильевна удивленно посмотрела на зятя:

— Что такое? Ты, никак, выпил?

Вене пришла в голову занятная мысль. Он вышел во двор, нашел в сарае молоток, с десяток больших гвоздей... Положил это все в карман и вошел снова в дом.

— Что там за материал лежит? — спросил он миролюбиво.

— Какой материал? Где? — живо заинтересовалась теща.

— Да в уборной... Подоткнут сверху. Красный. Теща поспешила в уборную. Веня — за ней.

Едва теща зашла в уборную, Веня запер ее снаружи на крючок. Потом стал заколачивать дверь гвоздями.

Теща закричала.

— Посиди малость, подумай, — приговаривал Веня. — Сама любишь людей сажать? Теперь маленько спробуй на своей шкуре. — Vogнал все гвозди и сел на крыльцо поджидать Соню.

— Карау-ул!! — вопила Лизавета Васильевна. — Люди добрые, спасите! Спасите! Люди добрые!.. Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! — наладилась теща.

Веня пригрозил:

— Будешь орать — подожгу.

Теща замолчала. Только всхлипнула:

— Ну, Венька!..

— Угрозать?

— Я не угрожаю, ничего я не угрожаю, но спасибо тебе за это не скажут!

Вене попался на глаза кусок необожженной извести. Он поднял его и написал на двери уборной:

«Заплонбировано 25 июля 1969 г. Не кантавать».

— Ну, Венька!..

— Счас я еще Соню твою подожду... Счас она у меня будет пятый угол искать. В каракуле. Вы думали, я вам ишак бессловесный? Сколько я в дом получек перетаскал, а хоть один костюмишко мало мальский купили мне?

— Ты же пришел на все готовенькое.

— А если б я голый совсем пришел, я бы так и ходил голый? Неужели же я себе хоть на рубаху не заработал? Ты людей раскулачивала... Ты же сама первая кулачка! У тебя от добра сундуки ломаются.

— Не тобой нажито!

— А — тобой? Для кого мужик воровал-то? А когда он ненужен стал, ты его посадила. Вот теперь посиди сама. Будешь сидеть трое суток. Возьму ружье и никого не подпущу. Считаю, что я тебя посадил в карцер. За плохое поведение.

— Ну, Венька!

— Вот так. И не ори, а то хуже будет.
— Над старухой так изгаляться!..
— Ты всю жизнь над людьми изгалялась — и молодая и старая.

Веня еще подождал Соню, не дождался, не утерпел — пошел искать ее по селу.

— Сиди у меня тихо! — велел теще.

В тот день Веня, к счастью, не нашел жену. Тещу выпустили из «карцера» соседи.

Суд был бурный. Он проходил в клубе — показательный.

Теща плакала на суде, опять говорила, что она создавала первые колхозы, рассказывала, какие она претерпела переживания, сидя в «карцере», — ей очень хотелось посадить Веню. Но сельчане протестовали. И старые и молодые говорил, что знают Веню с малых лет, что рос он сиротой, всегда был послушный, никого никогда пальцем не трогал... Наказать, конечно, надо, но — не в тюрьму же! Хорошо, проникновенно сказал Михайло Кузнецов, старый солдат, степенный, уважаемый человек, тоже давно пенсионер.

— Граждане судьи! — сказал он. — Я знал отца Венькиного — он пал смертью храбрых на поле брани. Мать Венькина надсадилась в колхозе — померла. Сам Венька с десяти лет пошел работать... А гражданка Киселева... она вот сейчас плачет: знамо, сидеть на старости лет в туалете — это никому не поглянется — но все же она в своей жизни трудностей не знала. Да и теперь не знаешь — у тебя пенсия-то поболее моей, а я весь израненный, на трех войнах отломал...

— Я из бедняцкой семьи! — как-то даже с визгом воскликнула Лизавета Васильевна. — Я первые колхозы...

— И я тоже из бедняцкой, — возразил Михайло. — Ты первая организовала колхоз, а я первый пошел в него. Какая твоя особая заслуга перед об-

чеством? В войну ты была председателем сельпо — не голодала, это мы тоже знаем. А парень сам себя содержал, своим трудом... это надо ценить. Нельзя так. Посадить легко, каково сидеть!

— У него одних благодарностей штук десять! Его каждый праздник отмечают как передового труженика! — выкрикнули из зала.

Но тут встал из-за стола представительный мужчина, полный в светлом костюме. Понимающе посмотрел в зал. Да как пошел, как пошел причесывать! Говорил, что преступление всегда — а в данном случае и полезней — лучше наказать малое, чем ждать большого. Приводил примеры, когда вот такие вот, на вид безобидные пареньки пускали в ход ножи...

— Где уверенность, я вас спрашиваю, что он, обозленный теперь, завтра снова не напьется и не возьмет в руки топор? Или ружье? В доме — две женщины. Представьте себе...

— Он не пьет!

— Это что он, после газировки взял молоток и заколотил тещу в уборной? Пожилую, заслуженную женщину! И за что? За то, что жена купила себе шубу, а ему, видите ли, не купили кожаное пальто?

Под Ваней закачался стул. И многие в зале решили: сидеть Веньке в тюрьге.

— Нет, товарищи, наша гуманность будет именно в том, что сейчас мы не оставим без последствий этот проступок обвиняемого. Лучше сейчас. Этим мы оградим его от большой опасности. А она явно подстерегает его.

Представительный мужчина предлагал дать Веньке три года.

Тут поднялся опять Михайло Кузнецов.

— Вы, товарищ, все совершенно правильно говорили. Но я вам приведу небольшой пример из Великой Отечественной войны. Был у нас солдатик, вроде Веньки — шупленький такой же, моло-

дой — лет двадцати, наверно. Ну, пошли в атаку, и тот солдатик испугался... бросил винтовку, упал, обхватил, значит, руками голову... Политрук хотел под трибунал отдать, но мы, которые постарше солдаты, не дали. Подняли, он побежал с нами... И што вы думаете? Самолично, у всех на глазах заколол двух фашистов. И фашисты были — под толок, рослые, а тот солдатик — забыл уж теперь, как его фамилия, — не больше Веньки. Откуда сила взялась! Я это к тому, што бывает — найдет на человека слабость, стихия — ну вроде пропал, совсем пропал человек... А тут, наоборот, не надо торопиться, он еще подыметя. Вы сами-то воевали, товарищ? — спросил под конец Михайло.

Представительного мужчину ничуть не смутил такой разительный пример. Он понимающе улыбнулся.

— Я воевал, товарищ. Это на ваш вопрос. Теперь, что касается примера. Он... конечно, яркий, внушительный, но совершенно не к месту. Тут вы, как говорится, спутали божий дар с яичницей. — Представительный мужчина коротко посмеялся, чуть колыхнул солидным тугим животом. — На этом примере можно доказать совершенно противоположное тому, что вы тут хотели сказать. Кстати, его судили, того солдата?

Михайло не сразу ответил. Все даже повернулись в его сторону.

— Судили, — неохотно ответил Михайло. — Но...

— Совершенно верно. Но...

— Но оставили без последствия! — повысил голос Михайло. — Только перевели в другую часть.

— Это уже другой вопрос. То обстоятельство, что он поднялся и побежал с вами и потом заколол двух фашистов, — это факт, который говорит сам за себя, его можно учитывать, и, как видим, учли. Но есть факты, которые... материально, так сказать, учесть нельзя. Солдат испугался, бросил

оружие, упал... Он — испугался, это понятно. Испугайся он один, в лесу, увидев медведя, — ну, тогда положишься на волю божью, как говорят, точнее, на медвежью, задерет он тебя или не задерет? Но здесь — солдат, он шел в атаку не один, он испугался, он породил страх у всей роты!

— Ничего подобного! — сказал Михайло. — Как бежали, так и бежали!

— Вы бежали с другим настроением. Вы сами того не сознавали, но в вас уже жил страх. Струсивший солдат как бы дал вам понять, какая опасность вас ждет впереди, — возможно, смерть...

— А то мы без него не знали.

— Что же касается данного конкретного случая...

Венька не отрываясь смотрел на представительного мужчину, плохо понимал, что он говорит. Понимал только, что мужчина тоже очень хочет его посадить, хотя вовсе не злой, как теща, и первый раз в глаза увидел Веньку. Венька раньше никогда на судах не бывал, не знал, что существуют государственные обвинители, общественные обвинители... Суд для него — это судья. И он никак не мог постичь, зачем надо этому человеку во что бы то ни стало посадить его, Веньку, на три года в тюрьму? Судья молчит, а этот — в который уже раз — встает и говорит, что надо посадить, и все. Венька онемел от удивления. Когда его спросили, хочет ли дать суду какие-нибудь пояснения, Венька пожал плечами и как-то торопливо, испуганно возразил:

— Зачем?

Суд удалился на совещание.

Венька сидел. Ждал. Его сковал ужас... Не ужас перед тюрьмой: когда он шел сюда, он прикинул в уме: двадцать восемь плюс три, ну четыре — тридцать один — тридцать два... Ерунда. Его охватил ужас перед этим мужчиной. Он так в него всмотрелся, что и теперь, когда его уже не было за столом, видел его как живого: спокойный, умный,

веселый... И доказывает, доказывает, доказывает — надо сажать. Это непостижимо. Как же он потом... ужинать будет, детишек ласкать, с женой спать?.. Раньше Веня часто злился на людей, но не боялся их, теперь он вдруг с ужасом понял, что они бывают — страшные. Один раз в жизни Веню били двое пьяных. Били и как-то подстанывали — от усердия, что ли. Веня долго потом с омерзением вспоминал не боль, а это вот тихое подстанывание после ударов. Но то были пьяные, безумные... Этот — представительный, образованный, вовсе не сердится, спокойно убеждает всех, надо сажать. О господи! Теща!.. Теща — змея и дура, она не три года, а готова пять выхлопотать для зятя, и это можно понять. Она такая — курва. Но этот-то... Как же так?

Вене вынесли приговор: два года условно.

За Веню радовались.

А Веня шел непривычно задумчивый... Все стоял в глазах тот представительный мужчина, и Веня все не переставал изумляться... Неужели он все время так делает?

Жить пока Веня пошел к Кольке Волобуеву.

Колька опять предложил выпить, Веня отказался. Рано ушел в горницу, лег на лавку и все думал, думал.

Какая все-таки жизнь! — в один миг все сразу рухнуло. Да и пропади бы он пропадом, этот кожан! И что вдруг так уж захотелось купить кожан? Жил без него, жил бы и дальше. Сманить надо бы Соньку от тещи! Жить отдельно... Правда, она тоже — дура, не пошла бы против матери. Но о чем бы ни думал Веня в ту ночь, как ни саднила душа, все вспоминался представительный мужчина — смотрел на Веню сверху, со сцены, не зло, не кричал... У него поблескивала металлическая штучка на галстукке. Брови у него черные, густые, чуть срослись на переносице. Волосы гладко причесаны назад, отсвечивают. А несколько волосиков слилась и колечком повисли над лбом и покачивались, вздраги-

вали, когда мужчина говорил. Лицо хоть широкое, круглое, но крепкое, а когда он улыбался, на щеках намечались ямочки...

Утром Веня поехал в рейс, в район.

Выехал рано, только-только встало солнышко. Но было уже тепло, земля не остыла за ночь.

Веня в дороге всегда успокаивался, о людях начинал думать: будто они, каких знал, где-то остались далеко, и его не касаются. Вспоминал всех, скопом... Думал: сами они там крепко все запутались, нервничают, много бестолочи. Вчерашнее судилище вспоминалось, как сон, тяжелый, нехороший...

На 27-м километре Веня увидел впереди «Волгу» — стоит, капот задран, а рядом — у Вени больно екнуло сердце — вчерашний представительный мужчина. Веня почему-то растерялся, даже газ скинул... И когда представительный мужчина «голоснул» ему, Веня послушно остановился.

Мужчина поспешно подошел к кабине и заговорил:

— Подбрось, слушай... — И узнал Веню. — О-о, — сказал он, как показалось Вене, тоже несколько растерянно. — Старый знакомый!

— Садись! — пригласил Веня. Та некая растерянность, какую он уловил в глазах представительного мужчины, вмиг вселила в него какую-то нахальную веселость. — Припухаем?

Представительный мужчина легко сел в кабину и прямо и тоже весело посмотрел на Веню. И уже через минуту, как поехали, Веня усомнился — не показалось ли ему, что представительный мужчина поначалу словно растерялся?

— Ну, как? — спросил мужчина.

— Што?

— Настроение-то?.. Я думал, ты запьешь... так на недельку. Прямо скажу тебе, парень: счастливый билет ты вчера вытянул.

Веня молчал. Он не знал, что говорить. Не знал, как вести себя.

— С женой, конечно, развод? — понимающе спросил мужчина. И опять прямо посмотрел на Веню.

— Конечно, — Веню опять поразило, как вчера, на суде, что этот человек — такой... крепкий, что ли, умный, напористый, и при этом веселый.

— Эх, ребятки, ребятки... Беда с вами... Вот ведь и не скажешь, что жареный петух в зад не клевал, — и жил трудно, а одним махом взял и все перечеркнул: и семью разрушил, и репутация уже не та... Любил ведь жену-то?

Тут Веня чего-то вдруг обозлился.

— Не твое дело.

— Конечно, не мое! — воскликнул мужчина. — Твое. Твое, братец, твое. Было бы мое, моя бы душа и страдала. Только жалко вас, дураков, вот штука-то. Выпьете на пятак, а горя... на два восемьдесят семь. — Мужчина чуть колыхнул животом. — Неужели трезвому нельзя было поговорить? И жена-то ведь красивая, я вчера посмотрел. Жить бы да радоваться...

Веня на мгновение как бы ослеп — до глубины, до боли осознал вдруг: ведь потерял он Соньку-то! Совсем! И как в пропасть полетел, ужаснулся...

— А что это за кожаное пальто, где ты его хотел достать?

— Да там, в аймаке*, шьет один... — Веня смотрел вперед. Впереди был мост через Ушу. Широкий, длинный — Уша по весне разливается, как Волга. — На заказ.

— Из своего материала?

— Из своего.

— И сколько берет? — расспрашивал прокурор.

— По-разному. Я хотел рублей за сто шестьдесят. Если хорошее — дороже. — Веня вроде и не слышал вопросов, а отвечал верно.

— Что значит — хорошее?

* Местное название административных единиц (районов) в Республике Алтай, Бурятии, Монголии (прим. ред.).

— Ну, кожа другая, выделка другая... Разная бывает выделка.

— Ну, допустим, самую хорошую? То есть самую хорошую кожу, самой хорошей выделки. Сколько станет?

— Рублей, может, триста... Одному, говорит, за четыреста шил.

Машина въехала на мост.

— А где этот аймак? Далеко?

— Нет. — Странно: вроде Веня был один в кабине, и разговаривал сам с собой — такое было чувство.

— Адрес-то знаешь?

— Знаю адрес. Знаю... Эх! — крикнул вдруг Веня, как в пустоте, — громко. — А не ухнуть ли нам с моста?!

Он даванул газ и бросил руль... Машина прыгнула. Веня глянул на прокурора... И увидел его глаза — большие, белые от ужаса. И Веньке стало очень смешно, он засмеялся. А потом уж на него боком навалился прокурор и вцепился в руль. И так они и съехали с моста: Веня смеялся и давил газ, а прокурор рулил. А когда съехали с моста, Веня скинул газ и взял руль. И остановился.

Прокурор вылез из кабины... Глянул еще раз на Веньку. Он был еще бледный. Он хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Хлопнул дверцей.

Веня включил скорость и поехал. Он чего-то вдруг очень устал. И — хорошо, что он остался один в кабине, спокойнее как-то стало. Лучше.

1971

АЛЕША БЕСКОНВОЙНЫЙ

Его и звали-то — не Алеша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным. А звали его так вот за что: за редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспрельдно: пять дней в неделе он был безотказный работник, больше того — старательный работник, умелый (летом он пас колхозных коров, зимой был скотником — кочегарил на ферме, случалось — ночное дело — принимал телят), но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался. Два дня он не работал в колхозе: субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой порядок, все знали, что этот преподобный Алеша «сроду такой» — в субботу и в воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором, в третьем, в пятом... Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай — как об стенку горох. Хлопает глазами... «Ну, понял, Алеша?» — спросят. «Чего?» — «Да нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь! Ты же не на фабрике работаешь, ты же в сельском хозяйстве! Как же так-то? А?» — «Чего?» — «Брось дурачка из себя строить! Тебя русским языком спрашивают: будешь в субботу

работать?» — «Нет. Между прочим, насчет дурачка — я ведь могу тоже... дам в лоб разок, и ты мне никакой статьи за это не найдешь. Мы тоже законы знаем. Ты мне — оскорбление словом, я тебе — в лоб: считается — взаимность». Вот и поговори с ним. Он даже на собрания не ходил в субботу.

Что же он делал в субботу?

В субботу он топил баню. Все. Больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз, — по пять часов парился! С отдыхом, конечно, с перекуром... Но все равно — это же какой надо иметь организм! Конский?

В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня — суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел. Он даже не умывался, а шел сразу во двор — колоть дрова.

У него была своя наука — как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые, они дают после себя стойкий жар. Он колот их аккуратно, с наслаждением...

Вот, допустим, одна такая суббота.

Погода стояла как раз скучная — зябко было, сыро, ветрено — конец октября. Алеша такую погоду любил. Он еще ночью слышал, как пробрызнул дождик — постукало мягко, дробно в стекла окон — и перестало. Потом в верхнем правом углу дома, где всегда гудело, загудело — ветер наладился. И ставни пошли дергаться. Потом ветер поутих, но все равно утром еще потягивал — снеговой, холодный.

Алеша вышел с топором во двор и стал выбирать березовые кругляши на расколку. Холод полез под фуфайку... Но Алеша пошел махать топориком и согрелся.

Он выбирал из поленницы чурки потолще... Выберет, возьмет ее, как поросенка, на руки и несет к дровосеке.

— Ишь ты... какой, — говорил он ласково чурбаку. — Атаман какой... — Ставил этого «атамана» на широкий пень и тюкал по голове.

Скоро он так натюкал большой ворох... Долго стоял и смотрел на этот ворох. Белизна и сочность, и чистота сокровенная поленьев, и дух от них — свежий, нутряной, чуть стылый, лесовой...

Алеша стаскал их в баню, аккуратно склал возле каменки. Еще потом будет момент — разжигать, тоже милое дело. Алеша даже волновался, когда разжигал в каменке. Он вообще очень любил огонь.

Но надо еще наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алеша старался только поскорей натаскать. Так семеня ногами, когда нес на коромысле полные ведра, так выгибался длинной своей фигурой, чтобы не плескаться из ведер, смех смотреть. Бабы у колодца всегда смотрели. И переговаривались.

— Ты глянь, глянь, как пружинит! Чисто акробат!..

— И не плескает ведь!

— Да куда так несется-то?

— Ну, баню опять топит...

— Да рано же еще!

— Вот — весь день будет баней заниматься. Бесконвойный он и есть... Алеша.

Алеша наливал до краев котел, что в каменке, две большие кадки и еще в оцинкованную ванну, которую он купил лет пятнадцать назад, в которой по очереди перекупались все его младенцы. Теперь он ее приспособил в баню. И хорошо! Она стояла на полке, с краю, места много не занимала — не мешала париться, — а вода всегда под рукой. Когда Алеша особенно заходил на полке, когда на голове волосы трещали от жары, он курял голову прямо в эту ванну.

Алеша натаскал воды и сел на порожек поку- рить. Это тоже дорогая минута — посидеть поку- рить. Тут же Алеша любил оглядеться по своему хозяйству в предбаннике и в сарайчике, который пристроен к бане — продолжал предбанник. Чего только у него там не было! Старые литовки без че- ренков, старые грабли, вилы... Но был и верстачок, и был исправный инструмент: рубанок, ножовка, долота, стамески... Это все — на воскресенье, это завтра он тут будет упражняться.

В бане сумрачно и неудобно пока, но банный терпкий, холодный запах разбавился уже запахом березовых поленьев — тонким, еле уловимым — это предвестье скорого праздника. Сердце Алеши нет-нет да подмывает радость — подумает: «Сча-ас». Надо еще вымыть в бане: даже и этого не позволял делать Алеша жене — мыть. У него был заготовлен голичок, песочек в баночке... Алеша снял фуфай- ку, засучил рукава рубахи и пошел пластать, пошел драить. Все перемыл, все продрал голиком, окатил чистой водой и протер тряпкой. Тряпку ополоснул и повесил на сучок клена, клен рос рядом с баней. Ну, теперь можно и затопить. Алеша еще разок за- курил... Посмотрел на хмурое небо, на унылый да- лекий горизонт, на деревню... Ни у кого еще баня не топилась. Потом будут, к вечеру, — на скорую руку, кое-как, пых-пых... Будут глотать горький чад и париться. Напарится не напарится — угорит, придет, хлястнется на кровать, еле живой — и ду- мает, это баня. Хэх!.. Алеша бросил окурочок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошел топить.

Поленья в каменке он клал, как и все кладут: два — так, одно — так, поперек, а потом сверху. Но там — в той амбразуре-то, которая образуется-то, — там кладут обычно лучины, бумагу, керосином еще навадилась теперь облить, — там Алеша ни- чего не клал: то полено, которое клал поперек, он его посередке ершил топором, и все, и потом эти

заstrуги поджигал — загоралось. И вот это тоже очень волнующий момент — когда разгорается. Ах, славный момент! Алеша присел на корточки перед каменкой и неотрывно смотрел, как огонь, сперва маленький, робкий, трепетный, — все становится больше, все надежней. Алеша всегда много думал, глядя на огонь. Например: «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково... Да два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтоб люди прожили одинаково!» Или еще он сделал открытие: человек, помирая — в конце в самом, — так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому-нибудь лекарству!.. Это знают. Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься: откуда такая последняя сила?

Дрова хорошо разгорелись, теперь можно пойти чайку попить.

Алеша умылся из рукомойника, вытерся и с легкой душой пошел в дом.

Пока он занимался баней, ребятишки, один за одним, ушлепали в школу. Дверь — Алеша слышал — то и дело хлопала, и скрипели воротца. Алеша любил детей, но никто бы никогда так не подумал — что он любит детей, он не показывал. Иногда он подолгу внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж, правда что, стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся. Впереди много всякого будет — никаким умом вперед не скинешь. И они растут, карабаются. Будь на то Алешина воля, он бы еще пятерых смастерил, но жена устала.

Когда пили чай, поговорили с женой.

— Холодно как уж стало. Снег, гляди, выпадет,
— сказала жена.

— И выпадет. Оно бы и ничего, выпал-то, — на сырую землю.

— Затопил?

— Затопил.

— Кузьмовна заходила... Денег занять.

— Ну? Дала?

— Дала. До среды, говорит, а там, мол, за картошку получит...

— Ну и ладно. — Алеше нравилось, что у них можно, например, занять денег — все как-то повеселей в глаза людям смотришь. А то наладились: «Бесконвойный, Бесконвойный». Глупые. — Сколько попросила-то?

— Пятнадцать рублей. В среду, говорит, за картошку получим...

— Ну и ладно. Пойду продолжать.

Жена ничего не сказала на это, не сказала, что иди, мол, или еще чего в таком духе, но и другого чего — тоже не сказала. А раньше, бывало, говорила, до ругани дело доходило: надо то сделать, надо это сделать — не день же целый баню топить! Алеша и тут не уступил ни на волос: в субботу только баня. Все. Гори все синим огнем! Пропади все пропадом! «Что мне, душу свою на куски порезать?!» — кричал тогда Алеша не своим голосом. И это испугало Таисью, жену. Дело в том, что старший брат Алеша, Иван, вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная: тоже чего-то ругались, ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать: «Да до каких же я пор буду мучиться-то?! До каких?! До каких?!» Дура-жена вместо того, чтобы успокоить его, взяла да еще подъелдыкнула: «Давай, давай... Сильней! Ну-ка, лоб крепче или стенка?» Иван сгреб ружье... Жена брякнулась в обморок, а Иван полыхнул себе в грудь.

Двое детей осталось. Тогда-то Таисью и предупредили: «Смотри... а то — не в роду ли это у их». И Таисья отступилась.

Напившись чаю, Алеша покурил в тепле, возле печки, и пошел опять в баню.

А баня всюю топилась.

Из двери ровно и сильно, похоже, как река заворачивает, валил, плавно загибаясь кверху, дым. Это первая пора, потом, когда в каменке накопится больше жару, дыму станет меньше. Важно вовремя еще подкинуть: чтоб и не на угли уже, но и не набить тесно — огню нужен простор. Надо, чтоб горело вольно, обильно, во всех углах сразу. Алеша подлез под поток дыма к каменке, сел на пол и несколько времени сидел, глядя в горячий огонь. Пол уже маленько нагрелся, парит; лицо и коленки достает жаром, надо прикрываться. Да и сидеть тут сейчас нежелательно: можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил головешки и вылез из бани. Дел еще много: надо заготовить веник, надо керосину налить в фонарь, надо веток сосновых наготовить... Напевая негромко нечто неопределенное — без слов, голосом, Алеша слазал на потолок бани, выбрал там с жердочки веник поплотнее, потом наскочил на дровосеке сосновых лап — поровней, без сучков, сложил кучкой в предбаннике. Так, это есть. Что еще? Фонарь!.. Алеша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал — надо долить. Есть, но... чтоб уж потом ни о чем не думать, Алеша все напевал... Какой желанный покой на душе, господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался, даже денег займы взяли... Жизнь: когда же самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеша воевал, был ранен, поправился, довоевал и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел — тошно. И удивительно на людей — сидят смотрят! Никто бы не поверил, но Алеша серьезно вдумывался в жизнь: что в ней за тайна, надо ее жалеть, например, или

можно помирать спокойно — ничего тут такого особенного не осталось? Он даже напрягал свой ум так: вроде он залетел — высоко-высоко — и оттуда глядит на землю... Но понятней не становилось: представлял своих коров на поскотине — маленькие, как букашки... А про людей, про их жизнь озарения не было. Не озаряло. Как все же: надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг да потом, в последний момент, как заорешь — что вовсе не так жил, не то делал? Или так не бывает? Помирают же другие — ничего: тихо, мирно. Ну, жалко, конечно, грустно: не так уж тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо, — вспоминал он один момент своей жизни. Вот какой. Ехал он с войны... Дорога дальняя — через всю почти страну. Но ехали звонко — так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, еще за Уралом, к Алеше подошла на перроне молодая женщина и сказала:

— Слушай, солдат, возьми меня — вроде я твоя сестра... Вроде мы случайно здесь встретились. Мне срочно ехать надо, а никак не могу уехать.

Женщина тыловая, довольно гладкая, с родинкой на шее, с крашеными губами... Одета хорошо. Ротик маленький, пушок на верхней губе. Смотрит — вроде пальцами трогает Алешу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит, ласково. Алеша за всю войну не коснулся ни одной бабы... Да и до войны-то тоже — горе: на вечеринках только целовался с девками. И все. А эта стоит, смотрит странно... У Алеши так заломило сердце, так он взволновался, что и оглох, и рот свело.

Но, однако, поехали.

Солдаты в вагоне тоже было взволновались, но эта, ласковая-то, так прилипла к Алеше, что и подступаться как-то неловко. А ей ехать близко, оказывается: через два перегона она уже и приехала. А дело к вечеру. Она грустно так говорит:

— Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь. Прямо не знаю, что делать...

— А кто дома-то? — разлепил рот Алеша.

— Да никого, одна я.

— Ну, так я провожу, — сказал Алеша.

— А как же ты? — удивилась и обрадовалась женщина.

— Завтра другим эшелоном поеду... Мало их!

— Да, их тут каждый день едет... — согласилась она.

И они пошли к ней домой. Алеша захватил, что вез с собой: две пары сапог офицерских, офицерскую же гимнастерку, ковер немецкий, и они пошли. И этот-то путь до ее дома, и ночь ту грешную и вспоминал Алеша. Страшная сила — радость не радость — жар и немота, и ужас сковали Алешу, пока шли они с этой ласковой... Так было томительно и тяжело, будто прогретое за день июньское небо — опустилось, и Алеша еле передвигал пудовые ноги, и дышалось с трудом, и в голове все сплюснулось. Но и теперь все до мелочи помнил Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку... Алеша помнил, какая у нее была рука — мяконецкая, теплая под шершавеньким крепдешинном. Какого цвета платье было на ней, он, правда, не помнил, но колючечки остренькие этого крепдешина, некую его теплую шершавость он всегда помнил, и теперь помнит. Он какой-то и колючий, и скользкий, этот крепдешин. И часики у нее на руке помнил Алеша — маленькие (трофейные), узенький ремешок врезался в мякоть руки. Вот то-то и оглушило тогда, что женщина сама — просто, доверчиво — взяла его под руку и пошла потом прикасаться боком своим мяконецким к нему... И тепло это — под рукой ее — помнил же. Да... Ну, была ночь. Утром Алеша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Потом уж, когда Алеша ехал в вагоне (документы она не взяла), он сообразил, что она тем и промышляла, что

встречала эшелоны и выбирала солдатиков поглубей. Но вот штука-то — спроси она тогда утром: отдай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимнастерку, отдай сапоги — все отдал бы. Может, пару сапог оставил бы себе.

Вот ту Алю крепдешиновую и вспоминал Алеша, когда оставался сам с собой, и усмехался. Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случай, а он ее любил, Алю-то. Вот как.

Дровишки прогорели... Гора, золотая, горячая, так и дышала, так и валил жар. Огненный зев нет-нет да схватывал синий огонек... Вот он — угар. Ну, давай теперь накаляйся все тут — стены, полки, лавки... Потом не притронешься.

Алеша накидал на пол сосновых лап — такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал, — славно! Алеша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор... Сунулся опять в баню — нет, угарно.

Алеша пошел в дом.

— Давай бельишко, — сказал жене, стараясь скрыть свою радость — она почему-то всех раздражала, эта его радость субботняя. Черт их тоже поймет, людей: сами ворочают глупость за глупостью, не вылезают из глупостей, а тут, видите ли, удивляются, фыркают, не понимают.

Жена Таисья молчком открыла ящик, усунулась под крышку... Это вторая жена Алеша. Первая, Соня Полосухина, умерла. От нее детей не было. Алеша меньше всего про них думал: и про Соню, и про Таисью. Он разболочка до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав поближе к себе босые ноги, испытывая в этом положении некую приятность. Еще бы закурить... Но курить дома он отвык давно уж — как пошли детишки.

— Зачем Кузьмовне деньги-то понадобились? — спросил Алеша.

— Не знаю. Да кончились — от и понадобились. Хлеба небось не на что купить.

— Много они картошки-то сдали?

— Вова два отвезли... Кулей двадцать.

— Огребут денюжат!

— Огребут. Все копят... Думаешь, у их на книжке нету?

— Как так нету! У Соловьевых да нету!

— Кальсоны-то потеплей дать? Или бумажные пока?..

— Давай бумажные, пока еще не так нижеет*.

— На.

Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас в бане.

— Так... Ну, ладно.

— У Кольки ангина опять.

— Зачем же в школу отпустила?

— Ну... — Таисья сама не знала, зачем отпустила. — Чего будет пропускать. И так-то учится — через пень колоду.

— Да... — Странно, Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей, даже когда они тяжело болели, — не думал о плохом. Просто как-то не приходила эта мысль. И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алеша, чтоб дети его выучились, уехали бы в большой город и возвысились там до почета и уважения. А уж летом приезжали бы сюда, в деревню, Алеша суетился бы возле них — возле их жен, мужей, детишек ихних... Ведь никто же не знает, какой Алеша добрый человек, заботливый, а вот те, городские-то, сразу бы это заметили. Внучатки бы тут бегали по ограде... Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков — вот уж упрямый народишко! И возьми даже своих ученых людей — агрономов, учителей: нет зазнавитее человека, чем свой, деревенский же, но который

* Низать — холодать (диал.) (прим. ред.)

выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идет, она же никого не видит! Какого бы она малого росточка ни была, а все норовит выше людей глядеть. Городские, те как-то умеют, собаки, и культуру свою показать, и никого не унижить. Он с тобой, наоборот, первый поздоровается.

— Так... Ну, ладно, — сказал Алеша. — Пойду.

И Алеша пошел в баню.

Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шел медленно, чтоб озябнуть. Еще находил какое-нибудь заделье по пути: собачью цепь распутает, пойдет воротца хорошенько прикроет... Это чтоб покрепче озябнуть.

В предбаннике Алеша разделся донага, мельком оглядел себя — ничего, крепкий еще мужик. А уж сердце заныло — в баню хочет. Алеша усмехнулся на свое нетерпение. Еще побыл маленько в предбаннике... Кожа покрылась пупырышками, как тот самый крепдешин, хэ-х... Язвы тебя в душу, чего только в жизни не бывает! Вот за что и любил Алеша субботу: в субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие же такие великие ценности отдавать вам эту субботу? А?

*Догоню, догоню, догоню,
Хабибу догоню!.. —*

пропел Алеша негромко, открыл дверь и ступил в баню.

Эх, жизнь!.. Была в селе общая баня, и Алеша сходил туда разок — для ощущения. Смех и грех! Там как раз цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, а они тоже ругаются: «Вы не понимаете, что такое баня!» Они — понимают! Хотя, впрочем, в такой-то бане, как общая-то, только пиво и пить сидеть. Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо еще не в субботу

ходил; в субботу истопил свою и смыл к чертовой матери все воспоминания об общественной бане.

...И пошла тут жизнь — вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая — до краев дорога и родная. Пошел Алеша двигать тазы, ведра... — стал налаживать маленький Ташкент. Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу, мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность — жизнь стала понятной. То есть она была рядом, за окошечком бани, но Алеша стал недосыгаем для нее, для ее суетни и злости, он стал большой и снисходительный. И любил Алеша — от полноты и покоя — попеть пока, пока еще не наладился париться. Наливал в тазик воду, слушал небесно-чистый звук струи и незаметно для себя пел негромко. Песен он не знал: помнил только кое-какие деревенские частушки да обрывки песен, которые пели дети дома. В бане он любил помурлыкать частушки.

*Погляжу я по народу —
Нет моего милого, —*

спел Алеша, зачерпнул еще воды.

*Кучерявый чуб большой,
Как у Ворошилова.*

И еще зачерпнул, еще спел:

*Истопила мама баню,
Посылает париться.
Мне, мамаша, не до бани —
Миленький венчается.*

Навел Алеша воды в тазике... А в другой таз, с кипятком, положил пока веник — распаривать. Стал мыться... Мылся долго, с остановками. Сидел на теплом полу, на ветках, плескался и мурлыкал себе:

*Я сама иду дорогой,
Моя дума — стороной.
Рано, милый, похвалился,
Что я буду за тобой.*

И точно плывет он по речке — плавной и теплой, а плывет как-то странно и хорошо — сидя. И струи теплые прямо где-то у сердца.

Потом Алеша полежал на полке — просто так. И вдруг подумал: а что, вытянусь вот так вот когда-нибудь... Алеша даже и руки сложил на груди, и полежал так малое время. Напрягся было, чтоб увидеть себя, подобного, в гробу. И уже что-то такое начало мерещиться — подушка вдавленная, новый пиджак... Но душа воспротивилась дальше, Алеша встал и, испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой. И для бодрости еще спел:

*Эх, догоню, догоню, догоню,
Хабибу до-го-ню!*

Ну ее к черту! Придет — придет, чего раньше времени тренироваться! Странно, однако же: на войне Алеша совсем не думал про смерть — не боялся. Нет, конечно, укрывался от нее, как мог, но в такие вот подробности не входил. Ну ее к лешему! Придет — придет, никуда не денешься. Дело не в этом. Дело в том, что этот праздник на земле — это вообще не праздник, не надо его и понимать, как праздник, не надо его и ждать, а надо спокойно все принимать и «не суетиться перед клиентом». Алеша недавно услышал анекдот о том, как опытная сводня учила в бардаке своих девок: «Главное, не суетиться перед клиентом». Долго Алеша смеялся и думал: «Верно, суетимся много перед клиентом». Хорошо на земле, правда, но и прыгать козлом — чего же? Между прочим, куда радостней бывает, когда радость эту не ждешь, не готовишься к ней. Суббота — это другое дело, субботу он как раз ждет всю неделю. Но вот

бывает: плохо с утра, вот что-то противно, а выйдешь с коровами за село, выглянет солнышко, загорится какой-нибудь куст тихим огнем сверху... И так вдруг обогреет тебя нежданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не заметишь, что стоишь и улыбаешься. Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день... То есть он вполне понимал, что он — любит. Стал случаться покой в душе — стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любил все больше и больше.

Так думал Алеша, а пока он так думал, руки деляли. Он вынул распаренный душистый веник из таза, сполоснул тот таз, навел в нем воды попрохладней... Дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на каменку — первый, пробный. Каменка ахнула и пошла шипеть и клубиться. Жар вцепился в уши, полез в горло... Алеша присел, переждал первый натиск и потом только взобрался на полку. Чтобы доски полка не поджигали бока и спину, окатил их водой из тазика. И зашуршал веничком по телу. Вся-то ошибка людей, что они сразу начинают что есть силы охаживать себя веником. Надо сперва почесать себя — походить веником вдоль спины, по бокам, по рукам, по ногам... Чтобы он шепотком, шепотком, шепотком пока. Алеша искусно это делал: он мелко тряс веник возле тела, и листочки его, точно маленькие горячие ладошки, касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет. Он ополоснулся, полежал... Кинул на каменку еще полковша, подержал веник над каменкой, над паром и поприкладывал его к бокам, под коленки, к пояснице... Спустился с полка, приоткрыл дверь и присел на скамеечку покурить. Сейчас даже малые остатки угарного газа, если они есть, уйдут с первым сырым паром. Каменка обсох-

нет, камни снова накалятся, и тогда можно будет париться без опаски и вволю. Так-то, милые люди.

...Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил. Скинул калоши у порога и по свежим половичкам прошел в горницу. И прилег на кровать. Он не слышал своего тела, мир вокруг покачивался согласно сердцу.

В горнице сидел старший сын Борис, читал книгу.

— С легким паром! — сказал Борис.

— Ничего, — ответил Алеша, глядя перед собой. — Иди в баню-то.

— Сейчас пойду.

Борис, сын, с некоторых пор стал — не то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли, — стал как-то переживать, что отец его — скотник и пастух. Алеша заметил это и молчал. По первости его глубоко обидело такое, но потом он раздумался и не показал даже вида, что заметил перемену в сыне. От молодости это, от больших устремлений. Пусть. Зато парень вымахал рослый, красивый, может, бог даст, и умишком возьмет. Хорошо бы. Вишь, стыдится, что отец — пастух... Эх, милый! Ну, давай, давай — целься повыше, глядишь, куда-нибудь и попадешь. Учится хорошо. Мать говорила, что уж и девчонку какую-то провожает... Все нормально. Удивительно вообще-то, но все нормально.

— Иди в баню-то, — сказал Алеша.

— Жарко там?

— Да теперь уж какой жар!.. Хорошо. Ну, жарко покажется, открой отдушину.

Так и не приучил Алеша сыновей париться: не хотят. В материну породу, в Коростылевых.

Он пошел собираться в баню, а Алеша продолжал лежать.

Вошла жена, склонилась опять над ящиком — достать белье сыну.

— Помнишь, — сказал Алеша, — Маня у нас, когда маленькая была, стишок сочинила:

*Белая березка
Стоит под дождем,
Зеленый лопух ее накроет,
Будет там березке тепло и хорошо.*

Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алешу... Какое-то малое время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, уснула опять в сундук, откуда тянуло нафталином. Достала белье, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу.

— Ну и что? — спросила она.

— Что?

— Стишок-то сочинила... К чему ты?

— Да смешной, мол, стишок-то.

Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить теперь время на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась.

— Боровишку-то загнать надо да дать ему — я намешала там. Я пойду ребятишек в баню собирать. Отдохни да сходи приберись.

— Ладно.

Баня кончилась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась.

1973

ОСЕНЬЮ

Паромщик Филипп Тюрин дослушал последние известия по радио, поторчал еще за столом, помолчал строго...

— Никак не могут уняться! — сказал он сердито.

— Кого ты опять? — спросила жена Филиппа, высокая старуха с мужскими руками и с мужским басовитым голосом.

— Бомбят! — Филипп кивнул на репродуктор.

— Кого бомбят?

— Вьетнамцев-то.

Старуха не одобряла в муже его увлечение политикой, больше того, это дурацкое увлечение раздражало ее. Бывало, что они всерьез ругались из-за политики, но сейчас старухе не хотелось ругаться — некогда, она собиралась на базар.

Филипп, строгий, сосредоточенный, оделся потеплее и пошел к парому.

Паромщиком он давно, с войны. Его ранило в голову, в наклон работать — плотничать — он больше не мог, он пошел паромщиком.

Был конец сентября, дуло после дождей, наносило мразь и холод. Под ногами чавкало. Из репродуктора у сельмага звучала физзарядка, ветер трепал обрывки музыки и бодрого московского голоса. Свинячий визг по селу и крик петухов был устойчивей, пронзительней.

Встречные односельчане здоровались с Филиппом кивком головы и поспешали дальше — к сельмагу за хлебом или к автобусу, тоже на базар торопились.

Филипп привык утрами проделывать этот путь — от дома до парома, совершал его бездумно. То есть он думал о чем-нибудь, но никак не о пароме или о том, например, кого он будет переправлять целый день. Тут все понятно. Он сейчас думал, как унять этих американцев с войной. Он удивлялся, но никого не спрашивал: почему их не двинут нашими ракетами? Можно же за пару дней все решить. Филипп смолоду был очень активен. Активно включился в новую жизнь, активничал с колхозами... Не раскулачивал, правда, но спорил и кричал много — убеждал недоверчивых, волновался. Партийцем он тоже не был, как-то об этом ни разу не зашел разговор с ответственными товарищами, но зато ответственные никогда без Филиппа не обходились: он им от души помогал. Он втайне гордился, что без него никак не могут обойтись. Нравилось накануне выборов, например, обсуждать в сельсовете с приезжими товарищами, как лучше провести выборы: кому доставить урну домой, а кто сам придет, только надо сбегать утром напомнить... А были и такие, что начинали артачиться: «Они мне коня много давали — я просил за дровами?..» Филипп прямо в изумление приходил от таких слов. «Да ты что, Егор, — говорил он мужику, — да рази можно сравнивать?! Вот дак раз! Тут — политическое дело, а ты с каким-то конем: спутал телятину с...» И носился по селу, доказывал. И ему тоже доказывали, с ним охотно спорили, не обижались на него, а говорили: «Ты им скажи там...» Филипп чувствовал важность момента, волновался, переживал. «Ну народ! — думал он, весь объятый заботами большого дела. — Обормоты дремучие». С годами

активность Филиппа слабела, а тут его в голову-то шваркнуло — не по силам стало активничать и волноваться. Но он по-прежнему все общественные вопросы принимал близко к сердцу, беспокоился.

На реке ветер похаживал добрый. Стегал и толкался... Канаты гудели. Но хоть выглянуло солнышко, и то хорошо.

Филипп сплавал туда-сюда, перевез самых нетерпеливых, дальше пошло легче, без нервов. И Филипп наладился было опять думать про американцев, но тут подъехала свадьба... Такая — нынешняя: на легковых, с лентами, с шарами. В деревне теперь тоже завели такую моду. Подъехали три машины... Свадьба выгрузилась на берегу, шумная, чуть хмельная... весьма и весьма показушная, хвастливая. Хоть и мода — на машинах-то, с лентами-то, — но еще редко, еще не все могли достать машины.

Филипп с интересом смотрел на свадьбу. Людей этих он не знал — нездешние, в гости куда-то едут. Очень выламывался один дядя в шляпе... Похоже, что это он добыл машины. Ему все хотелось, чтоб получился размах, удадь. Заставил баяниста играть на пароме, первый пустился в пляс — покрикивал, дробил ногами, смотрел орлом. Только на него-то и смотреть было неловко, стыдно. Стыдно было жениху с невестой — они трезвее других, совестливее. Уж он кобенился-кобенился, этот дядя в шляпе, никого не заразил своим деланным весельем, устал... Паром переплыл, машины съехали, и свадьба укатила дальше.

А Филипп стал думать про свою жизнь. Вот как у него случилось в молодости с женитьбой. Была в их селе девка Марья Ермилова, красавица. Круглолицая, румяная, приветливая... Загляденье. О такой невесте можно только мечтать на полатях. Филипп очень любил ее, и Марья тоже его любила — дело шло к свадьбе. Но связался Филипп с комсомольцами... И опять

же: сам комсомольцем не был, но кричал и ниспровергал все наравне с ними. Нравилось Филиппу, что комсомольцы восстали против стариков сельских, против их засилья. Было такое дело: поднялся весь молодой сознательный народ против церковных браков. Неслыханное творилось... Старики ничего сделать не могут, злятся, хватаются за бичи — хоть бичами, да исправить молокососов, но только хуже толкают их к упорству. Веселое было время. Филипп, конечно, — тут как тут: тоже против венчанья. А Марья — нет, не против: у Марьи мать с отцом крепкие, да и сама она окончательно выпряглась из передовых рядов: хочет венчаться. Филипп очутился в тяжелом положении. Он уговаривал Марью всячески (он говорить был мастер, за это, наверно, и любила его Марья — искусство редкое на селе), убеждал, сокрушал темноту деревенскую, читал ей статьи разные, фельетоны, зубоскалил с болью в сердце... Марья ни в какую: венчаться, и все. Теперь, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сгруппил. Расстались они с Марьей. Филипп не изменился потом, никогда не жалел и теперь не жалеет, что посильно, как мог участвовал в переустройстве жизни, а Марью жалел. Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. Не было дня, чтобы он не вспомнил Марью. По первости было так тяжело, что хотел руки на себя наложить. И с годами боль не ушла. Уже была семья — по правилам гражданского брака, — детишки были... А болело и болело по Марье сердце. Жена его, Фекла Кузовникова, когда обнаружила у Филиппа эту его постоянную печаль, возненавидела Филиппа. И эта глубокая тихая ненависть тоже стала жить в ней постоянно. Филипп не ненавидел Феклу, нет... Но вот на войне, например, когда говорили: «Вы защищаете ваших матерей, жен...» — Филипп вместо Феклы видел мысленно Марью. И если бы случилось погибнуть, то и погиб бы он с мыслью о Марье. Боль не ушла с годами, но, конечно, не жгла

так, как жгла первые женатые годы. Между прочим, он тогда и говорить стал меньше. Активничал по-прежнему, говорил, потому что надо было убеждать людей, но все как будто вылезал из своей большой горькой думы. Задумается-задумается, потом спохватится — и опять вразумлять людей, опять раскрывать им глаза на новое, небывалое. А Марья тогда... Марью тогда увезли из села. Зазнал ее какой-то (не какой-то, Филипп потом с ним много раз встречался) богатый парень из Краюшкина, приехали, со сватами и увезли. Конечно, венчались. Филипп, спустя год, спросил у Павла, мужа Марьи: «Не совестно было? В церкву-то поперся...» На что Павел сделал вид, что удивился, потом сказал: «А чего мне совестно-то должно быть?» — «Старикам-то поддался». — «Я не поддался, — сказал Павел, — я сам хотел венчаться». — «Вот я и спрашиваю, — растерялся Филипп, — не совестно? Старикам уж простительно, а вы-то?... Мы же так никогда из темноты не вылезем». На это Павел заматерился. Сказал: «Пошли вы!..» И не стал больше разговаривать. Но что заметил Филипп: при встречах с ним Павел смотрел на него с какой-то затаенной злостью, с болью даже, как если бы хотел что-то понять и никак понять не мог. Дошел слух, что живут они с Марьей неважно, что Марья тоскует. Филиппу этого только не хватало: запил даже от нахлынувшей новой боли, но потом пить бросил и жил так — носил постоянно в себе эту боль-змею, и кусала она его и кусала, но притерпелся.

Такие-то невеселые мысли вызвала к жизни эта свадьба на машинах. С этими мыслями Филипп еще поплавал туда-сюда, подумал, что надо, пожалуй, выпить в обед стакан водки — ветер пронизывал до костей, и душа чего-то заскулила. Заныла прямо, затревожилась.

«Раза два еще сплаваю и пойду на обед», — решил Филипп.

Подплывая к чужому берегу (у Филиппа был свой берег, где его родное село, и чужой), он увидел крытую машину и кучку людей около машины. Опытный глаз Филиппа сразу угадал, что это за машина и кого она везет в кузове: покойника. Люди возят покойников одинаково: у парома всегда вылезут из кузова, от гроба, и так как-то стоят и смотрят на реку, и молчат, что сразу все ясно.

«Кого же это? — думал Филипп, вглядываясь в людей. — Из какой-нибудь деревни, что вверх по реке, потому что не слышно было, чтобы кто-то поблизости номер. Только почему же — откуда-то везут? Не дома, что ли, помер, а домой хоронить везут?»

Когда паром подплыл ближе к берегу, Филипп узнал в одном из стоявших у машины Павла, Марьиного мужа. И вдруг Филипп понял, кого везут... Марью везут. Вспомнил, что в начале лета Марья ехала к дочери в город. Они поговорили с Филиппом, пока плыли. Марья сказала, что у дочери в городе родился ребенок, надо помочь пока. Поговорили тогда хорошо. Марья рассказала, что живут они ничего, хорошо, дети (трое) все пристроились, сама она получает пенсию, Павел тоже получает пенсию, но еще работает, столярничает помаленьку на дому. Скота много не держат, но так-то все есть... Индюшек наладились держать. Дом вот перебрали в прошлом году: сыновья приезжали, помогли. Филипп тоже рассказал, что тоже все хорошо пока, пенсию тоже получает, здоровьишком пока не жалуется, хотя к погоде голова побаливает. А Марья сказала, что у нее сердце чего-то... Мается сердцем. То ничего-ничего, а то как сожмет, сдавит... Ночью бывает: как заломит-заломит, хоть плачь. И вот, видно, конец Марье... Филипп, как узнал Павла, так ахнул про себя. В жар кинуло.

Паром стукнулся о шаткий припаромок (причал). Вдели цепи с парома в кольца припаромка,

заклячили ломиками... Крытая машина пробовала уже передними колесами бревна припаромка, бревна хлябали, трещали, скрипели...

Филипп, как замороженный, стоял у своего весла, смотрел на машину. Господи, господи, Марью везут, Марью... Филиппу полагалось показать шоферу, как ставить на пароме машину, потому что сзади еще заруливали две, но он как прирос к месту, все смотрел на машину, на кузов.

— Где ставить-то?! — крикнул шофер.

— А?

— Где, мол, ставить-то?

— Да ставь... — Филипп неопределенно махнул рукой. Все же никак он не мог целиком осознать, что везут мертвую Марью... Мысли вихлялись в голове, не собирались воедино, в скорбный круг. То он вспоминал Марью, как она рассказывала ему вот тут, на пароме, что живут они хорошо... То молодой ее видел, как она... Господи, господи... Марья... Да ты ли это?

Филипп отодрал наконец ноги с места, подошел к Павлу.

Павла жизнь скособочила. Лицо еще свежее, глаза умные, ясные, а осанки никакой. И в глазах умных большая спокойная грусть.

— Что, Павел?.. — спросил Филипп.

Павел мельком глянул на него, не понял вроде, о чем его спросили, опять стал смотреть вниз, в доски парома. Филиппу неловко было еще спрашивать... Он вернулся опять к веслу. А когда шел, то обошел крытую машину с задка кузова, заглянул туда — гроб. И открыто заболело сердце, и мысли собрались воедино: да, Марья.

Поплыли. Филипп машинально водил рулевым веслом и все думал: «Марьюшка, Марья...» Самый дорогой человек плывет с ним последний раз... Все эти тридцать лет, как он паромщиком, он на-

перечет знал, сколько раз Марья переплывала на пароме. В основном все к детям ездила в город: то они учились там, то устраивались, то когда у них детишки пошли... И вот — нету Марьи.

Паром подвалил к этому берегу. Опять зазвякали цепи, взвыли моторы... Филипп опять стоял у весла и смотрел на крытую машину. Непостижимо... Никогда в своей жизни он не подумал: что, если Марья умрет? Ни разу так не подумал. Вот уж к чему не готов был, к ее смерти. Когда крытая машина стала съезжать с парома, Филипп ощутил нестерпимую боль в груди. Охватило беспокойство: что-то он должен сделать? Ведь увезут сейчас. Совсем. Ведь нельзя же так: проводил глазами, и все. Как же так? И беспокойство все больше овладевало им, а он не трогался с места, и от этого становилось вовсе не по себе.

«Да проститься же надо было!.. — понял он, когда крытая машина взбиралась уже на взвоз. — Хоть проститься-то!.. Хоть посмотреть-то последний раз. Гроб-то еще не заколочен, посмотреть-то можно же!» И почудилось Филиппу, что эти люди, которые провезли мимо него Марью, что они не должны так сделать — провезти, и все. Ведь, если чье это горе, так больше всего — его горе. В гробу-то Марья. Куда же они ее?.. И опрокинулось на Филиппа все не изжитое жизнью, не истребленное временем, не забытое, дорогое до боли... Вся жизнь долгая стояла перед лицом — самое главное, самое нужное, чем он жив был... Он не замечал, что плачет. Смотрел вслед чудовищной машине, где гроб... Машина поднялась на взвоз и уехала в улицу, скрылась. Вот теперь жизнь пойдет как-то иначе: он привык, что на земле есть Марья. Трудно бывало, тяжело — он вспоминал Марью и не знал сиротства. Как же теперь-то будет? Господи, пустота какая, боль какая!

Филипп быстро сошел с парома: последняя машина, только что съехавшая, замешкалась чего-то... Филипп подошел к шоферу.

— Догони-ка крытую... с гробом, — попросил он, залезая в кабину.

— А чего?... Зачем?

— Надо.

Шофер посмотрел на Филиппа, ничего больше не спросил, поехали.

Пока ехали по селу, шофер несколько раз приставивался сбоку к Филиппу.

— Это краюшкинские, что ли? — спросил он, кивнув на крытую машину впереди.

Филипп молча кивнул.

— Родня, что ли? — еще спросил шофер.

Филипп ничего на это не сказал. Он опять смотрел во все глаза на крытый кузов. Отсюда виден был гроб посередке кузова... Люди, которые сидели по бокам кузова, вдруг опять показались Филиппу чуждыми — и ему, и этому гробу. С какой стати они-то там? Ведь в гробу Марья.

— Обогнать, что ли? — спросил шофер.

— Обгони... И ссади меня.

Обогнали фургон... Филипп вылез из кабины и поднял руку. И сердце запрыгало, как будто тут сейчас должно что-то случиться такое, что всем, и Филиппу тоже, станет ясно: кто такая ему была Марья. Не знал он, что случится, не знал, какие слова скажет, когда машина с гробом остановится... Так хотелось посмотреть Марью, так это нужно было, важно. Нельзя же, чтобы она так и уехала, ведь и у него тоже жизнь прошла, и тоже никого не будет теперь...

Машина остановилась.

Филипп зашел сзади... Взвесься за борт руками и полез по железной этой короткой лесенке, которая внизу кузова.

— Павел... — сказал он просительно и сам не узнал своего голоса: так просительно он не собирался говорить. — Дай я попрощаюсь с ней... Открой, хоть гляну.

Павел вдруг резко встал и шагнул к нему... Филипп успел близко увидеть его лицо... Изменившееся лицо, глаза, в которых давеча стояла грусть, теперь они вдруг сделались злые...

— Иди отсюда! — негромко, жестоко сказал Павел. И толкнул Филиппа в грудь. Филипп не ждал этого, чуть не упал, удержался, вцепившись в кузов. — Иди!.. — закричал Павел. И еще толкнул, и еще — да сильно толкал. Филипп изо всех сил держался за кузов, смотрел на Павла, не узнавал его. И ничего не понимал.

— Э, э, чего вы? — всполошились в кузове. Молодой мужчина, сын, наверно, взял Павла за плечи и повлек в кузов. — Что ты? Что с тобой?

— Пусть уходит! — совсем зло говорил Павел. — Пусть он уходит отсюда!.. Я те посмотрю. Приполз... гадина какая. Уходи! Уходи!.. — Павел затопал ногой. Он как будто взбесился с горя.

Филипп слез с кузова. Теперь-то он понимал, что с Павлом. Он тоже зло смотрел снизу на него. И говорил, сам не сознавая, что говорит, но, оказывается, слова эти жили в нем готовые:

— Что, горько?.. Захапал чужое-то, а — горько. Радовался тогда?..

— Ты зато много порадовался! — сказал из кузова Павел. А то я не знаю, как ты радовался!..

— Вот как на чужом-то несчастье свою жизнь строить, — продолжал Филипп, не слушая, что ему говорят из кузова. Важно было успеть сказать свое, очень важно. — Думал, будешь жить припеваючи? Не-ет, так не бывает. Вот я теперь вижу, как тебе все это досталось...

— Много ли ты-то припевал? Ты-то... Сам-то... Самого-то чего в такую дугу согнуло? Если хорошо-то жил — чего же согнулся? От хорошей жизни?

— Радовался тогда? Вот — нарадовался... Побирושка. Ты же побирושка!

— Да что вы?! — рассердился молодой мужчина. — С ума, что ли, сошли!.. Нашли время.

Машина поехала. Павел еще успел крикнуть из кузова:

— Я побирושка!.. А ты скулил всю жизнь, как пес, за воротами! Не я побирושка-то, а ты!

Филипп медленно пошел назад.

«Марья, — думал он, — эх, Марья, Марья... Вот как ты жизнь-то всем перекосила. Полаялись вот — два дурака... Обои мы с тобой побирושки, Павел, не трепыхайся. Если ты не побирושка, то чего же злишься? Чего бы злиться-то? Отломил смолоду кусок счастья — живи да радуйся. А ты радости-то тоже не знал. Не любила она тебя, вот у тебя горе-то и полезло горлом теперь. Нечего было и хватать тогда. А то приехал — раз, два — увезли!.. Обрадовались».

Горько было Филиппу... Но теперь к горькой горечи этой примешалась еще досада на Марью.

«Тоже хороша: нет, подождать — заусилась в Краюшкино! Прямо уж нетерпеж какой-то. Тоже толку-то было... И чего вот теперь?..»

— Теперь уж чего... — сказал себе Филипп окончательно. — Теперь ничего. Надо как-нибудь дожить... Да тоже собираться — следом. Ничего теперь не воротишь.

Ветер заметно поослаб, небо очистилось, солнце осветило, а холодно было. Голо как-то кругом и холодно. Да и то осень, с чего теплу-то быть?

1973

МУЖИК ДЕРЯБИН

Мужику Дерябину Афанасию — за шестьдесят, но он еще сам покрыл оцинкованной жестию дом, и дом его теперь блестел под солнцем, как белый самовар на шестке. Ловкий, жилистый мужичок, проворный и себе на уме. Раньше других в селе смекнул, что детей надо учить, всех (у него их трое — два сына и дочь) довел до десятилетки, все потом окончили институты и теперь на хороших местах в городе. Сам он больше по хозяйству у себя орудует, иногда, в страдную пору, поможет, правда, по ремонту в РТС.

Раз как-то сидели они со стариком Ваниным в ограде у Дерябина и разговорились: почему их переулок называется Николашкин. А переулок тот небольшой, от оврага, где село кончается, боком выходит на главную улицу, на Колхозную. И крайний дом у оврага как раз дерябинский. И вот разговорились... Да особо много-то и не говорили.

— А ты рази не знаешь? — удивился старик Ванин. — Да поп-то жил, отец Николай-то. Ведь его дом-то вон он стоял, за твоим огородом. Его... когда отца Николая-то сослали, дом-то разобрали да в МТС перевезли. Контора-то в МТС — это ж...

— А а, ну, ну... верно же! — вспомнил и Дерябин. — Дом то, правда, без меня ломали — я на курсах был...

— Ну, вот и — Николашкин.

— А я думаю: пошто Николашкин?

— Николашка... Его так-то — отец Николай, а народишко, он ить какой — все пересобачит: Николашка и Николашка. Так и переулок пошел — Николашкин.

Дерябин задумался. Подумал и сказал непонятно и значительно:

— Люди из городов на конвертах пишут: «Переулок Николашкин», а Николашка — всего-навсего поп, — и посмотрел на старика Ванина.

— Какая разница, — сказал тот.

— Большая разница, — Дерябин опять задумался и прищурил глаза. Все он знал — и почему переулок Николашкин, и что Николашка — поп, знал. Только хитрил: он что-то задумал.

Задумал же он вот что.

Вечером, поздно, сел в горнице к столу, надел очки, взял ручку и стал писать:

«Красно-Холмскому райисполкому.

Довожу до вашего введения факт, который мы все проморгали. Был у нас поп Николай (по-старому — отец Николай), в народе его звали Николашка, как никакого авторитета не имел, но дом его стоял в этом переулке. Когда попа изъяли как элемента, переулок забыли переименовать, и наш переулок в настоящее время называется в честь попа. Я имею в виду — Николашкин, как раньше. Наш сельсовет на это дело смотрит сквозь пальцы, но жителям нам — стыдно, а особенно у кого дети с высшим образованием и вынуждены писать на конвертах «Переулок Николашкин». Этот Николашка давно уж, наверно, сгнил где нибудь, а переулок, видите ли, — Николашкин. С какой стати! Нас в этом переулке восемь дворов, и всем нам очень стыдно. Диву даешься, что мы пятьдесят лет восхваляем попа. Неужели же у нас нет заслуженных людей, в честь которых можно назвать переулок? Да из тех же восьми дворов, я уверен, найдутся такие, в честь которых не стыдно будет назвать переулок. Он, переулок-то, маленький!

А есть ветераны труда, которые вносили пожизненно вклад в колхозное дело, начиная с коллективизации. Активист».

Дерябин переписал написанное, остался доволен, даже подивился, как у него все складно и убедительно вышло. Он отложил это. И принялся писать другое:

«В Красно-Холмский райисполком.

Мы, пионеры, которые проживаем в переулке Николашкином, с возмущением узнали, что Николашка был — поп. Вот тебе раз! — сказали мы между собой. Мы, с одной стороны, изучаем, что попы приносили вред трудящимся, а с другой стороны — мы вынуждены жить в переулке Николашкином. Нам всем очень стыдно — мы же носим красные галстуки! Неужели в этом же переулке нет никаких заслуженных людей? Взять того же дядю Афанасия Дерябина: он ветеран труда, занимался коллективизацией и много лет был бригадиром тракторной бригады. Его дом — крайний, с него начинается весь переулочек. Мы, пионеры, предлагаем переименовать наш переулочек, назвать — Дерябинский. Мы хотим брать пример с дяди Дерябина, как он трудился, нам полезно жить в Дерябинском переулке, так как это нас настраивает на будущее, а не назад. Прислушайтесь к нашему мнению, дяди!»

Дерябин перечитал и этот документ — все правильно. Он представил себе, как дети его узнают однажды, что отцу теперь надо писать на конверте не «Переулочек Николашкин», а так: «Переулочек Дерябинский, Дерябину Афанасию Ильичу». Это им будет приятно.

На другой день Дерябин зазвал к себе трех соседских парнишек, рассказал, кто такой был Николашка.

— Выходит, что вы живете в поповском переулке, — сказал он напоследок. — Я вам советую вот чего... Кто по чистописанию хорошо идет?

Один выискался.

— Перепиши вот это своей рукой, а в конце все распишитесь. А я вам за это три скворешни сострою с крылечками.

Ребятишки так и сделали: один переписал своей рукой документ, все трое подписались под ним.

Дерябин заклеил письма в два конверта, один подписал сам, другой — конопатый мастер чистописания. Оба письма Дерябин отнес на почту и опустил в ящик.

Прошло с неделю, наверно...

В полдень как-то к дому Дерябина подъехал на мотоцикле председатель сельсовета Семенов Григорий, молодой парень.

— Хотел всех созвать, да никого дома нету. Нам тут из района предлагают переименовать ваш переулок... Он, оказывается, в честь попа. Хотел вот с вами посоветоваться: как нам его назвать то?

— А чего они там советуют? — спросил Дерябин в плохом предчувствии. — Как предлагают?

— Да никак — подумайте, мол, сами. Как нам его лучше? Может, Овражный?

— Еще чего! — возмутился Дерябин. Он погрустнел и обозлился: — Лучше уж — Кривой...

— Кривой? А что?! Он правда что кривой. Так и назовем.

Дерябин не успел еще сказать, что он пошутил с «Кривым»-то, что надо — в честь когонибудь... А председатель, который, разговаривая, так и не слез с мотоцикла, толкнул ногой вниз, мотоцикл затрещал... И председатель уехал.

— Сменили... шило на мыло, — зло и насмешливо сказал Дерябин. Плюнул и пошел в сарай работать. — Вот дураки-то!.. Назло буду писать — «Николашкин».

И так и не написал детям, что его переулок теперь — Кривой, и они по прежнему шлют письма: «Переулок Николашкин, дом 1, Дерябину Афанасию Ильичу».

1974

РЫЖИЙ

Давным-давно это было! Так давно, что и вспоминать неохота, когда это было. Это было давно и прекрасно. Весна была — вот что стоит в памяти, как будто это было вчера.

Ехал я по Чуйскому тракту из Онгудая — домой, в Сростки. В Онгудая я жил с месяц у дяди Павла, крестного моего, бухгалтера... Была такая у нас с мамой весьма нелепая попытка: не выучиться ли мне на бухгалтера? Стало быть, мне лет двенадцать-тринадцать, потому что когда мне стало четырнадцать, нас обуяла другая мысль: выучиться мне на автомеханика. Нас с мамой постоянно тревожила мысль: на кого бы мне выучиться?

Насчет бухгалтера — ничего не вышло: крестный отказался учить. Я этому очень обрадовался, потому что хотел сам сбежать домой... Почему-то я очень любил свою деревню. Пожил с месяц на стороне и прямо измучился: деревня снится, дом родной, мать... Тревожно на душе, нехорошо.

И вот — ехал домой. Сердце петухом поет — славно! Я знал: ругать меня не за что (бухгалтерия совершенно искренне не полезла в голову, о чем крестный и писал маме, и я это письмо вез), а скоро будет — из-за горы откроется — моя деревня.

Из Онгудая к Сросткам — это ехать с гор, вниз, в предгорье, километров триста. Крестный в Онгудая посадил меня на ЗИС-5 к рыжему шоферу, заранее отдал деньги — и я ехал себе. Путь-то вон какой!.. От одной езды сердце замирало в радости.

А тут мы еще где-то останавливались на ночевку, в какой-то избе, я спал на просторных полотах, где пахло овчиной, мукой и луком, слушал всякие разговоры внизу... Люблю слушать чужие разговоры, всегда любил. Слушал-слушал — и уснул. А утром, чуть свет, меня разбудил мой рыжий шофер, и мы поехали по свежачку. Я зевал, рыжий тоже позевывал... Было ему лет тридцать, крепкий, весь рыжий-рыжий, а глаза голубые. В дороге он все время молчал. Только зевнет, смешно заматерится — протяжно как-то, нараспев — и опять молчит. А я себе смотрел во все глаза, как яснее, летит навстречу нам огромный, распахнутый, горный день... Ах, и прекрасно же ехать! И прекрасна моя родина — Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы — а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота. Описывать ее бесполезно, ею и надыхаться-то нельзя: все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором. И не пугали меня никогда эти горы, хоть наверху на них — голо, снег... Мне милее — пашня, но не ровная долина, а с увалами*, с гривами**, с откосами. Но и горы — и снег этот на вершинах, когда внизу зелено, — никогда чуждыми не были, а только еще милей и теплей здесь, внизу.

Едем...

Навстречу нам такой же грузовичок ЗИС-5 (их потом, когда они уже ушли из жизни, ласково звали «Захар» или «Захарыч», они славно поработали). Рыжий — чуть отклонился на тракте правее, а тот, встречный, дует посередке почти... Рыжий несколько встревожился, еще поджался правее, к самой бровке, а встречный — нахально посередке. Рыжий удивленно уставился вперед... Я от его взгляда и встревожился-то: я сперва не понял, что нам грозит опасность. А опасность летела навстречу нам... Рыжий сбавил скорость и неотступным, немигающим, оцепенелым ка-

* Увал — вытянутая в длину возвышенность с пологими склонами (прим. ред.)

** Грива — продолговатая возвышенность, гряда с пологими склонами, проросшая лесом (прим. ред.)

ким-то взглядом следил, как приближается этот встречный дурак. Тот — перед самым носом у нас — свильнул, но все равно нас крепко толкнуло, и раздался омерзительный, жуткий треск...

Я больше испугался этого треска, чем толчка, до сих пор помню этот треск — резкий, сухой, мгновенный... Как-то от него, от этого треска, толкнулось в сознании, что беда, может — смерть... Но тут же все пронеслось — ни смерти, ни беды большой. Рыжий остановился, вылез из кабины... И я тоже вылез. У нас — со стороны руля — отворотило угол кузова, причем угол, который у кабины. Тот, видно, задком шваркнул нас, и ему меньше досталось, потому что для него это получилось — на прощание, с потягом, а для нас удар — встречный: угла как не бывало, верхнего. Тот, видно, крюками саданул, какими борт захлестывается. Мы посмотрели вслед этому полудурку — тот себе катит, как ни в чем не бывало. Рыжий быстро вскочил в кабину... Крикнул мне: «Садись!» Я мигом очутился в кабине... Рыжий развернулся и помчался вдогон тому, который ни с того ни с сего так угостил нас. Вот мы летели-то!.. Рыжий опять неотступно, не мигая — вообще-то страшновато — смотрел вперед, чуть склонился к рулю. И страшновато, и красиво — я смотрел то на рыжего, то на машину впереди. Расстояние между машинами сокращалось. Рыжий не сказал ни слова... Он только раз или два пошевелился от нетерпения. Я понял, что он хочет сделать, — тоже припечатать этому, кузовом же, я слышал, так делают шоферы: за нахальство и наглость. Но когда мы догоняли, я вдруг вспомнил, что там же их в кабине двое сидело, два мужика. Я сказал рыжему:

— Их там двое...

Рыжий чуть шевельнул головой на мой голос, но как смотрел вперед, так и смотрел, скорости не сбавил... Он, конечно, услышал мои слова, но я не увидел, чтобы он о чем-нибудь таком подумал, кроме

как: во что бы то ни стало догнать. Это и было в его взгляде, во всей его склоненной фигуре — догнать. Его нетерпение и мне передалось, я тоже вцепился в ручку дверцы и тоже весь напряжился — тоже вдруг всего целиком охватило одно единое желание: скорей догнать и шваркнуть.

Тот по-прежнему чухал серединой тракта... Мы повисли у него на задке, рыжий стал гудеть, прося дороги. Он еще раз пошевелился, последний раз, глотнул... И гудел, и гудел беспрерывно. Синие глаза его прямо польхали нетерпением, кричали прямо... Горели ясным синим огнем. Он слился с рулем, правым локтем придавил этот большой черный пупок сигнала — и гудел, и гудел.

Долго тот не давал нам дороги... Наконец, видим, пошел уклоняться вправо. Рыжий прямо лег на руль... И мы стали медленно их обходить. Рядом со мной — близко, рукой можно достать — прыгал враждебный нам кузов... И он, качаясь и подпрыгивая, тихонько отставал и отставал... Я уже стал видеть лицо того нахала: молодой тоже, моложе рыжего, скуластый, в серой фуражке... Покосился на нас, несколько назад... Потом мы с ним сравнялись, я-то вовсе рядом оказался. Сердце мое как будто кто в кулаке сжал... Тот, в фуражке, посмотрел на нас, скорей так: через меня на рыжего... И я понял, что он не узнал, что именно нам он сделал такую бяку. Я поразительно близко видел его лицо: широкое в скулах, никакое не злое, несколько даже курносое... Он, по-моему, досадовал и несколько был удивлен, что его обгоняют — и только. Никак уж, наверно, не ждал он, что его догнала расплата за его хулиганство.

Мы стали уже обходить ЗИС, этот, в кепке, уже остался чуть сзади. Их, правда, двое было в кабине, но второго я совершенно не помню — я его, наверно, не видел: до того интересно было смотреть на скуластого.

Мы почти обогнали, ехали серединой... И тут

рыжий сделал так: дал вправо, потом резко влево и тормознул. Нас кинуло вперед... Опять этот ужасный треск... Опять мимо пронеслось нечто темное, жуткое, обдав грохотом беды и смерти... И мы стали вовсе: рыжий подрулил вправо к обочине, как и положено, взял длинную заводную ручку и вылез из кабины. Но тот, с висячим уже бортом, не остановился. Рыжий подождал-подождал, залез опять в кабину, развернулся, и мы поехали своей дорогой. Рыжий был спокоен, ничего не сказал по поводу того, что... Он ехал и ехал. Пару раз выглядывал из кабины и смотрел коротко на искореженный угол борта.

Я же почему-то принялся думать так: нет, жить надо серьезно, надо глубоко и по-настоящему жить — серьезно. Я очень уважал рыжего.

С тех пор я нет-нет ловлю себя на том, что присматриваюсь к рыжим: какой-то это особенный народ, со своей какой-то затаенной, серьезной глубинкой в душе... Очень они мне нравятся. Не все, конечно, но вот такие вот — молчаливые, спокойные, настырные... Такого не враз сшибешь. И зубы ему не заговоришь — он свое делает.

1974

ЧУЖИЕ

Попалась мне на глаза книжка, в ней рассказывается о царе Николае Втором и его родственниках.

Книжка довольно сердитая, но, по-моему, справедливая. Вот что я сделаю: я сделаю из нее довольно большую выписку, а потом объясню, зачем мне это нужно. Речь идет о дяде царя, великом князе Алексее.

«Алексей с детства был назначен отцом своим, императором Александром Вторым, к службе по флоту и записан в морское училище. Но в классы он не ходил, а путался по разным театрикам и трактирчикам, в веселой компании французских актрис и танцовщиц. Одна из них, по фамилии Мокур, совсем его замотала.

— Не посоветуешь ли ты, — спрашивал Александр Второй военного министра Милютина, — как заставить Алексея, чтобы посещал уроки в училище?

Милютин отвечал:

— Единственное средство, Ваше Величество: назначьте учителем госпожу Мокур. Тогда великого князя из училища и не вызывать.

Такого-то ученого моряка император Александр Третий, родной брат его, не побоялся назначить генерал-адмиралом — главою и хозяином русского флота.

Постройка броненосцев и портов — золотое дно для всякого нечестного человека, охочего погреть руки около народного имущества. Генерал-адмирал Алексей, вечно нуждаясь в деньгах на игру и женщин, двадцать лет преобразовывал

русский флот. Бессовестно грабил казну сам. Не меньше грабили его любовницы и сводники, составляющие ему любовниц.

Сам Алексей ничего не смыслил в морском деле и совершенно не занимался своим ведомством. Пример его как начальника шел по флоту сверху вниз. Воровство и невежество офицеров росло с каждым годом, оставаясь совершенно безнаказанными. Жизнь матросов сделалась невыносимой. Начальство обкрадывало их во всем: в пайке, в чарке, обмундировке. А чтобы матросы не вздумали против поголовного грабежа бунтовать, офицерство запугивало их жестокими наказаниями и грубым обращением. И продолжалось это безобразия, ни мало — двадцать лет с лишком.

Ни один подряд по морскому ведомству не проходил без того, чтобы Алексей с бабами своими не отщипнул (я бы тут сказал — не хапнул. — В. Ш.) половину, а то и больше. Когда вспыхнула японская война, русское правительство думало прикупить несколько броненосцев у республики Чили. Чилийские броненосцы пришли в Европу и стали у итальянского города Генуи. Здесь их осмотрели русские моряки. Такие броненосцы нашему флоту и не снились. Запросили за них чилийцы дешево: почти свою цену. И что же? Из-за дешевизны и разошлось дело. Русский уполномоченный Солдатенков откровенно объяснил:

— Вы должны просить, по крайней мере, втрое дороже. Потому что иначе нам не из-за чего хлопотать. Шестьсот тысяч с продажной цены каждого броненосца получит великий князь. Четыреста тысяч надо дать госпоже Балетта. А что же останется на нашу-то долю — чинам морского министерства?

Чилийцы, возмущенные наглостью русских взяточников, заявили, что их правительство отказывается вести переговоры с посредниками, заведомо недобросовестными. Японцы же, как только

русская сделка расстроилась, немедленно купили чилийские броненосцы. Потом эти самые броненосцы топили наши корабли при Цусиме.

Госпожа Балетта, для которой Солдатенков требовал с чилийцев четыреста тысяч рублей, — последняя любовница Алексея, французская актриса. Не дав крупной взятки госпоже Балетта, ни один предприниматель или подрядчик не мог надеяться, что великий князь даже хоть примет его и выслушает.

Один француз изобрел необыкновенную морскую торпеду. Она поднимает могучий водяной смерч и топит им суда. Француз предложил свое изобретение русскому правительству. Его вызвали в Петербург. Но здесь — только за то, чтобы произвести опыт в присутствии Алексея, — с него спросили для госпожи Балетта двадцать пять тысяч рублей. Француз не имел таких денег и поехал восвояси, несолоно хлебав. В Париж явился к нему японский чиновник и купил его изобретение за большие деньги.

— Видите ли, — сказал японец, — несколькими месяцами раньше мы заплатили бы вам гораздо дороже, но теперь у нас изобретена своя торпеда, сильнее вашей.

— Тогда зачем же вы покупаете мою?

— Просто затем, чтобы ее не было у русских.

Как знать, не подобная ли торпеда опрокинула «Петропавловск» и утопила экипаж вместе с Макаровым — единственным русским адмиралом, который походил на моряка и знал толк в своем деле?

В последние десять лет жизни Алексеем вертела, как пешкою Балетта. Раньше генерал-адмиральшею была Зинаида Дмитриевна, герцогиня Лейхтенбергская, урожденная Скобелева (сестра знаменитого «белого генерала»). К этой чины морского министерства ходили с прямыми докладами, помимо Алексея. А он беспечно подписывал все, что его красавица хотела.

Красным дням генерал-адмирала Алексея положила конец японская война. У японцев на Тихом океане оказались быстроходные крейсера и броненосцы, а у нас — старые калоши. Как хорошо генерал-адмирал обучал свой флот, вот свидетельство: «Цесаревич» впервые стрелял из орудий своих в том самом бою, в котором японцы издырявили его в решето. Офицеры не умели командовать. Суда не имели морских карт. Пушки не стреляли. То и дело топили своих либо нарывались на собственные мины. Тихоокеанская эскадра засела в Порт-Артуре, как рак на мели. Послали на выручку балтийскую эскадру адмирала Рождественского. Тот, когда дело дошло до собственной шкуры, доложил царю, что идти не с чем: брони на броненосцах металлические чуть сверху, а с низу деревянные. Уверяют, будто царь сказал тогда Алексею:

— Лучше бы ты, дядя, воровал вдвое да хоть брони-то строил бы настоящие!

После гибели «Петропавловска» Алексей имел глупость показаться в одном петербургском театре вместе со своей любовницей Балетта, обвешенною бриллиантами. Публика чуть не убила их обоих. Швыряли в них апельсиновыми корками, афишами, чем попало. Кричали:

— Эти бриллианты куплены на наши деньги! Отдайте! Это — наши крейсера и броненосцы! Подайте сюда! Это — наш флот!

Алексей перестал выезжать из своего дворца, потому что на улицах ему свистели, швыряли в карету грязью. Балетта поспешила убраться за границу. Она увезла с собой несколько миллионов рублей чистыми деньгами, чуть не гору драгоценных камней и редкостное собрание русских старинных вещей. Это уж, должно быть, на память о русском народе, который они с Алексеем ограбили.

Цусима dokonчила Алексея. Никогда с тех пор, как свет стоит, ни один флот не испытывал бо-

лее глупого и жалкого поражения. Тысячи людей пошли на дно вместе с калошами-судами, которые не достреливали до неприятеля. Несколько часов японской пальбы достаточно было, чтобы от двадцатилетней воровской работы Алексея с компанией остались лишь щепки на волнах. Все сразу сказалось: и грабительство подлецов-строителей, и невежество бездарных офицеров, и ненависть к ним измученных матросов. Накормил царев дядя рыб Желтого моря русскими мужицкими телами в матросских рубахах и солдатских шинелях!

После отставки своей Алексей перекочевал за границу. Накупил дворцов в Париже и других приятных городах и сорил золото, украденное у русского народа, на девок, пьянство и азартные игры, пока не умер от случайной простуды».

Прочитал я это, и вспомнился мне наш пастух, дядя Емельян. Утром, еще до солнышка, издали слышался его добрый, чуть насмешливый сильный голос:

— Бабы, коров! Бабы, коров!

Как начинал слышаться этот голос весной, в мае, так радостно билось сердце: скоро лето!

Потом, позже, он не пастушил уже, стар стал, а любил ходить удить на Катунь. Я тоже любил удить, и мы, бывало, стояли рядом в затоне, молчали, наблюдая каждый за своими лесками. У нас не принято удить с поплавками, а надо следить за леской: как зачиркает она по воде, задрожит — подсекай, есть. А лески вили из конского волоса: надо было изловчиться надергать белых волос из конского хвоста; кони не давались, иной меринок норовит задом накинуть — лягнуть, нужна сноровка. Я добывал дяде Емельяну волос, а он учил меня сучить лесу на колене.

Я любил удить с дядей Емельяном: он не баловался в это дело, а серьезно, умно рыбачил. Хуже нет, когда взрослые начинают баловаться, гого-

тать, шуметь... Придут с неводом целой оравой, наорут, нашумят, в три-четыре тони* отгребут ведро рыбы, и — довольные — в деревню: там будут жарить и выпивать.

Мы уходили подальше куда-нибудь и там стояли босиком в воде. До того достоинь, что ноги заломит. Тогда дядя Емельян говорил:

— Перекур, Васька.

Я набирал сушняка, разводил огонек на берегу, грели ноги. Дядя Емельян курил и что-нибудь рассказывал. Тогда-то я и узнал, что он был моряком и воевал с японцами. И был даже в плену у японцев. Что он воевал, меня это не удивило — у нас все почти старики где-нибудь, когда-нибудь воевали, но что он — моряк, что был в плену у японцев — это интересно. Но как раз об этом он не любил почему-то рассказывать. Я даже не знаю, на каком корабле он служил: может, он говорил, да я забыл, а может и не говорил. С расспросами я стеснялся лезть, это у меня всю жизнь так, слушал, что он рассказывал, и все. Он не охотник был много говорить: так, вспомнит что-нибудь, расскажет, и опять молчим. Я его как сейчас вижу: рослый, худой, широкий в кости, скулы широкие, борода пегая, спутанная... Стар он был, а все казался могучим. Один раз он смотрел-смотрел на свою руку, которой держал удилице, усмехнулся, показал мне на нее, на свою руку, глазами.

— Трясется. Дохлая... Думал, мне износу не будет. Ох и здоровый же был! Парнем гонял плоты... От Манжурска подряжались и гнали до Верх-Кайтана, а там городские на подводах увозили к себе. А в Нуйме у меня была знакомая краля... умная женщина, вдовуха, но лучше другой девки. А нуйминским — поперек горла, што я к ней... ну, проведу ее. Мужики в основном дулись. Но я на них плевал с колокольни, на дураков, ходил и все. Она меня привечала. Я бы и женился на ней, но вско-

* Тоня — одна закидка невода (прим. ред.)

рости на службу забрили. А мужики чего злятся! Што вот чужой какой-то появился... Она всем глянулась, но все — женатые, а вот все одно — не ходи. Но не на того напали. Раз как-то причалились, напарник мой — к бабе одной проворной, та самогонку добрую варганила, а я — к зазнобе своей. Подхожу к дому-то, а там меня поджидают: человек восемь стоит. Ну, думаю, столько-то я раскидаю. Иду прямо на них... Двое мне навстречу: «Куда?» Я сгреб их обоих за грудки, как двинул в тех, которые сбоку-то поджидали, — штук пять свалил. Они на меня кучей, у меня сердце разыгралось, я пошел их шшолкать: как достану какого, так через дорогу летит, аж глядеть радостно. Тут к ним ишо подбежали, а сделать ничего не могут... Схватились за колья. Я тоже успел, жердину из прясла* выдернул и воюю. Сражение целое было. У меня жердь-то длинная — они не могут меня достать. Камнями начали... Бессовестные. Они, нуйминские, сроду бессовестные. Старики, правда, унимать их стали — с камнями-то: кто же так делает! И так уж человек двенадцать на одного, да на одного, да ишо с камнями. Сражались мы так до-олго, я спотел... Тут какая-то бабенка со стороны крикнула: плот-то!.. Они, собаки, канаты перерубили — плот унесло. А внизу — пороги, его там растреплет по бревнышку, весь труд даром. Я бросил жердь — и догонять плот. От Нуймы до Быстрого Исхода без передыху гнал — верст пятнадцать. Где по дороге, а где по камням прямо — боюсь пропустить-то плот-то. Обгонишь и знать не будешь, так я уж и берегом старался. От бежал!.. никогда в жизни больше так не бегал. Как жеребец. Догнал. Подплыл, забрался на плот — слава те Господи! А тут вскорости и пороги: там двоим-то — еле-еле управиться, а я один: от одного весла к другому, как тигра, бегаю, рубаху скинул... Управился. Но бежал я тада!.. — Дядя

**Прясло — изгородь из жердей, положенных горизонтально между вбитыми землю кольями (диал.) (прим. ред.)*

Емельян усмехнулся и качнул головой. — Никто не верил, што я его у Быстрого Исхода догнал: не сумеь, мол. Захочешь — сумеешь.

— А потом чего не женился?

— Когда?

— Ну, со службы-то пришел...

— Да где! Тада служили-то вон по сколь!.. Я раньше время пришел, с пленом-то с этим, и то... лет уж тридцать пять было — ждатель, что ли, она будет? Эх, и умная была! Вырастешь — бери умную. Красота бабская, она мужику на первое время только — похваляться, а потом... — Дядя Емельян помолчал, задумчиво глядя на огонек, посипел козьей ножкой. — Потом требуется другое. У меня и эта баба с умом была, чего зря грешить.

Бабку Емельяниху я помнил: добрая была старуха. Мы с ними соседи были, нашу ограду и их огород разделял плетень. Один раз она зовет меня из-за плетня:

— Иди-ка суда-то!

Я подошел.

— Ваша курица нанесла — вишь сколь! — Показывает в подоле десяток яиц. — Вишь, подрыла лазок под плетнем и несется тут. На-ка. С пяток матри (матери) отдай, а пяток — бабка оглянулась кругом и тихо досказала, — этим отнеси, на сашу (на шоссе).

На шоссе (на тракте) работали тогда заключенные, и нас ребятишек, к ним подпускали. Мы носили им яйца, молоко в бутылках... Какой-нибудь, в куртке в этой, тут же выпьет молоко из горлышка, оботрет горлышко рукавом, накажет:

— Отдай матери, скажи: «Дяденька велел спасибо сказать».

— Я помню бабку, — сказал я.

— Ниче... хорошая была бабка. Заговоры знала.

И дядя Емельян рассказал такую историю.

— Сосватали мы ее — с братом старшим ездили, с Егором, она — вот талицкая (это через речку), —

привезли... Ну, свальба (свадьба)... Гуляем. А мне только пинжак новый сшили, хороший пинжак, бобринский... Как раз к свальбе и сшили-то, Егорка же и дал деньжонок, я-то как сокол пришел. И у меня прямо со свальбы этот пинжак-то сперли. Меня аж горе взяло. А моя говорит: «Погоди-ка, не кручинься пока: не вернут ли». Где, думаю, вернут! Народу столько перебыло... Но знаю, што — не из наших кто-то, а из талицких, наверно: наш-то куда с ним денется? А шили-то тада на дому прямо: приходил портняжка с машинкой, кроил тут же и шил. Два дня, помню, шил: тут же и питался и спал. Моя-то чо делает: взяла лоскут от шитья — лоскутов-то много осталось — обернула его берестой и вмазала глиной в устье печки, как раз где дым в чувал загибает, самый густой идет. Я не понял сперва: «Чего, мол, ты?» — «А вот, говорит, его теперь каждое утро корезить будет, вора-то. Как затопим печку, так его начинает корезить, как ту бересту». И чо ты думаешь? Через три дня приходит из Талицы мужичонка, какая-то родня ее, бабе-то моей... С мешком. Пришел, положил мешок в угол, а сам — бух, на колени передо мной. «Прости, говорит, грех попутал: я пинжак-то унес. Поглянулся». Вытаскивает из мешка мой пинжак и гусиху с вином, теперь — четверть, а раньше звали — гусиха. Вот вишь... «Не могу, говорит, жить — измаялся».

— Побил его? — спросил я.

— Да ну!.. Сам пришел... зачем же? Выпили мы гусиху, да я ишо одну достал, и ту выпили. Не одни, знамо дело; я Егора позвал с бабой, ишо мужики подошли — чуть не новая свальба!.. Я рад без ума — пинжак-то добрый. Годов десять его носил. Вот какая у меня старуха была. Она тада-то не старуха была, а, вот... знала. Царство ей небесное.

Было у них пятеро сыновей и одна дочь. Троих на этой войне убило, а эти в город уехали. Дожи-

вал дядя Емельян один. Соседи по очереди приходили, топили печку, есть давали... Он лежал на печке, не стонал, только говорил:

— Спаси вас Бог... Зачтется.

Как-то утром пришли — он мертвый.

Для чего же я сделал такую большую выписку про великого князя Алексея? Я и сам не знаю. Хочу растопырить разум, как руки, — обнять две эти фигуры, сблизить их, что ли, чтобы поразмыслить, — то сперва и хотел, — а не могу. Один упрямо торчит где-то в Париже, другой — на Катунь, с удочкой. Твержу себе, что ведь — дети одного народа, может, хоть злость возьмет, но и злость не берет. Оба они давно в земле — и бездарный генерал-адмирал, и дядя Емельян, бывший матрос... А что, если бы они где-нибудь ТАМ — встретились бы? Ведь ТАМ небось ни эполетов, ни драгоценностей нету. И дворцов тоже, и любовниц, ничего: встретились две русских души. Ведь и ТАМ им не о чем бы было поговорить, вот штука-то. Вот уж чужие так чужие — на веки вечные. Велика матушка-Русь!

1974





Книгоподвезти

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

Есть на Алтае тракт – Чуйский. Красивая стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам.

Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды – все с Чуйского тракта.

Села, расположенные вдоль тракта, издавна поставляли ему сперва ящичков, затем шоферов. Он (тракт) манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийска до Ини хотя бы, заглянуть вниз с перевала Чике-таман (Чик-атаман, как зовут его шоферы) – и жутковато станет, и снова потянет перевозмочь страх и увидеть утреннюю нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу поднебесной выси...

И еще есть река на Алтае – Катунь. Злая, белая от злости, прыгает по камням, бьет в их холодную грудь крутой яростной волной, ревет – рвется из гор. А то вдруг присмирееет в долине – тихо, слышно, как утка в затоне пьет, за островом. Отдыхает река. Чистая, светлая – каждую песчинку на дне видно, каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит... Красиво, очень красиво! Не расскажешь словами.

И вот несутся они в горах рядом – река и тракт. Когда глядишь на них, думается почему-то, что

это брат и сестра, или что это – влюбленные, или что это, наоборот, ненавидящие друг друга Он и Она, но за какие-то грехи тяжкие заколдованы злой силой быть вечно вместе... Хочется очеловечить и дорогу и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь красоту земную словами.

Много, очень много машин на тракте. День и ночь гудят они, воют на перевалах, осторожно огибают бомы (крутые опасные повороты над кручей). И сидят за штурвалами чумазые внимательные парни. Час едут, два едут, пять часов едут... Устают смертельно. В сон вдруг поклонит. Тут уж лучше остановиться и поспать часок-полтора, чтоб беды не наделать. Один другому может так рассказывать:

– Еду, говорит, и так спать захотел – сил нет. И заснул. И заснул-то, наверно, на две секунды. И вижу сон: будто одним колесом повис над обрывом. Дал тормоз. Проснулся, смотрю – правда, одним колесом повис. Сперва не испугался, а вечером, дома, жутко стало...

А зимой, бывает, заметет Симинский перевал – по шесть, по восемь часов бьются на семи километрах, прокладывают путь себе и тем, кто следом поедет. Пять метров разгребают лопатами снег, пять – едут, снова пять – разгребают, пять – едут... В одних рубахах пластаются, матерят долю шоферскую, и красота вокруг не красота. Одно спасение – хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души свои не любят. Во всяком случае, разговоров, хвастовства и раздумий у них больше о моторе, чем о душе.

Я же, как сумею, хочу рассказать, какие у них хороши, надежные души.

Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты:

*Помоги товарищу в беде.
Не ловчи за счет другого.
Не трепись – делай.
Помяни добрым словом хорошего человека.*

Немного. Но они неумолимы. И они-то определяют характеры людей. И они определяют отношения между ними. И я выбирал героя по этому признаку. Прежде всего. И главным образом.

В хороший осенний день шли порожняком по Чуйскому тракту две машины «ГАЗ-51». Одну вел молодой парень, другую – пожилой, угрюмый с виду человек с маленькими, неожиданно добрыми глазами.

Парень задумчиво, с привычным прищуром смотрит вперед – это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат Степанович.

На тракте в сторонке стоит «козлик». Под «козликом» – шофер, а рядом – молодой еще, в полувоенном костюме, председатель колхоза Прохоров Иван Егорович.

Надежды, что «козлик» побежит, нет. Прохоров «голоснул» одной машине, она пролетела мимо. Другая притормозила. Шофер откинул дверцу – это Пашка.

– До Баклани подбрось.

– Ты один?

– Один.

– Садись.

Прохоров крикнул своему шоферу:

– Прислать, что ль, кого-нибудь?!

Шофер вылез из-под «козлика».

– Пришли Семена с тросом!

Пашка с Прохоровым поехали.

...Летит под колеса горбатый тракт. Мелькают березки, мелькают столбики...

– Ты куда едешь? – поинтересовался Прохоров.

– В командировку.

– В колхоз, что ли?

— Мгм. Помочь мужичкам надо.

— А куда?

— Деревня Листвянка.

Прохоров внимательно посмотрел на Пашку, — видно, в начальственной его голове зародилась какая-то «мысль».

...Летит машина по тракту. Блестит, сверкает глубинной чистотой Катунь.

...Прохоров и Пашка продолжают разговор.

— Тебя как зовут-то? — как бы между прочим спрашивает Прохоров.

— Меня-то? — охотно отвечает Пашка. — Павел Егорыч.

— Тезки с тобой, — идет дальше Прохоров. — Я по батьке тоже Егорыч. А фамилия моя — Прохоров.

— Очень приятно, — говорит Пашка любезно. — А я — Колокольников.

— Тоже приятно.

Машина остановилась — перед ними целая очередь из бензовозов и лесовозов.

Пашка вылез из кабины.

— Что там? — спросил Прохоров.

— Завал. Счас рвать будут.

Прохоров тоже вылез. Пошел за Пашкой.

— Поехали ко мне, Егорыч? — неожиданно предложил он.

— То есть как?

— Так. Я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я — тоже председатель. Листвянка — это вообще-то дыра дырой. А у нас деревня...

— Что-то не понимаю. У меня же в командировке точно сказано...

— Да какая тебе разница! Я тебе дам документ, что ты отработал у меня — все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Что, так не делают, что ли? Сколько угодно.

— Я же не один.

— А кто еще?

— А он... — Пашка показал на Кондрата, который прошел мимо них. — Старший мой.

— А ты поговори с ним. Пусть он — в Листвянку, а ты — ко мне. Я прямо замучился без хороших шоферов. А? Я же не так просто, я заработать дам. А?

— Не знаю... Надо поговорить.

— Поговори. На меня шофера никогда не обижались. Мне сейчас надо срочно лес перебросить, а своих машин не хватает — хоть Лазаря пой.

— Ладно, — сказал Пашка.

Так попал Павел Егорыч в Баклань.

Вечером, после работы, уписывал у Прохорова жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой.

— Жена должна чувствовать, — утверждал Пашка.

— Правильно, Егорыч, — поддакивал Прохоров, стаскивая с ноги тесный сапог. — Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?

— Если я прихожу домой, — продолжал Пашка, — так? усталый, грязный, меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например: «Привет, Маруся!» Она мне весело: «Здорово, Павлик! Ты устал?»

— А если она сама, бедная, наматается за день, то откуда же у нее веселье возьмется? — замечала хозяйка.

— Все равно. А если она грустная, кислая, я ей говорю: «Пирамидон!» — и меня потянет к другим. Верно, Егорыч?

— Абсолютно! — поддакивал Прохоров.

Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков «охальниками».

В клубе Пашка появился в тот же вечер. Сдержанно веселый, яркий, в белой рубашке с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой вилял чуб.

— Как здесь население... ничего? — поинтересовался он у одного парня, а сам стрелял глазами по сторонам, проверяя, какое произвел впечатление на «местное население».

— Ничего, — неохотно ответил парень.

— А ты, например, чего такой кислый?

— А ты кто такой, чтобы допрос устраивать? — обиделся парень.

Пашка миролюбиво оскалился.

— Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить.

— Смотри, как бы тебе самому не навели здесь.

— Не наведут. — Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят.

Его тоже рассматривали.

Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое всегда волновало его.

Танец кончился. Пары расходились по местам.

— Что это за дивчина? — спросил Пашка у того же парня: он увидел Настю Платонову, местную красавицу.

Парень не пожелал больше с ним разговаривать, отвернулся.

Заиграли фокстрот.

Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился и громко сказал:

— Предлагаю на тур фокса.

Все подивились изысканности Пашки — на него уже смотрели с нескрываемым веселым интересом.

Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково уставился на девушку. Тонкие ноздри его острого носа трепетно вздрагивали.

Настя была несколько тяжела в движениях. Зато Пашка с ходу начал выделять такого черта, что некоторые даже перестали танцевать — смотрели на него. Пашка выпендривался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе — и кружился, кружился...

Настя весело спросила:

— Откуда ты такой?

— Из Москвы, — небрежно бросил Пашка.

— Все у вас там такие?

— Какие?

— Такие... воображали.

— Ваша серость меня удивляет, — сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных глаз Насти.

Настя тихо засмеялась.

Пашка сказал:

— Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал.

— Быстрый ты. — Настя в упор смотрела на Пашку.

— Я на полном серьезе!

— Ну и что?

— Я вас провожаю сегодня до хаты? Если у вас, конечно, нет какого-нибудь хахаля. Договорились? Мм?

Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой.

Фокстрот окончился.

Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе.

Парни косились на него.

— Что, братцы, носы повесили? — спросил Пашка.

— Тебе не кажется, что ты здесь развел слишком бурную деятельность? — спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца.

— Нет, не кажется.

— А мне кажется.

— Перекрестись, если кажется.

Парень нехорошо прищурился.

— Выйдем на пару минут... потолкуем.

Пашка улыбнулся.

— Не могу.

— Почему?

— Накостыляете ни за что... А вообще-то, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому на моль не наступал.

Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились.

Пока разговаривали, заиграли танго, и Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурки... И тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок и прищурился.

— Посмотрим, кто кого фотографирует, — сказал он и поправил фуражку. — Я этих интеллигентов одной левой делаю.

Танго кончилось.

Пашка подошел к Насте.

— Вы мне не ответили на один вопрос.

— На какой вопрос?

— Я вас провожаю сегодня до хаты?

— Я одна пойду. Спасибо.

Пашка сел рядом с девушкой. Круглые глаза его стали серьезны. Длинные тонкие пальцы незаметно дрожали.

— Поговорим, как желтмены...

— Боже мой, — вздохнула Настя и, поднявшись, направилась в другой конец зала.

Пашка смотрел ей вслед... Слышал, как вокруг него посмеивались. Но не испытывал никакого стыда. Только стало горячо под ложечкой. Горячо и больно. Он встал и вышел из клуба.

На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуше прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бостонский пиджак — и появился такой в сельской библиотеке (Настя работала библиотекарем).

— Здравствуйте! — солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и читальней.

Настя улыбнулась ему, как старому знакомому.

У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал «Огонек».

Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю — ноль внимания. Он сообразил, что парень с «Огоньком» и есть тот самый инженер, жених.

— Хочешь почитать что-нибудь? — спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки.

— Да, надо, знаете...

— Что хотите? — Настя тоже невольно перешла на «вы».

— «Капитал» Карл Маркса. Я там одну главу не дочитал.

Парень оторвался от «Огонька», взглянул на Пашку.

Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась.

— Ваша фамилия?

— Колокольников Павел Егорыч. Год рождения 1937, водитель-механик второго класса. Холост.

Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня... Тот наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка подмигнул.

— Кроссвордиками занимаемся?

— Да...

— Между прочим, Гена, он тоже из Москвы, — объявила Настя.

— Ну, — Гена искренне обрадовался. — Вы давно оттуда? Расскажите, что там нового.

Пашка излишне долго расписывался в абонементе, потом критически рассматривал том «Капитала», молчал.

— Спасибо, — наконец сказал он Насте. Потом подошел к парню, протянул руку: — Павел Егорыч Колокольников.

— Гена. Очень рад. Как Москва-то?

— Москва-то? — переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов. — Шумит Москва, шу-

мит... — И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил. — Люблю смешные журналы. Особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчас...

— Да, смешно бывает. А вы давно из Москвы?

— Из Москвы-то? — Пашка перевернул страничку журнала. — Я там не бывал сроду. Девушка меня с кем-то спутала.

— Вы же мне вчера в клубе сами говорили! — изумилась Настя.

Пашка глянул на нее, улыбнулся.

— Что-то не помню.

Настя посмотрела на Гену, Гена — на Пашку.

Пашка разглядывал картинки.

— Странно, — сказала Настя. — Значит, мне приснилось.

— Бывает, — согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал. — Вот, пожалуйста, — красавец, — сказал он, подавая журнал Гене. — Кошмар!

Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся.

— Вы надолго к нам?

— Так точно. — Пашка посмотрел на Настю, та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это. — Сыграем в шашки? — предложил он инженеру.

— В шашки? — удивился инженер. — Может, в шахматы?

— В шахматы скучно, — сказал Пашка (он не умел в шахматы). — Думать надо. А в шашечки — раз-два и пирамидон.

— Можно в шашки, — согласился Гена.

Настя вышла из-за перегородки и под села к ним.

— За фук берем? — спросил Пашка.

— Как это? — не понял Гена.

— А это когда игрок прозевает бить, берут штрафную шашку, — пояснила Настя.

— А-а... Можно брать. Берем.

Пашка быстренько расставил шашки. Взял две, спрятал в кулаки за спиной.

- В какой?
- В левой.
- Ваша не пляшет. — Белыми играл Пашка.
- Сделаем так, — начал он игру, устраиваясь удобнее на стуле; выражение его лица было довольное и хитрое. — Здесь курить, конечно, нельзя? — спросил он Настю.
- Нет, конечно.
- Нельзя, так нельзя... — Пашка пошел второй шашкой. — Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы.
- Инженер играл слабо, это было видно сразу. Настя стала ему подсказывать. Он возражал:
- погоди! Ну так же нельзя, слушай... зачем же подсказывать?
- Ты же неверно ходишь.
- Ну и что! Играю-то я.
- Учиться надо.
- Пашка улыбнулся. Он ходил уверенно, быстро и с толком.
- Вон той, Гена, крайней, — снова не выдержала Настя.
- Нет, я не могу так! — закипятился Гена. — Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально.
- А чего ты волнуешься! Вот чудак!
- Как же мне не волноваться?
- Волноваться вредно, — вмешался в спор Пашка и подмигнул Насте. Та покраснела и засмеялась.
- Ну и проиграешь сейчас. Принципиально.
- Нет, зачем? — снисходительно сказал Пашка. — Тут еще полно шансов меня сфотографировать... Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить.
- Теперь проиграл, — с досадой сказала Настя.
- Занимайся своим делом! — обиделся Гена по-настоящему. — Нельзя же так, в самом деле. Отойди!

— А еще инженер. — Настя встала.
— Это уже... не остроумно. При чем тут «инженер»?
— «Боюсь ему понравиться-а...» — запела Настя и ушла в глубь библиотеки.
— Женский пол, — снисходительно заметил Пашка.
Инженер смешал шашки, сказал чуть охрипшим голосом:
— Я проиграл.
— Выйдем покурим? — предложил Пашка.
— Пойдем.
На крыльце, закуривая, инженер пожаловался:
— Не понимаю, что за натура? Во все обязательно вмешается.
— Ничего, — сказал Пашка. — Пройдет... Давно здесь?
— Что?
— Давно здесь живешь?
— Живу-то? Второй месяц.
— Жениться хочешь?
Инженер с удивлением глянул на Пашку. Пашкин взгляд был прям и серьезен.
— На ней? Да. А что?
— Правильно. Хорошая девушка. Она любит тебя?
Инженер вконец растерялся.
— Любит?.. По-моему, да.
Пашка курил и сосредоточенно рассматривал сигарету. Инженер хмыкнул и спросил:
— Ты «Капитал» действительно читаешь?
— Нет, конечно. — Тут Пашка увидел на улице автобус — «Моды в село». — Пойдем посмотрим, — предложил он.
— А что там? — спросил Гена.
— Костюмы показывают.
— «Дом моделей»? — с удивлением прочитал Гена.
— Сходим вечерком, посмотрим? — Пашка повернулся к Гене. — Музыка играет...

— Здравствуйте, дорогие друзья! — сказала приветливая женщина. — Мы показываем вам моды осенне-зимнего сезона. Обратите внимание на удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам не только выходную одежду, но и рабочую... Машенька, пожалуйста!

Музыканты, стоявшие в глубине клубной сцены, заиграли что-то очень трогательное. На сцену вышла миленькая девушка в платьице с передничком и стала плавно ходить туда-сюда.

— Это — Маша-птичница! — пояснила приветливая женщина. — Маша не только птичница, она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме.

Маша-птичница улыбнулась в зал.

— На переднике, с правой стороны, предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку.

Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно.

— Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу и, едва завидев ее в этом простом красивом платьице, толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки.

Настя, Гена и Пашка сидят в зале. Пашку меньше всего интересует Маша-птичница и ее маленькие пушистые друзья. Его интересует Настя. Он осторожно взял ее за руку. Настя силой отняла руку, чуть наклонилась к Пашке и негромко сказала:

— Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб.

Пашка отодвинулся от нее.

— А вот костюм для полевых работ! — возвестила стареющая женщина.

На сцену, под музыку (музыка уже другая — быстрая, игривая), вышла другая девушка — в брюках, в сапожках и в курточке. Вся она сильно смахивает на девицу с улицы Горького.

— Это — Наташа, — стала пояснять женщина.
— Наташа — ударник коммунистического труда, член полеводческой бригады. Я говорю условно, товарищи, вы меня, конечно, понимаете. — Женщина обаятельно улыбнулась. — Здесь традиционную фуфайку заменяет удобная современная куртка, — продолжает она рассказывать. — Подул холодный осенний ветер...

Наташа увлеклась ходьбой под музыку — не среагировала на последние слова.

— Наташа! — Женщина строго и вместе с тем ласково посмотрела на девушку. — Подул ветер!

Наташа подняла воротник.

— Подул холодный осенний ветер — у куртки имеется глухой воротник.

Музыканты играют, притопывают ногами. Особенно старается ударник.

— Наташа передовая не только в труде, но и в быту. Поэтому все на ней опрятно и красиво.

Наташа улыбнулась в зал, как будто несколько извиняясь за то, что она такая передовая в быту.

— Спасибо, Наташенька.

Наташа ушла со сцены и стала переодеваться в очередное, вечернее платье. А женщина стала рассказывать, как надо красиво одеваться, чтобы не было крикливо и в то же время модно. Упрекнула «некоторых молодых людей», которые любят одеваться крикливо (ей очень нравилось это слово — «крикливо»).

...Пашка склонился к Насте и сказал:

— Я уже вторые сутки страдаю — так? — а вы мне — ни бэ, ни мэ, ни кукареку.

Настя повернулась к Гене.

— Ген, дай я на твое место сяду.

Пашка засуетился громко.

— Загораживают, да? — спросил он Настю и постучал пальцем по голове впереди сидящего товарища. — Эй, товарищ! Убери свою голову.

Товарищ «убрал» голову.

Настя осталась сидеть на месте.

— ...Вот — вечернее строгое платье простых линий. Оно дополнено шарфом на белой подкладке. Как видите, красиво, просто и ничего лишнего. Каждой девушке приятно будет пойти в таком платье в театр, на банкет, на танцы... В этом сезоне очень модно сочетание цветов черного с белым.

Пашка потянул к себе кофту, которая была у Насти на руке, как бы желая проверить, в каком отношении здесь цвета черный и белый...

— Гена, сядь на мое место, — попросила Настя. Гена с готовностью сел на место Насти.

Пашка заскучал.

А на сцене в это время демонстрировался «костюм для пляжа из трех деталей».

— Платье-халат. Спереди на кнопках.

Кто-то из зрителей громко хохотнул. На него зашикали.

— Очень удобно, не правда ли? — спросила женщина.

...Пашка встал и пошел из клуба.

Опять сорвалось.

Дома он не раздеваясь прилег на кровать.

— Ты чего такой грустный? — спросил Прохоров.

— Да так... — отозвался Пашка. Полежал несколько минут и вдруг спросил: — Интересно, сейчас женщин воруют или нет?

— Как это? — не понял Прохоров.

— Ну, как раньше... Раньше ведь воровали.

— А-а... Черт его знает. А зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады, без воровства.

— Это, конечно. Я так просто, — согласился Пашка. Еще немного помолчал. — И статьи, конечно, за это никакой нет?

— Наверно. Я не знаю.

Пашка поднялся с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал.

А в это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Генкой.

— Генка, это же так все смешно, — пыталась урезонить Настя жениха.

— А мне не смешно, — упорствовал тот. — Мне больно. За тебя больно...

— Неужели ты серьезно думаешь, что...

— Думаю! Потому что — вижу! Если ты можешь с первым встречным...

— Перестань! — оборвала его Настя.

— А почему «перестань»? Если ты можешь...

— Перестань!! — опять властно сказала Настя.

Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты, пропел свое любимое:

*«И за борт ее бросает
В набежа-авшую волну...»*

Хлопнула дверь.

Гена тоже сорвался с места и без слов пошел вон из библиотеки.

Хлопнула дверь.

Настя осталась одна.

Горько ей.

Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки. Та-рахтел движок.

Во дворе РТС его окликнули.

— Свои, — сказал Пашка.

— Кто — свои?

— Колокольников.

— Командировочный, что ль?

— Да.

В круг света вышел дедун — сторож в тулупе, с берданкой.

— Ехать, что ль?

— Ехать.

— Закурить имеется?

— Есть.

Закурили.

— Дождь, однако, ишо будет, — сказал дед и зевнул. — Спать клонит в дождь.

— А ты спи, — посоветовал Пашка.

— Нельзя. Я тут давеча соснул было, да знаешь...

Пашка прервал словоохотливого старика:

— Ладно, батя, я тороплюсь.

— Давай, давай. — Старик опять зевнул.

Пашка завел машину и выехал со двора.

На улицах в деревне никого не было. Даже парочки куда-то попрятались. Пашка ехал на малой скорости. У Настиного дома остановился. Вылез из кабины. Мотор не заглушил.

— Так, — негромко сказал он и потер ладонью грудь: волновался.

Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там, за этими окнами, — Настя. Сердце Пашки громко колотилось.

Он кашлянул, осторожно потряс забор — во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши.

Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенное ворчанье своей верной машины, свои шаги и громкую капель.

Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и стал в простенке. Перевел дух.

Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы: печку-голландку, дверь, кровать... Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову — Настя. Не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик.

Настя откинула крючки и раскрыла раму.

Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.

— Ты что? — спросила она негромко.

«Неужели узнала?» — подумал Пашка. Он хотел, чтоб его принимали пока за другого. Он молчал.

Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь.

Настя склонилась над подоконником... Он отстранил ее и полез в горницу.

— Додумался? — сказала Настя потеплевшим голосом. — Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич.

Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее, теплую, мягкую... Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке тесемка.

— Ох, — глубоко вздохнула Настя. — Что же ты делаешь? Шальной...

Пашка начал ее целовать... Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.

«Все. Конец». Пашка приготовился к худшему: сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его «фотографировать». На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет... Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье.

Пашка ласково улыбнулся ей.

— Испугалась?

Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке...

— Здравствуйте, Павел Егорыч.

Пашка «культурно» поклонился... И тотчас ощутил на левой щеке сухую звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю.

— Ну зачем же так, Настя?

А Гена ходит, мучается по комнате.

«Неужели все это серьезно?» — думает он.

Постоял у окна, подошел к столу, постоял...
Взял журнал, прилег на диван.

И тут вошел Пашка.

— Переживаешь? — спросил он.

Гена вскочил с дивана.

— Я не понимаю, слушай... — начал он строго.

— Поймешь, — прервал его Пашка. — Любишь Настю?

— Что тебе нужно?! — взорвался Гена.

— Любишь, — продолжал Пашка. — Иди — она в машине сидит.

— Где сидит?

— В машине! На улице.

Гена взял фонарик и пошел на улицу.

— А ко мне зря приревновал, — грустно вслед ему сказал Пашка. — Мне с хорошими бабами не везет.

Настя сидела в кабине Пашкиной машины.

Гена постоял рядом, помолчал... Сел тоже в кабину. Молчат. Чем нелепее ссора, тем труднее бывает примириться — так повелось у влюбленных.

А Пашка пошел на Катунь — пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом, никак не везет.

Шумит, кипит в камнях река... Слушает Пашку, понимает и несется дальше, и уносит Пашкину тоску далеко-далеко. Жить все равно надо, даже если очень обидно.

Утро ударило звонкое, синее. Земля умылась ночным дождиком, дышала всей грудью.

Едет Пашка. Устал за ночь.

У одной небольшой деревни посадил хорошенькую круглолицую молодую женщину.

Некоторое время ехали молча.

Женщина поглядывала по сторонам.

Пашка глянул на нее пару раз и спросил:

- По-французски не говорите?
- Нет, а что?
- Так, поболтали бы... — Пашка закурил.
- А вы что, говорите по-французски?
- Манжерокинг!
- Что это?
- Значит, говорю.

Женщина смотрела на него широко открытыми глазами.

- Как будет по-французски женщина?

Пашка снисходительно улыбнулся.

— Это — смотря какая женщина. Есть — женщина, а есть — элементарная баба.

Женщина засмеялась.

- Не знаете вы французский.

— Я?

— Да, вы.

- Вы думаете, что вы говорите?

Бежит машина. Блестит Катунь под нежарким осенним солнышком.

— ...А почему, как вы думаете? — продолжается разговор в кабине.

- Скучно у нас, — отвечает Пашка.

— Ну а кто виноват, как вы думаете?

— Где?

— Что скучно-то. Кто виноват?

— Начальство, конечно.

Женщина заметно заволновалась.

— Да при чем же здесь начальство-то? Ведь мы сами иногда не умеем сделать свою жизнь интересной. Причем с мелочей начиная. Я уж не говорю о большем. Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, посмотрите!.. Боже, чего там только нет! Думочки разные, подушечки, слоники дурацкие...

Пашкиному взору представилась эта картина: думочки, сумочки, вышивки, слоники... Катя Лизунова вспомнилась (знакомая его).

— ...Кошечки, кисочки, — продолжает женщина. — Это же пошлость, элементарная пошлость. Неужели это трудно понять? Ведь это же в наших руках — сделать жизнь интересной.

— Нет, если, допустим, хорошо вышито, то... почему? Бывает, вышивать не умеют, это действительно, — вставил Пашка.

— Да все равно, все равно!.. — загорячилась женщина. — Поймите вы это, ради бога! Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати, повесить на стенку три-четыре хорошие репродукции, на стол — какую-нибудь современную вазу...

Пашке опять представилась комната знакомой ему Катьки Лизуновой. Волшебством кинематографа высокая Катькина кровать сменяется низкой тахтой, срываются со стен вышивки и заменяются репродукциями картин больших мастеров, исчезают слоники...

— Поставить книжный шкаф, на стол бросить несколько журналов, торшер поставить, — продолжает женщина.

...А в комнате Катьки Лизуновой (по команде женщины, под ее голос), продолжают происходить чудесные преобразования...

И вот — кончилось преобразование. (Смолк голос женщины.)

И сидит в комнате не то Катька, не то совсем другая женщина, скорей всего француженка какая-то, но похожая на Катьку. Читает.

И входит в комнату сам Пашка — в цилиндре, в черном фраке, с сигарой и с тросточкой. Раскланялся с Катькой, снял цилиндр, уселся в кресло. И начали они с Катькой шпарить по-французски. Да так это у них все ловко получается! Пашка ей с улыбкой — слово, она ему — два, он ей — слово, она ему — два. Да все с прононсом, все в нос.

— Неужели все это трудно сделать? — спрашивает женщина Пашку. — Ведь я уверена, что денег для такой обстановки потребуется не больше.

Пашка с интересом посмотрел на женщину. Она ему явно нравится.

— Можно, наверно.

— Можно!.. Все можно. Сами виноваты. Это же в наших возможностях.

А над русской землей встает огромное солнце. Парит пашня. Дымят далекие костры. Стелется туман.

Едут Пашка с женщиной.

Пашка заметил, что женщина что-то уж очень нетерпеливо стала посматривать вперед. Спросила:

— А долго нам еще ехать?

— Еще километров тридцать с гаком. Да гак — километров десять.

— Сколько? — Женщина затосковала.

Пашка понял: приспичило. Выбрал место, где тракт ближе всего подходит к Катуня, остановил машину.

— Ну-ка, милая, возьми ведро да сходи за водой. А я пока мотор посмотрю.

— С удовольствием! — воскликнула женщина, взяла ведро и побежала через кустарник вниз, к реке. Пашка внимательно посмотрел ей вслед.

Муж действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятный, с узким остроносым лицом. Очень обрадовался. Растерялся: не знал — то ли целовать жену, то ли снимать чемоданы с кузова. Запрыгнул в кузов.

Женщина полезла в сумочку за деньгами.

— Сколько вам?

— Нисколько. Иди к мужу-то... поцелуйтесь хоть — я отвернусь. — Пашка улыбнулся.

Женщина засмеялась.

— Нет, правда, сколько?

— Да нисколько! — заорал Пашка. — Кошмар с этими... культурными. Другая давно бы уж поняла.

Женщина пошла к мужу.

Тот стал ей подавать чемоданы. Негромко стал выговаривать:

— Почему все-таки одна приехала? Я же писал: не садись одна с шофером. Писал?

— А что тут особенного? — тоже негромко возразила женщина. — Он хороший парень.

— Откуда ты знаешь, хороший он или плохой? Что у него, на лбу написано? Хороший... Ты еще не знаешь их. Они тут не посмотрят...

Пашка слышал этот разговор. Злая, мстительная сила вытолкнула его из кабины.

— Ну-ка, плати за то, что я вез твою жену. Быстро!

— А она что, не заплатила? Ты разве не заплатила? — Муж растерялся: глаза у Пашки были как у расшвырянутой кошки.

— Он не взял... — женщина тоже растерялась.

Пашка не смотрел на нее.

— Плати! — рявкнул он.

Муж поспешно сунулся в карман... Но тут же спохватился.

— А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы кричите-то? Сколько?

— Два рубля.

— Что-о? Тут же только пятьдесят копеек берут!

— Два рубля!!

— Олег! — сказала женщина. — Немедленно заплати ему... Заплати ему два рубля.

— Пожалуйста. — Муж отдал Пашке два рубля.

Машина рванула с места и поехала дальше.

Пашка догнал Кондрата (напарника своего).

Кондрат сидел со стариком хозяином, у которого он остановился. Старики толковали про жизнь. Хозяин рассказывал:

— Да... вот так, значит. Вырастил я их, лоботрясов, шесть человек, а сейчас один остался, как гвоздь в старой плахе. Разъехались, значит, по го-

родам. Ничего, вроде, живут, справно, а меня обида берет: для кого же я весь век горбатился, для кого дом этот строил?

— Такая уж теперь наша жизнь пошла — ничего не поделаешь.

— Жисть эта меня не касается!

— Она всех касается, кум.

— Кхх!.. Мне вот надо бы крышку сейчас новую, а не могу — сил не хватает. А эта, лонись*, приехал младший: поедет, говорит, тять, со мной. Продай, говорит, дом и поедет. Эх ты, говорю, сопля ты такая! Я сейчас кто? Хозяин. А без дома кто? Пес бездомный.

— Ты зря так... Зря.

— Нет, не зря.

— Зря.

— Ты, значит, никогда не крестьянствовал, если так рассуждаешь.

— Я до тридцати пяти годов крестьянствовал, если хочешь знать. А опора сейчас — не дом.

— А кто же? Тилифизоры ваши? Финтифлюшки разные?

Тут вошел Пашка.

— Здорово, старички!

Кондрат нахмурился.

— Подольше не мог?

— Все в порядке, дядя Кондрат.

Кондрат хочет изобразить из себя — перед хозяином — наставника строгого, как бы отца.

— Шалапутничать начинаешь, Павел. Смаатри! Я на сколько тебя отпускал?

Пашка для приличия виновато наморщился.

Пауза.

— Чего делал-то там? — мягче спросил Кондрат.

— Лес возили. — Пашка пошел переодеваться в другую комнату.

— Посиди с нами, — пригласил хозяин. — Мы тут как раз про вас, кобелей, разговариваем.

— Некогда, братцы, — отказался Пашка. — В гости иду.

— Далеко ли? — поинтересовался Кондрат.

— К Лизуновым.

— Это кто такие?

— Тэ-э... знакомая одна...

— Расплодил ты этих знакомых!.. — строго заметил Кондрат. — Переломают где-нибудь ноги-то.

— Искобелились все, — согласно проворчал хозяин. — А вот был бы при хозяйстве-то, небось не побежал бы сейчас к Катьке-разведенке, а копался бы дома.

— Свобода личности, чего вы хотите! — возразил Пашка.

— Избаловала вас Советская власть, избаловала. Я бы вам показал личность! Встал бы у меня в пять часов и работал бы, сукин сын, допоздна, пока солнце не сядет. Вот тогда не до Катьки было бы.

Тут вошла хозяйка. Закудахтала...

— Кум! Здравствуй, кум!

— Марфынька, — заныл старик хозяин. — Однако ж где-то было ведь у нас... кхэ...

— Чего «было»? Чего закряхтел?..

— Было же где-то... Нам бы с кумом — по махонькой.

— Э-эх... Ладно, для кума...

— Давай, давай...

Лизуновы ужинали.

— Приятного аппетита! — сказал Пашка.

— Садись с нами, — пригласил хозяин.

— Спасибо. — Пашка присел на припечке. —

Только что из-за стола.

Катя поспешно дохлебала, встала.

Прошли в горницу.

— Ты что?

Пашка смотрел на Катерину. Стоит — молодая еще, а уже намучилась, накричалась на своем веку, устала.

— Так... зашел попроведать.
Пашка натянуто улыбнулся, стало жалко Катьку.
— Опять в командировку, что ль? — Катерина угасла.
— Ага.
— Надолго?
— Да нет.
— Ну, садись.
Пашка присел на крашенный табурет.
— Как живешь-то? — спросил он.
— Ничего. Какая моя жизнь? Кукую. — Катерина тоже присела на высокую свою кровать, невесело задумалась.
— Не сошлась с мужем-то?
— Не сошлась.
— Что он сейчас делает-то?
— Пьет. Что ему еще делать.
— Мдэ... На танцы пойдём вечером?
Катька удивленно посмотрела на Пашку, усмехнулась.
— Легко вам, ребятам: тридцать лет — вы все еще по танцулькам бегаєте. Даже завидки берут.
— А тебе кто запрещает?
— Куда же я на танцы попрусь? Ты что? Со-весть-то есть у меня?
— Серость, — сказал Пашка.
— Серость или нет, а мои танцы кончились, Паша.
— Ну, тогда я в гости приду попозже. Мм?
— Зачем?
— В гости!
— Как же ты придешь? Что, я одна, что ль?
— А чего они тебе? Ты на них — ноль внимания.
— Ноль внимания...
— Ну, выйди тогда. В садик. Попозже. Мм?
— А для чего?
Пашка ответил не сразу. Действительно — для чего?

— А я откуда знаю? Так просто. Тоскливо ж тебе одной-то. И мне тоскливо.

— Тоскливо, верно.

— Ну и вот!

— Думаешь, нам веселее будет? Вдвоем?

— Не знаю. Не ручаюсь.

— Нет, не будет нам веселее. Так это... самообман. Не будет веселее.

— Ну, ты сильно-то не унывай.

— Я и не унываю.

— Взяла бы да снова замуж вышла, раз такое дело.

Катерина усмехнулась.

— Бери. Пойду.

— Вот и выходи. Сегодня потолкуем. — Пашка сам не ждал, что так брякнет.

— Перестань ты, ботало! — рассердилась Катерина. — Зачем пришел-то?

— Некультурная ты, Катерина. Темнота.

— Ох, батюшки!.. Давно культурным-то таким стал?

— Что это, например, такое? — Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких. — Для чего, спрашивается? Для счастья? Или олень вот этот... — Пашка презрительно прищурился на оленя. (Олень, кстати, ему нравился.) — Это же... пошлость! В горнице как в магазине. Мой тебе совет: выкинь все это, пока не поздно.

Катерина удивленно слушала Пашку. А Пашку неудержимо повело.

— Вы сами, Катька, виноваты во всем: обвиняете ребят, что они за городскими начинают приударять, а вас забывают. А нет, чтобы подумать: а почему так? А потому, что городские интереснее вас. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская — она, может, в десять раз красивше ее, а как нарядится в какой-нибудь малахай — черт не черт и дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе да пройти по улице весело, станцевать, спеть... Нет, вы лучше будете семечки проклятые лузгать да

сплетничать друг про дружку. Ммх, эти сплетни!.. — Пашка, стиснув зубы, крутнул головой. — Бросать это надо к чертовой матери — эти сплетни. Ты делай вид, что ничего не знаешь. Не твое дело, и все. А то ведь пойдешь с иной, и вот она начинает тебе про своих же подружек: ля-ля-ля... Все плохие, она одна хорошая. Бросать надо эту моду.

— Ты что, с цепи сорвался? — спросила Катерина.

— Ну вот, пожалуйста, сразу по лбу: «С цепи сорвался?» А ты бы сейчас спросила меня с улыбкой: «В чем дело, Павлик?»

— Пошел к дьяволу!.. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно.

— А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала: голову кверху, грудь вперед. И улыбайся. Но громко не хохочи — это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастливая, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нету к тебе подходить.

— Ну и не подходи. Я и не прошу никого, чтобы ко мне подходили, пошли вы все к чертям, кобели проклятые. Ты зачем приперся? Тебе чего от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю! А туда же — «некультурная». Так иди к своим культурным. Или не шибко они тебя принимают, культурные-то?

— Никакого сдвига в человеке! — горько воскликнул Пашка. — Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо!

— Я тебе тоже на полном серьезе: пошел к черту! Культурный нашелся. Уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Культурный — по чужим бабам шастать. Наверно, уж весь Чуйский тракт охватил?

— Я от тоски, — возразил Пашка. — Я нигде не могу идеал найти.

— Вот, когда найдешь, тогда и читай ей свои нотации. По воскресеньям. А мне они не нужны. Ясно? Выметывайся отсюда, культурный! Чего ты с некультурными разговариваешь?

— Знаешь, как я вас всех называю? — сказал Пашка. — «Дайте мужа Анне Заккео». Мне вас всех жалко, дурочка.

— От дурачка слышу. Уходи, а тоогрею чем-нибудь по загривку-то — враз жалеть перестанешь.

— Эхх, — вздохнул Пашка. И вышел.

Над деревней, в глухом теплом воздухе, висел несуетливый вечерний гомон: мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо всхлипнула гармонь и смолкла.

Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом на постой.

Хозяин и Кондрат спали уже — «нафилософствовались» давеча.

Хозяйка ворожила на картах. И ее тоже беспокоила судьба сынов, которые разъехались по белому свету.

— Что там слышно? Вы вот в разных местах бываете — война-то будет или нет? — спросила она.

— Не будет, — уверенно сказал Пашка. — Не дадут.

— Господи, хоть бы не было. В народе тоже не слышно. А то ведь перед войной-то всякие явления бывают...

— Какие явления? — любопытствовал Пашка, попивая молоко.

— Вот перед той-то войной — явление было.

— Какое?

— А вот едет шофер сверху откуда-то, с гор, и подъезжает к одному месту... А место это — как выезжать в Долину Свободы...

— Знаю, — сказал Пашка.

— Вот. Выезжает из лесочка-то, глянь: впереди баба стоит. Голая. Подняла руку. Шофер маленько оробел. Останавливается. Подходит она к нему и говорит: «На, говорит, тебе двадцать рублей...»

— По новым деньгам, что ли? — встрял Пашка.

— По каким «по новым». Дело-то до войны было, как раз перед войной.

— Так.

— «...На, говорит, тебе двадцать рублей и купи мне на платье белой материи. Когда, говорит, поедешь назад, я тебя здесь встречу. Только смотри, говорит, купи — вишь, я голая вся». Ну, шофер что, взял. «Ладно, говорит, куплю». — «Только смотри — не забудь», — она-то ему еще раз. И ушла. В лес. Едет шофер. Приехал на свою базу какую-то...

— На автобазу.

— Ну. И расскажи этот случай товарищам своим. Те его — на смех. «Пойдем, — говорят, — пропьем лучше эти деньги». Тот шофер-то махнул рукой, пошел и пропил эти деньги. Да. А когда назад-то ехать стал — струсил: «Боюсь, — говорит, — хоть убейте». Пошел к жене, рассказал ей все. Та — ругать его. Ну, поругала, поругала, а деньги дала. Да. Купил шофер белую материю, опять заехал на свою базу. Ну, двое поехали с ним — чтобы убедиться: есть такая баба или нет. Едут. Не доезжая до того места с версту, эти два шофера послули убойным сном. Спят, и все. Уж тот шофер, который материю-то вез, толкал их, толкал их, бил даже — ничего не помогает, спят. Делать нечего — надо ехать. Поехал. Доезжает до того места — баба ждет его. «Купил?» — спрашивает. «Купил». — «Спасибо». Взяла материю. А потом поглядела на шофера и спрашивает: «Ты зачем же мои деньги-то пропил?» Тот молчит. Она так тихонечко засмеялась и говорит: «Ну, ладно, они ведь деньги-то не мои, а ваши. А вот этих зачем с собой взял? — показы-

ваает на двух сонных. — Испугался?» Оять засмеялась и ушла в лес. Отъехал шофер с полверсты, те двое проснулись...

Пашка крепко спит.

— Спит, — сказала старуха. — Рассказывай им.

...Едет Пашка по тракту. Подъезжает он к тому месту, где тракт выходит из гор в Долину Свободы, глядь: впереди стоит какая-то женщина. Руку подняла. А сама вся — в белом, в какой-то простыне. Остановился он. Подходит женщина — а это Настя Платонова.

— Здравствуй, Павлик.

Пашка очень удивился.

— Ты чего тут?

А она ему грустно:

— Да вот тебя жду.

— Что, оять с инженером поругались?

— Нет, Павлик. На вот тебе двадцать рублей, купи мне белой материи на платье — вишь, я какая. — А сама смотрит, смотрит на Пашку.

— А зачем тебе белое-то? Ты что, замуж вы...

— Павел! А Павел! — будит старушка Пашку. — Павел!..

Пашка проснулся.

— Я что, заснул, что ли?

— Заснул.

— Ох ты... фу! А чем кончилась история-то?

— А-а, интересно?

— Привез он ей материи-то?

— Привез. Привез, отдал ей, а она спрашивает: «Зачем же ты, — говорит, — мои деньги-то пропил?..»

— Так откуда она узнала, что он деньги-то пропил?

— Так разве ж это простая баба была! — изумилась старушка. — Это же смерть по земле ходила — саван себе искала. Вот вскоре после этого и война началась. Она, она, матушка, ходила...

Пашка откровенно зевнул.

— Ну-ка, ложись спать, — спохватилась старушка. — Вам завтра вставать рано.

Пашка лег и сразу уснул.

И опять звонкое синее утро.

Выехали с проселка на тракт две машины — Кондрат и Пашка.

Кондрат — впереди.

Едут.

Кондрат задумчив.

Пашка не выспался, усиленно курит, чтобы прогнать дремоту.

Впереди, близ дороги, большой серый валун. На нем что-то написано.

Поравнявшись с камнем, Кондрат остановился. Пашка — тоже.

Вышли из кабин, прихватив каждый по бутылке пива из-под сидений.

Пошли к камню.

На камне написано: «Тут погиб Иван Перетягин. 4.5.62 г.».

Кондрат и Пашка сели на камень, раскрыли бутылки (вокруг камня много валяется бутылок из-под пива), отпили.

— Сколько ему лет было? — спросил Пашка.

— Ивану? Лет тридцать пять — тридцать восемь. Хороший был парень.

Пауза.

Еще отпили из бутылки.

Молчат. Долго молчат. Думают.

— Слышь, Павел, — сказал Кондрат, — помнишь, ты говорил насчет этой...

— Тетки Анисьи?

— Ну.

— Надумал?

— Черт ее знает... — Кондрат мучительно сморщился. — Не знаю. Колебаюсь.

— А чего тут колебаться? Сейчас заедем к ней и потолкуем. Сколько бобылем-то жить!

— Надоело, вообще-то...

— А мне, думаешь, не надоело? Как только найду идеал, с ходу фотографируюсь. А у тетки Анисьи и домик хороший, и хозяйство. Я к вам заезжать буду, в баню с тобой ходить будем, пузырек раздавим после баньки... Благодать!

Кондрат задумчиво, можно сказать, мечтательно улыбается. Но сдержанно.

— Ты хорошо ее знаешь?

— Два года к ней заезжаю.

— А вдруг она скажет: «Вы что!»

— Да она мне все уши прожужжала: «Найди, говорит, мне какого-нибудь пожилого одинокого, пускай, мол, здесь живет... Вдвоем-то легче».

— Да?

— Конечно! Чего тут колебаться? Она баба умная, хозяйственная... Ты там будешь сыт, пьян и нос в табаке.

— Ну, я же тоже не с голыми руками приду. Мы ж зарабатываем как-никак. Потом... на книжке у меня малость имеется... Так что...

— Вы будете как у Христа за пазухой жить!

— Черт ее... — Кондрат опять мечтательно улыбнулся. — Охота, действительно, так вот приехать, натопить баню, попариться как следует. Шибко уж надоело по этим квартирам.

— Что ты! — воскликнул Пашка, поддакивая.

— Разбередил мне вчера душу этот кум, язви его. В деревне ведь... это... хорошо! Встанешь чуть свет — еще петухи не орали, идешь на речку... Тихо. Спят все. А ты идешь и думаешь: «Спите, спите — проспите все царство небесное: красота ж вокруг!» А от речки туман подымается. Я рыбачить ужасно люблю. Купил бы лодку...

— Можно с мотором!

— Можно, ага.

— Я бы приехал к тебе в гости, мы бы заплыли с тобой на острова, порыбачили бы, постреляли, а вечером разложили бы костерчик, сварили бы уху, пузырек раздавили...

Кондрат улыбается.

— Ага, я тоже люблю на островах. Ночь, тихо, а ты лежишь, думаешь об чем-нибудь. Думать шибко люблю.

— А костер потрескивает себе, угольки отскакивают. Я тоже думать люблю.

— Речка шумит в камушках.

— Можно баб с собой взять!

— Нет, баб лучше не надо, они воды боятся, визжат, — возразил Кондрат.

— Вообще — правильно, — легко согласился Пашка. — И насчет пузырька — не дадут.

Тетка Анисья, женщина лет под пятьдесят, сухая, жилистая, с молодыми хитрыми глазами, беспокойная. Завидев из окна гостей, моментально подмахнула на стол белую камчатную скатерть, крутнулась по избе — одернула, поправила, подвинула... И села к столу как ни в чем не бывало. Сказала сама себе:

— Пашка-то... правда, однако, кого-то привез. Пашка вошел солидный.

— Здорово ночевала, тетка Анисья! — сказал.

— Здравсте, — скромно буркнул Кондрат.

— Здравсте, здравсте, — приветливо откликнулась тетка Анисья, а сама ненароком зыркнула на Кондрата. — Давно чего-то не заезжал, Паша.

— Не случилось все... кхм! Вот познакомься, тетка Анисья. Это мой товарищ — Кондрат Степанович.

— Мгм. — Тетка Анисья кивнула головкой и собрала губы в комочек. (Очень приятно, мол.) А Кондрат осторожно кашлянул в ладонь.

— Вот, значит, приехали мы... — продолжал Пашка, но тетка Анисья и Кондрат оба испуганно взглянули на него. Пашка понял, что слишком скоро погнался дело... — Заехали, значит, к тебе отдохнуть малость, — сполз Пашка с торжественного тона.

— Милости просим, милости просим, — застрекотала Анисья. — Может, чайку?

— Можно, — разрешил Пашка.

Анисья начала ставить самовар.

Пашка вопросительно поглядел на Кондрата. Тот страдальчески сморщился. Пашка не понял: отчего? Оттого ли, что не нравится «невеста», или оттого, что он неумело взялся за дело?

— Как живешь, тетка Анисья?

— Живем, Паша... ничего вроде бы.

— Одной-то небось тяжело? — издали начал Пашка.

— Хе-хе, — неловко посмеялась Анисья. — Знамо дело.

Кондрат опять сморщился.

Пашка недоуменно пожал плечами. Даже губами спросил: «Что?»

Кондрат безнадежно махнул рукой. Пашка рассердился: как ни начни, все не нравится.

— Самогон есть, тетка Анисья? — пошел он напрямик.

Кондрат удовлетворенно кивнул головой.

— Да вроде был где-то. Вы с машинами-то... ничего?

— Ничего. Мы по маленькой.

Анисья вышла в сенцы. И, как по команде, сразу торопливо заговорили Кондрат и Пашка.

— В чем дело, дядя Кондрат?

— Что ж ты сразу наобум Лазаря начинаешь? Ты... давай посидим, по...

— Да чего с ней сидеть-то?

— Тьфу!.. Ну кто же так делает, Павел? Ты... давай посидим...

— А вообще-то, как она тебе? Ни...

Вошла Анисья.

— Вёдро-то какое стоит! Благодать господня. В огороде так и прет, так и прет все. — Анисья поставила на стол графин с самогоном.

— Прет, говоришь? — переспросил Пашка, трогая графин.

— Прет, прямо сердце радуется.

— Садись, дядя Кондрат.

— Садитесь, садитесь... Давайте к столу. У меня, правда, на стол-то шибко нечего выставить.

— Ничего-о, — сказал Кондрат. — Что мы сюда, пировать приехали?

— Счас огурчиков вам порежу, капустки... — хлопотала Анисья, сама все нет-нет да глянет на Кондрата.

— Значит хорошо живешь, тетя Анисья? — опять спросил Пашка. — Здоровьишко как?

— Бог милует, Паша.

— Самое главное. Так... Ну что, дядя Кондрат?.. Сфотографируем по стаканчику?

— По стаканчику — это много, — рассудил Кондрат.

Анисья поставила на стол огурцы, помидоры, нарезала ветчины. Присела с краешку сама.

— Тебе налить, тетка Анисья?

— Немного!.. С наперсток!

Пашка разлил по стаканам.

— Ну... радехоньки будем!

Выпили.

Некоторое время мужики смачно хрустели огурцами, рвали зубами розоватое сало. Молчали.

— Замуж-то собираешься выходить, тетка Анисья? — ляпнул Пашка.

Анисья даже слегка покраснела.

— Господи-батюшки!.. Да ты что это, Павел? Ты с чего это взял-то?

Теперь Пашка очень удивился.

— Привет! Так ты же сама говорила мне!

Кондрат готов был сквозь землю провалиться.

— Ну и балаболка ты, Павел, — сказал он с укоризной. — Ешь лучше.

— Желтмены! — воскликнул Пашка. — Я вас не понимаю! Мы же зачем приехали?

— Тьфу! — Кондрат горько сморщился и растерянно поглядел на Анисью.

Анисье тоже было не по себе, но она женским хитрым умом своим нашлась, как вывернуться из того трудного положения, куда их загнал Пашка. Она глянула в окно и вдруг всплеснула руками.

— Матушки мои! Свиньи-то! Свиньи-то! В огороде! — И вылетела из избы.

— Все! — Кондрат встал и бросил на стол вилку. — Поехали! Не могу больше: со стыда лопну. Ты что же это со мной делаешь-то?

— Спокойно, дядя Кондрат! — невозмутимо сказал Пашка. — Я в этих делах опытный. Если мы разведем туг канитель, то будем три дня сидеть и ничего не добьемся. Надо с ходу делать нокаут. Понял?

— Да что же ты меня позоришь-то так на старости лет! Вить мне не тридцать, чтобы нокауты твои дурацкие делать.

— Ничего, — успокоил Пашка, — сперва неловко, потом пройдет. Спокойствие, только спокойствие. Нам нельзя ждать милости от природы. Садись. Давай еще по махонькой. Что тут позорного? Ты говоришь «позор». Мы же не ворует.

— По-другому как-то делают люди... Язви ее, прямо хоть со стула падай.

— Глянется она тебе?

— Да ничего вроде... — Кондрат сел опять к столу. — Живая вроде бабенка.

— Все! — Пашка сделал жест рукой. — Наша будет!

— Но ты все-таки полегче, Павел, ну ты к шутам.

— А ты посмеивайся надо мной, — посоветовал Пашка. — Вроде бы я — дурачок. А с дурачка взятки гладки.

— Ну а как она-то? Как думаешь? Может, возьмет потом да скажет: «Вы что?»

— О-о, мне эти фраера! — изумился Пашка. — Да ты видишь, она с тебя глаз не спускает.

— Ты хаханьки тут не разводи! — разозлился Кондрат. — Тебя дело спрашивают.

— А что ты спрашиваешь, я никак не пойму?

— Вот мы ей сейчас скажем, что... это... ну, мол, согласная? А она возьмет да скажет: «Вы что». Она же сказала тебе, что, мол, ты что, Павел, когда это я замуж собиралась?

— О-о, — застонал Пашка, — о наивняк! Ты же совсем не знаешь женщин! Женщины — это сплошной кошмар. Давай, быстро хлопнули, потом, пока она выгоняет свиней, я тебе прочитаю лекцию про женщин.

— Хватит «хлопать», а то нахлопаешься.

— Начнем со свиней, — заговорил Пашка, встал из-за стола и стал прохаживаться по избе — ему так легче было подыскивать нужные слова. — Вот она сейчас побежала выгонять свиней. Так?

— Ну.

— Вопрос: каких свиней?

— Не выпендривайся, Пашка.

— Нет, нет, каких свиней?

— Ну... обыкновенных... белых. Грязные они бывают... Пошел ты к черту! Дурака ломает тут...

— Стопинг! Мы пришли к главному: она побежала выгонять свиней, а... что?

— Что?

— Вопрос: она побежала...

— Тьфу! Трепач! Пирамидон проклятый!

— Внимание! Женщина побежала выгонять свиней из огорода, а никаких свиней нету! — Пашка торжественно поднял руку. — Что и требовалось доказать. Она притворилась, что в огороде свиньи. Значит, она притворилась, когда сказала: «Что ты, Паша, я не собираюсь замуж». Потому

что она мне самому говорила: «Найди, — мол, — какого-нибудь пожилого». А когда я, как желтый-мен, привез ей пожилого, она начинает ломаться, потому что она — женщина, хоть и старая. Женщина — это стартер: когда-нибудь да подведет.

— Ни хрена ты сам не знаешь — трепешься только.

— Я? Не знаю?

— Не знаешь.

— Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу: «Мужчина и женщина». И там есть целая глава: «Отношения полов среди отдельных наций». И там написано, что даже индусы, например...

Вошла Анисья. Пожаловалась:

— Ограда вся прохудилась — свиньи так и прут, так и прут в огород. Наказание господнее.

Пашка перестал ходить, постоял, подумал, что-то решил.

— Тетка Анисья...

— Аиньки, Паша.

— Выйдем с тобой на пару слов...

— Хе-хе, — посмеялась Анисья, — чудной ты парень, ей-богу. Ну пойдем, пойдем...

Вышли. Несколько минут их не было. Кондрат сидел неподвижно за столом, смотрел в одну точку.

Вошел Пашка.

— Дядя Кондрат, мы в полном порядке. Первое: она, конечно, согласная. Хороший, говорит, мужик, сразу видно. Второе: я сейчас поеду, а вы останетесь тут... Потолкуете. В совхозе я скажу, что ты стал на дороге — подшипники меняешь. К вечеру, мол, будет. Вечером ты приедешь. Третье: налей мне семьдесят пять грамм, и я поеду.

— Ты ничего тут не... это... не придумал? — спросил Кондрат.

— Нет, нет.

— Что-то мне... страшновато, Павел, — признался Кондрат. — Войдет, а чего я ей скажу?

— Она сама чего-нибудь скажет. Наливай ноль семьдесят пять килограмма...

— Пить хватит — поедешь.

Пашка подумал и согласился.

— Правильно. Мы лучше в совхозе наверстаем.

— Боязно мне, Пашка, — опять сказал Кондрат, — не по себе как-то.

— В общем, я поехал. Гудбай! — Пашка решительно вышел.

Через минуту вошла Анисья с тарелкой соевых помидоров.

— Вёдро-то какое стоит! Благодать господня! — заговорила она.

— Да-а, — согласился Кондрат. — Погода прямо как на заказ.

На хмелесовхозе, куда приехал Пашка, он сперва потрелся с бабами, собиравшими хмель... Потом нашел директора.

— А где другой? — спросил тот, заглянув в Пашкину путевку.

— У него подшипники поплавились — меняет, — сказал Пашка.

— А ты шибко устал?

— Нет. А что?

— Надо бы поехать на нефтебазу — горючее получить. Я свои машины все раскидал, а у нас горючее кончается...

— Сфотографировано, — сказал Пашка.

— Что? — не понял директор.

— Будет сделано.

День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пашка, пока доехал до хранилища, порядком умаялся.

Бензохранилище — целый городок, строгий, стройный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектара в два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны — цилиндрические, квадратные.

Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы.

И тут — никто потом не мог сказать, как это случилось, почему, — низенькую контору озарил вдруг яркий свет.

В конторе было человек шесть шоферов, две девушки за столами и толстый мужчина в очках (тоже сидел за столом). Он и оформлял бумаги.

Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице:

— Пожар!

Шарахнули из конторы...

Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко.

Люди бежали от машин.

Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек (тот, который оформлял бумаги), отбежав немного, остановился.

— Давайте брезент! Э-э! — заорал он. — Куда вы?! Успеем же!.. Э-э!

— Бежи — сейчас рванет! Бежи, дура толстая! — крикнул кто-то из шоферов.

Несколько человек остановились. Остановился и Пашка.

— Сча-ас... Ох и будет! — услышался сзади чей-то голос.

— Добра пропадет сколько! — ответил другой.

Кто-то заматерился. Все ждали.

— Давайте брезент! — непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.

— Уходи! — опять крикнули ему. — Вот ишак... Что тут брезентом сделаешь? «Брезент»...

Пашку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горячей машине. Ни о чем не думал. Видел, как впереди, над машиной, огромным винтом свивается белое пламя.

Не помнил Пашка, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, «воткнул» скорость — человеческий механизм сработал точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерн и от других машин с горючим.

Река была в полукилометре от хранилища! Пашка правил туда, к реке.

Машина летела по дороге, редела... Горящие бочки грохотали в кузове, Пашка закусил до крови губу, почти лег на штурвал...

В палате, куда попал Пашка, лежало еще человек семь. Большинство лежало, задрав сверху загипсованные ноги.

Пашка тоже лежал, задрав сверху левую ногу.

Около него сидел тот самый человек с нефтебазы, который предлагал брезентом погасить пламя.

— Сколько лежать-то придется? — спросил толстый.

— Не знаю. С месяц, наверно, — ответил Пашка.

— Перелом бедренной кости? — спросил один белобрысый паренек (он лежал, задрав сразу обе ноги. Лежал, видно, долго, озверел и был каждой бочке затычка). — А сто суток не хочешь? Быстрые все какие...

— Ну, привет тебе от наших ребят, — продолжал толстый. — Хотели прийти сюда — не пускают. Меня как профорга и то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали... — Мужчина достал из-за пазухи пачку журналов. — Из газеты приходили, расспрашивали про тебя... А мы и знать не знаем, кто ты такой. Сказали, что придут сюда.

— Это ничего, — сказал Пашка самодовольно. — Я им тут речь скажу.

— «Речь»? Хэх!.. Ну, ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни — я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай.

— Ничего.

Профорг пожал Пашке руку, сказал всем «до свидания» и ушел.

— Ты что, герой, что ли? — спросил Пашку один «ходячий», когда за профоргом закрылась дверь.

Пашка некоторое время молчал.

— А вы разве ничего не слышали? — спросил он серьезно. — Должны же были по радио передавать.

— У нас наушники не работают. — Белобрысый щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья.

Пашка еще немного помолчал. И ляпнул:

— Меня же на Луну запускали.

У всех вытянулись лица, белобрысый даже рот приоткрыл.

— Нет, серьезно?

— Конечно. Кха! — Пашка смотрел в потолок с таким видом, как будто он на спор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится, — как будто он нисколько не сомневался в этом.

— Врешь ведь? — негромко сказал белобрысый.

— Не веришь, не верь, — сказал Пашка. — Какой мне смысл врать?

— Ну и как же ты?

— Долетел до половины, и горючего не хватило. Я прыгнул. И ногу вот сломал — неточно приземлился.

Первым очнулся человек с «самолетом».

— Вот это загнул! У меня ажник дыхание оставилось.

— Трепло, — сказал белобрысый разочарованно. — Я думал — правда.

— А как это ты на парашюте летел, если там воздуха нету? — спросил «ходячий».

— Затяжным.

— А кто это к тебе приходил сейчас? — спросил человек с «самолетом». — По-моему, я его где-то...

Тут в палату вошли старичок доктор с сестрами и с ними — молодая изящная женщина в брюках, маленькая, в громадном свитере — «странная и прекрасная».

Доктор подвел девушку к Пашке.

— Вот ваш герой. Прошу любить.

— Вы будете товарищ Колокольников?

— Я, — ответил Пашка и попытался привстать.

— Лежите, лежите, что вы! — воскликнула девушка, подходя к Пашкиной койке. — Я вот здесь присяду немножко. Можно?

— Боже мой! — сказал Пашка и опять попытался сдвинуться на койке.

Девушка села на краешек белой плоской койки.

— Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.

Белобрысый перестал хохотать, смотря то на Пашку, то на девушку.

— Это можно, — сказал Пашка и мельком глянул на белобрысого.

Тот начал теперь икать.

— Как вы себя чувствуете? — спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот.

— Железно, — сказал Пашка.

Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на него. Пашка тоже улыбнулся и подмигнул ей. Девушка опустила глаза к блокноту.

— Для начала... такие... формальные вопросы: откуда родом, сколько лет, где учились...

— Значит, так... — начал Пашка, закуривая. — А потом я речь скажу. Ладно?

— Речь?

— Да.

— Ну... хорошо... Я могу потом записать. В другой раз.

— Значит, так: родом я из Суртайки — семьдесят пять километров отсюда. А вы сами откуда?

Девушка весело посмотрела на Пашку, на других больных; все, притихнув, смотрели на нее и на Пашку, слушали. Белобрысый икал.

— Я из Ленинграда. А что?

— Видите ли, в чем дело, — заговорил Пашка, — я вам могу сказать следующее...

Белобрысый неудержимо икал.

— Выпей воды! — обозлился Пашка.

— Я только что пил — не помогает, — сказал белобрысый, сконфузившись.

— Значит, так... — продолжал Пашка, затягиваясь папироской. — О чем мы с вами говорили?

— Где вы учились?

— Я волнуюсь, — сказал Пашка (ему не хотелось говорить, что он окончил только пять классов). — Мне трудно говорить.

— Вот уж никогда бы не думала! — воскликнула девушка. — Неужели вести горящую машину легче?

— Видите ли... — опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, доверчиво спросил: — Вообще-то, в чем дело? Вы только это не пишите. Я что, на самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы напишете, а мне стыдно будет потом перед людьми. «Вон, — скажут, — герой пошел!» Народ же знаете какой... Или — ничего, можно?

Девушка тоже засмеялась... А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Пашку.

— Нет, это ничего, можно.

Пашка приободрился.

— Вы замужем? — спросил он.

Девушка растерялась.

- Нет... А, собственно, зачем вам это?
- Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.
- Что я, виноват, что ли? — сказал белобрысый и опять икнул.
- Девушку Пашкино предложение поставило в тупик.
- Понимаете... я должна этот материал дать сегодня. А завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки. Так?
- Так. — Пашка скис.
- Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе.
- Я понимаю.
- Где вы учились?
- В школе.
- Где, в Суртайке же?
- Так точно.
- Сколько классов кончили?
- Пашка строго посмотрел на девушку.
- Пять. Неженатый. Не судился еще. Все?
- Что вас заставило броситься к горящей машине?
- Дурость.
- Девушка посмотрела на Пашку.
- Конечно. Я же мог подорваться, — пояснил тот.
- Девушка задумалась.
- Хорошо, я завтра приду к вам, — сказала она.
- Только я не знаю... завтра приемный день?
- Приемный день в пятницу, — подсказал «ходячий».
- А мы сделаем! — напористо заговорил Пашка. — Тут доктор добрый такой старик, я его попрошу, он сделает. А? Скажем, что ты захворала, бюллетень выпишет.
- Приду. — Девушка улыбнулась. — Обязательно приду. Принести чего-нибудь?

— Ничего не надо! Меня профсоюз будет кормить.
— Тут хорошо кормят, — вставил белобрысый.
— Я уж на что — вон какой, и то мне хватает.
— Я какую-нибудь книжку интересную принесу.
— Книжку — это да, это можно. Желательно про любовь.

— Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?

Пашка мучительно задумался.

— Не знаю, — сказал он. И виновато посмотрел на девушку. — Вы сами напишите чего-нибудь, вы же умеете. Что-нибудь такое...

Пашка покрутил растопыренными пальцами.

— Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше — на цистерны. Да?

— Конечно!

Девушка записала.

— А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты придешь? — спросил вдруг Пашка.

— Я как-нибудь сделаю.

В палату вошел доктор.

— Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть? — спросил он.

— Все, доктор, ухожу. Еще два вопроса... Вас зовут Павлом?

— Колокольников Павел Егорыч. — Пашка взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза. — Приди, а?

— Приду. — Девушка ободряюще улыбнулась. Оглянулась на доктора, нагнулась к Пашке и шепнула: — Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?

— Хорошо. — Пашка ласково, благодарно смотрел на девушку.

— До свиданья. Поправляйтесь. До свиданья, товарищи!

Девушку все проводили добрыми глазами.

Доктор подошел к Пашке.

— Как дела, герой?

— Лучше всех.

— Дай-ка твою ногу.

— Доктор, пусть она придет завтра, — попросил Пашка.

— Кто? — спросил доктор. — Корреспондентка? Пусть приходит. Влюбился, что ли?

— Не я, а она в меня.

Смешливый доктор опять засмеялся.

— Ну, ну... Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.

Он посмотрел Пашкину ногу и ушел в другую палату.

— Думаешь, она придет? — спросил белобрысый Пашку.

— Придет, — уверенно сказал Пашка. — За мной не такие бегали.

— Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, — начал рассказывать белобрысый, — так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему три часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил. Я, говорит, не пьющий, то, се — начал вилять.

Пашка смотрел в потолок, не слушал белобрысого. Думал о чем-то. Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.

— Слышь, друг! — окликнул его белобрысый.

— Спит, — сказал человек с «самолетом». — Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил.

— Шебутной парень! — похвалил белобрысый.

— В армии с такими хорошо.

Пашка долго лежал с открытыми глазами, потом действительно заснул. И приснился ему такой сон.

Как будто он генерал. И входит он в ту самую

палату, где лежал он сам... Но только в палате лежат женщины. Тут Катя Лизунова, корреспондентка, Маша-птичница, городская женщина, женщина с нефтебазы и даже тетка Анисья... И свита вокруг Пашки — тоже из женщин.

Вошел Пашка и громко поздоровался.

Ему дружно ответили:

— Здравствуйте, товарищ генерал!

— Почему я не слышу аплодисментов? — тихо, но строго спросил Пашка-генерал у свиты. Одна из свиты угодливо пояснила:

— Дамская палата...

И она же попыталась надеть на Пашку халат.

— Не нужно, — сказал Пашка, — я стерильный.

И началось стремительное шествие генерала по палате — обход.

Первая — Катя Лизунова.

— Что болит? — спросил Пашка.

— Сердце.

— Желудочек?

Катя смотрит на Пашку как на дурака.

— Сердце!

Пашка повернулся к свите.

— Считается, что генерал — ни бум-бум в медицине. — И снисходительно пояснил Кате: — Сердце тоже имеет несколько желудочков. Ма-аленьких.

И дальше. Дальше — корреспондентка, «странная и прекрасная».

— Что? — ласково спросил Пашка.

— Сердце.

— Давно?

— С семнадцати лет.

— Ну, ничего, ничего...

Пашка двинулся дальше. Маша-птичница.

— Тоже сердце? — изумился Пашка.

— Сердце.

— Кошмар.

Пашка идет дальше.

Городская женщина.

Пашка демонстративно прошел мимо.

Тетя Анисья. Поет.

Пашка остановился над ней.

— И у тебя сердце?

— А что же я, хуже других, что ли? — обиделась Анисья. — Смешной ты, Павел: как напялит человек мундир, так начинает корчить из себя...

— Выписать ей пирамидону! — приказал Пашка. — Пятьсот грамм. Трибуну.

Принесли трибуну. Пашка взошел на нее.

— Я вам скажу небольшую речь, — начал он, но обнаружил непорядок. — Где графин?!

— Несут, товарищ генерал.

— Ну, что?! — Пашка обращался к женщинам, лежащим в палате. — Допрыгались?! Докатились?! Доскакались?!..

...И тут засмеялся белобрысый. Пашка поднял голову.

— Ты чего?

Белобрысый все смеялся.

— Это он во сне, — пояснил один пожилой больной. Все другие уже спали. Была ночь.

— Вот жеребец, — возмутился Пашка. — Здесь же больница все же.

Он лег и крепко зажмурился... И снова он на трибуне.

— На чем я остановился? — спросил он свиту.

— Вы сказали, что они доскакались...

— Куда доскакались? — с начальственным раздражением переспросил Пашка. — Работнички! Только форсить умеете!

И опять его разбудил смех белобрысого.

— Вот паразит, — сказал Пашка, поднимаясь. — Что он ржет-то всю ночь?

— Выздоровливает он, — опять сказал пожилой больной.

— Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбудить его, а? Сказать, что у него дом сгорел — ему тогда не до смеха будет.

— Не надо, пусть смеется.

Пашка опять крепко зажмурился, но больше не получалось, не спалось.

— А вы чего не спите? — спросил он пожилого больного.

— Так... не хочется.

Помолчали.

— Вот вы принадлежите к интеллигенции, — заговорил он.

— Ну, допустим.

— Книжек, наверно, много прочитали. Скажите: есть на свете счастливые люди?

— Есть.

— Нет, чтобы совсем счастливые.

— Есть.

— А я что-то не встречал. По-моему, нет таких. У каждого что-нибудь да не так...

— Вот хочешь, я прочитаю тебе...

— Что, письмо?

— Нет. — Больной взял с тумбочки ученическую тетрадку. — Сочинение одного молодого человека...

— Ну-ка, ну-ка... — Пашка приготовился слушать.

— «С утра мы пошли с пацанами в лес, — начал читать больной. — Все были почти из нашего четвертого «б». Пошли мы сорок зорить. Ну, назорили яичек, испекли и съели. Потом Колька Докучаев рассказывал, как они волка с отцом видали. Мы маленько струсили. В лесу было хорошо. А потом мы хохотали, как Серега Зиновьев из второго «а» петухом пел. В лесу было шибко хорошо. Потом мы пошли домой. Мне мама маленько всыпала, чтобы я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. А потом мы ели лапшу. Папка спросил меня: «Хорошо было в лесу?» Я сказал: «Ох, и хорошо!» Папка засмеялся. Вот и все. Больше я не знаю, чего».

— А для чего это вы? — спросил Пашка.

— Это писал счастливый человек.

— Так какое же туг счастье-то? — изумился Пашка.

— Самое обыкновенное: человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать. И прощать умеет. И делает это от души. Это — счастье.

— Так он же маленький еще!

— Ну, найдется кто-нибудь и большого его научит таким же быть.

— Каким?

— Добрым. Простым. Честным. Счастливых много... Ты тоже счастливый, только... учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно... А знаешь мало.

— Когда же мне учиться-то? Я же работаю.

— Вот поэтому и надо учиться.

— А вы — учитель, да?

— Учитель.

— Значит, вы счастливый, если вы учите?

— Наверно. Позови-ка сестру.

— Что, плохо?

— Нет, просто устал.

— Лиля Александровна! — позвал Пашка.

Вошла сестра и сделала учителю укол.

— Ну, вот теперь уснем, — сказал тот и выключил свет.

Пашка долго еще лежал с открытыми глазами, думал о чем-то. А как только стал засыпать, услышал голос Насти:

— Павел, иди ко мне.

...И опять снится Пашке сон:

Ждет его Настя на том самом месте, где встретила его во сне в первый раз.

— Здравствуй, Павел.

— Здравствуй.

- Как живешь?
- Ничего.
- Идеал-то не нашел еще?
- Пашка усмехнулся.
- Нет.
- Помнишь сказку? — спросила вдруг Настя. — Бабушка тебе рассказывала...
- Про голую бабу, что ли?
- Да.
- Помню.
- Так вот, ты не верь: это не смерть была, это любовь по земле ходит.
- Как это?
- Любовь. Ходит по земле.
- А чего она ходит?
- Чтобы люди знали ее, чтоб не забывали.
- Она что, тоже голая?
- Она красивая-красивая.
- Хоть бы разок увидеть ее.
- Увидишь. Она придет к тебе.
- А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Будешь ждать, что придет, а он возьмет и не придет. Так и проживешь дураком. Правильно я рассуждаю?
- Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь — это, брат, тоже школа, только лучше.
- И опять: если я буду сидеть и ждать...
- Зачем же ждать, — перебивает его Настя. — Надо искать. Надо все время искать, Павел.
- Так вот я ищу. Но я же хочу идеал!
- Опять засмеялся белобрысый. Пашка проснулся. Утро. Еще спят все. Пашка огляделся по палате. И вдруг ему показалось...
- Братцы! — заорал он.
- Повскакали больные.
- Ты чего, Пашка? — спросил белобрысый.

Пашка показал на учителя, который лежит недвижно.

Няня! — рывкнул белобрысый.

Учитель приподнялся.

— Что такое? В чем дело?

Все смотрят на него.

— Что случилось-то?

Пашка негромко засмеялся.

— А мне показалось, ты помер, — сказал он простодушно.

Учитель досадливо сморщился.

— Первую ночь спокойно уснул... Надо же!

Пашка лег и стал смотреть в потолок. На душе у него легко.

— Значит, будем жить, — сказал он, отвечая своим мыслям.

А за окнами больницы — большой ясный день. Большая милая жизнь...

1964

КАЛИНА КРАСНАЯ

История эта началась в исправительно-трудовой колонии, севернее города Н., в местах прекрасных и строгих.

Был вечер после трудового дня. Люди собрались в клубе.

На сцену вышел широкоплечий мужчина с обветренным лицом и объявил:

— А сейчас хор бывших рецидивистов споет нам задумчивую песню «Вечерний звон»!

На сцену из-за кулисы стали выходить участники хора — один за одним. Они стали так, что образовали две группы — большую и малую. Хористы все были далеко не певческого облика.

— В группе «бом-бом», — возвестил дальше широкоплечий и показал на большую группу, — участвуют те, у кого завтра оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним.

Хор запел. То есть завели в малой группе, а в большой нагнули головы и в нужный момент ударили с чувством:

— Бом-м, бом-м...

В группе «бом-бом» мы видим и нашего героя — Егора Прокудина, сорокалетнего, стриженного. Он старался всерьез и, когда «звонили», морщил лоб и качал круглой головой — чтобы похоже было, что звук колокола плывет и качается в вечернем воздухе.

Так закончился последний срок Егора Прокудина. Впереди — воля.

Утром в кабинете у одного из начальников произошло следующий разговор:

— Ну, расскажи, как думаешь жить, Прокудин? — спросил начальник. Он, видно, много-много раз спрашивал это — больно уж слова его вышли какие-то готовые.

— Честно! — поторопился с ответом Егор, тоже, надо полагать, готовым, потому что ответ выско-чил поразительно легко.

— Да это-то я понимаю... А как? Как ты это себе представляешь?

— Думаю заняться сельским хозяйством, граж-данин начальник.

— Товарищ.

— А? — не понял Егор.

— Теперь для тебя все — товарищи, — напо-мнил начальник.

— А-а! — с удовольствием вспомнил Прокудин. И даже посмеялся своей забывчивости. — Да-да... Много будет товарищей!

— А что это тебя в сельское хозяйство-то по-тянуло? — искренне поинтересовался начальник.

— Так я же ведь крестьянин! Родом-то. Вообще люблю природу. Куплю корову...

— Корову? — удивился начальник.

— Корову. Вот с таким выем. — Егор показал руками.

— Корову надо не по вымя выбирать. Если она еще молодая, какое же у нее «вот такое» вымя? А то вы-бери старую, у нее действительно вот такое вымя... Толку-то что? Корова должна быть... стройная.

— Так это что же тогда — по ногам? — сугодни-чал Егор вопросом.

— Что?

— Выбирать-то. По ногам, что ли?

— Да почему по ногам? По породе. Суще-ствуют породы — такая-то порода... Например, хол-могорская... — больше начальник не знал.

— Обожаю коров, — еще раз с силой сказал Егор. — Приведу ее в стойло... поставлю...

Начальник и Егор помолчали, глядя друг на друга.

— Корова — это хорошо, — согласился начальник. — Только... что ж, ты одной коровой и будешь заниматься? У тебя профессия-то есть какая-нибудь?

— У меня много профессий.

— Например?

Егор подумал, как если бы выбирал из множества своих профессий наименее... как бы это сказать — меньше всего пригодную для воровских целей.

— Слесарь...

Зазвонил телефон. Начальник взял трубку.

— Да. Да. А какой урок-то был? Тема какая? «Евгений Онегин»? Так, а насчет кого они вопросы-то стали задавать? Татьяны? А что им там непонятно, в Татьяне? Что, говорю, им там... — Начальник некоторое время слушал тонкий крикливый голос в трубке, укоризненно смотрел при этом на Егора и чуть кивал головой: мол, все ясно. — Пусть... Слушай сюда: пусть они там демагогией не занимаются! Что значит — будут дети, не будут дети?! Про это, что ли, поэма написана! А то я им приду объясню! Ты им... Ладно, сейчас Николаев придет к вам. — Начальник положил трубку и взял другую. Пока набирал номер, недовольно проговорил: — Доценты мне... Николаев? Там у учительницы литературы урок сорвали: начали вопросы задавать. А? «Евгений Онегин». Да не насчет Онегина, а насчет Татьяны: будут у нее дети от старика или не будут? Иди разберись. Давай. Во, доценты, понимаешь! — сказал начальник, кладя трубку. — Вопросы начали задавать.

Егор посмеялся, представив этот урок литературы.

— Хотят знать...

— У тебя жена-то есть? — спросил начальник строго.

Егор вынул из нагрудного кармана фотографию и подал начальнику. Тот взял, посмотрел.

— Это твоя жена? — спросил он, не скрывая удивления.

На фотографии была довольно красивая молодая женщина, добрая и ясная.

— Будущая, — сказал Егор. Ему не понравилось, что начальник удивился. — Ждет меня. Но живую я ее ни разу не видел.

— Как это?

— Заочница. — Егор потянулся, взял фотографию. — Позвольте. — И сам засмотрелся на милое русское простое лицо. — Байкалова Любовь Федоровна. Какая доверчивость на лице, а! Это удивительно, правда? На кассира похожа.

— И что она пишет?

— Пишет, что беду мою всю понимает... Но, говорит, не понимаю, как ты додумался в тюрьму угодить? Хорошие письма. Покой от них... Муж был пьянчуга — выгнала. А на людей все равно не обозлилась.

— А ты понимаешь, на что идешь? — негромко и серьезно спросил начальник.

— Понимаю, — тоже негромко сказал Егор и спрятал фотографию.

— Во-первых, оденься как следует. Куда ты такой... Ванька с Пресни заявишься. — Начальник недовольно оглядел Егора. — Что это за... почему так одет-то?

Егор был в сапогах, в рубашке-косоворотке, в фуфайке и каком-то форменном картузе — не то это сельский шофер, не то слесарь-сантехник, с легким намеком на участие в художественной самодельности.

Егор мельком оглядел себя, усмехнулся.

— Так надо было по роли. А потом уже не успел переодеться.

— Артисты... — только и сказал начальник и за-

смеялся. Он был не злой человек, и его так и не перестали изумлять люди, изобретательность которых не знает пределов.

И вот она — воля!

Это значит — захлопнулась за Егором дверь, и он очутился на улице небольшого поселка. Он вздохнул всей грудью весеннего воздуха, зажмурился и покрутил головой. Прошел немного и прислонился к забору. Мимо шла какая-то старушка с сумочкой, остановилась.

— Вам плохо?

— Мне хорошо, мать, — сказал Егор. — Хорошо, что я весной сел. Надо всегда весной садиться.

— Куда садиться? — не поняла старушка.

— В тюрьму.

Старушка только теперь сообразила, с кем говорит. Опасливо отстранилась и посеменила дальше. Посмотрела еще на забор, мимо которого шла. Опять оглянулась на Егора.

А Егор поднял руку навстречу «Волге». «Волга» остановилась. Егор стал договариваться с шофером. Шофер сперва не соглашался везти, Егор достал из кармана пачку денег, показал... и пошел садиться рядом с шофером.

В это время к ним подошла старушка, которая проявила участие к Егору, — не поленилась перейти улицу.

— Я прошу извинить меня, — заговорила она, склоняясь к Егору. — А почему именно весной?

— Садиться-то? Так весной сядешь — весной и выйдешь. Воля и весна! Чего еще человеку надо?

— Егор улыбнулся старушке и продекламировал: — Май мой синий! Июнь голубой!

— Вон как!.. — Старушка изумилась. Выпрямилась и глядела на Егора, как глядят в городе на коня — туда же, по улице идет, где машины. У ста-

рушки было румяное морщинистое личико и ясные глаза. Она, сама того не ведая, доставила Егору приятнейшую, дорогую минуту.

«Волга» поехала.

Старушка некоторое время смотрела ей вслед.

— Скажите... Поэт нашелся. Фет.

А Егор весь отдался движению.

Кончился поселок, выскочили на простор.

— Нет ли у тебя какой музыки? — спросил Егор.

Шофер, молодой парень, достал одной рукой из-за спины транзисторный магнитофон.

— Включи. Крайняя клавиша...

Егор включил какую-то славную музыку. Откинулся головой на сиденье, закрыл глаза. Долго он ждал такого часа. Заждался.

— Рад? — спросил шофер.

— Рад? — очнулся Егор. — Рад... — Он точно на вкус попробовал это словцо. — Видишь ли, малыш, если бы я жил три жизни, я бы одну просидел в тюрьме, другую — отдал тебе, а третью — прожил бы сам, как хочу. Но так как она у меня всего одна, то сейчас я, конечно, рад. А ты умеешь радоваться? — Егор от полноты чувства мог иногда взбежать повыше — где обитают слова красивые и пустые. — Умеешь, нет?

Шофер пожал плечами, ничего не ответил.

— Э-э, тухлое твое дело, сынок, — не умеешь.

— А чего радоваться-то?

Егор вдруг стал серьезным. Задумался. С ним это бывало — вдруг ни с того ни с сего задумается.

— А? — спросил Егор из каких-то своих мыслей.

— Чего, говорю, шибко радоваться-то? — Шофер был парень трезвый и занудливый.

— Ну, это я, брат, не знаю — чего радоваться, — заговорил Егор, с неохотой возвращаясь из своего далекого далека. — Умеешь — радуйся, не умеешь — сиди так. Тут не спрашивают. Стихи, например, любишь?

Парень опять неопределенно пожал плечами.
— Вот видишь, — с сожалением сказал Егор, —
а ты радоваться собрался.
— Я и не собирался радоваться.
— Стихи надо любить, — решительно закруг-
лил Егор этот вялый разговор. — Слушай, какие
стихи бывают. — И Егор начал читать — с пропу-
ском, правда, потому что подзабыл:

*...в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть.
Здравствуй ты, моя черная гибель,
Я навстречу тебе выхожу!*

*Город, город! ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.
Стынет поле в тоске...*

*какой-то... Тут подзабыл малость.
Телеграфными столбами давясь...
Тут опять забыл. Дальше:*

*Пусть для сердца тягуче колко,
Это песня звериных прав!..
...Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.*

*Зверь припал... и из пасмурных недр
Кто-то спустит сейчас курки...
Вдруг прыжок... и двуногого недруга
Раздирают на части клыки.*

*О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты не даром даешься ножу.
Как и ты — я, отовсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.*

*Как и ты — я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.*

*И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зарююсь в снегу...
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоят мне на том берегу.*

Егор, сам оглушенный силой слов, некоторое время сидел, стиснув зубы, глядел вперед. И была в его взгляде, сосредоточенном, устремленном вдаль, решимость, точно и сам он когда-то бросил прямой вызов кому-то и не страшился ни тогда, ни теперь.

— Как стихи? — спросил Егор.

— Хорошие стихи.

— Хорошие. Как стакан спирту дернул, — сказал Егор. — А ты: не люблю стихи. Молодой еще, надо всем интересоваться. Останови-ка... я своих подружек встретил.

Шофер не понял, каких он подружек встретил, но остановился.

Егор вышел из машины. Вокруг был сплошной березовый лес. И такой это был чистый белый мир на черной еще земле, такое свечение!.. Егор прислонился к березке, огляделся кругом.

— Ну, ты глянь, что делается! — сказал он с тихим восторгом. Повернулся к березке, погладил ее ладонью. — Здорово! Ишь ты какая... Невеста какая. Жениха ждешь? Скоро уж, скоро. — Егор быстро вернулся к машине. Все теперь было понятно. Ну-жен выход какой-нибудь. И скорее. Немедленно.

— Жми, малыш, на весь костыль. А то у меня сердце сейчас из груди выпрыгнет: надо что-то сделать. Ты спиртного с собой не возишь?

— Откуда!

— Ну, тогда рули. Сколько стоит твой музыкальный ящичек?

— Двести.

— Беру за триста. Он мне понравился.

В областном городе, на окраине, Егор велел остановиться, не доезжая того дома, где должны

быть свои люди. Щедро расплатился с шофером, взял музыкальный ящичек и дворами, сложно, пошел «на хату».

«Малина» была в сборе.

Сидела приятная молодая женщина с гитарой. Сидел около телефона некий здоровый лоб, похожий на бульдога, упорно смотрел на телефон. Сидели четыре девицы с голыми ногами... Ходил по комнате рослый молодой парень, поглядывал на телефон... Сидел в кресле губошлеп с темными зубами, потягивал из фужера шампанское... Еще человек пять-шесть молодых парней сидели кто где — курили или просто так.

Комната была драная, гадкая. Синенькие какие-то обои, захватанные и тоже драные, совсем уж некстати напоминали цветом своим весеннее небо, и от этого вовсе нехорошо было в этом вонючем сокрытом мирке, тяжело. Про такие обиталица говорят, обижая зверей, — логово.

Все сидели в каком-то странном оцепенении. Время от времени поглядывали на телефон. Напряжение чувствовалось во всем. Только скуластенькая молодая женщина чуть перебирала струны и негромко, красиво пела, хрипловато, но очень душевно:

*Калина красная,
Калина вызрела,
Я у залеточки
Характер вызнала.*

*Характер вызнала,
Характер — ой какой,
Я не уважила,
А он ушел к другой...*

А я...

Во входную дверь негромко постучали условным стуком. Все сидящие дернулись, как от вскрыка.

— Цыть! — сказал Губошлеп. И весело посмотрел на всех. — Нервы, — еще сказал Губошлеп. И взглядом послал одного открыть дверь.

Пошел рослый парень.

— Чепочка, — сказал Губошлеп. И сунул руку в карман. И ждал.

Рослый парень, не скидывая дверной цепочки, приоткрыл дверь... И поспешно скинул цепочку, оглянувшись на всех...

Дверь закрылась.

И вдруг за дверью грянул марш. Егор пинком открыл ее и вошел под марш. На него зашикали и повскакали с мест.

Егор выключил магнитофон, удивленно огляделся.

К нему подходили, здоровались... Но старались не шуметь.

— Привет, Горе. (Такова была кличка Егора — Горе).

— Здорово.

— Отпыхтел?

Егор подавал руку, но все не мог понять, что здесь такое. Много было знакомых, а были и не просто знакомые — была тут Люсьен (скуластенькая), был, наконец, Губошлеп — их Егор рад был видеть. Но что они?

— А чего вы такие все?

— Ларек наши берут, — пояснил один, здороваясь. — Должны звонить... Ждем.

Очень обрадовалась Егору скуластенькая женщина. Она повисла у него на шее... И всего испцеловала. Глаза ее, чуть влажные, прямо сияли от неподдельной радости.

— Горе ты мое!.. Я тебя сегодня во сне видела...

— Ну-ну, — говорил счастливый Егор. — И что я во сне делал?

— Обнимал меня. Крепко-крепко.

— А ты ни с кем меня не спутала?

— Горе!..

— А ну, повернись-ка, сынку! — сказал Губошлеп. — Экий ты какой стал!

Егор подошел к Губошлепу, они сдержанно обнялись. Губошлеп так и не встал. Весело смотрел на Егора.

— Я вспоминаю один весенний вечер... — заговорил Губошлеп. И все стихли. — В воздухе было немножко сыро, на вокзале — сотни людей. От чемоданов рябит в глазах. Все люди взволнованы — все хотят уехать. И среди этих взволнованных, нервных сидел один... Сидел он на своем деревенском сундуке и думал горькую думу. К нему подошел некий изящный молодой человек и спросил: «Что пригорюнился, добрый молодец?» — «Да вот... горе у меня! Один на земле остался, не знаю, куда деваться». Тогда молодой человек...

Зазвонил телефон. Всех опять как током дернуло.

— Да? — вроде как безразлично спросил парень, похожий на бульдога. И долго слушал. И кивал. — Все сидим здесь. Я не отхожу от телефона. Все здесь, Горе пришел... Да. Только что. Ждем. Ждем. — Похожий на бульдога положил трубку и повернулся ко всем.

— Начали.

Все пришли в нервное движение.

— Шампанзе! — велел Губошлеп.

Бутылки с шампанским пошли по рукам.

— Что за ларек? — спросил Егор Губошлепа.

— Кусков на восемь, — сказал тот. — Твое здоровье!

Выпили.

— Люсьен... Что-нибудь... снять напряжение, — попросил Губошлеп. Он был худой, спокойный и чрезвычайно наглый, глаза очень наглые.

— Я буду петь про любовь, — сказала приятная Люсьен. И тряхнула крашеной головой и с маху положила ладонь на струны. И все стихли.

*Тары-бары-растабары,
Чары-чары...
Очи-ночь.
Кто не весел,
Кто в печали —
Уходите прочь!
Во лугах, под кровом ночи,
Счастье даром раздают!
Очи, очи...
Сердце хочет:
Поманите — я пойду!
Тары-бары-растабары...*

Опять зазвонил телефон. Вмиг повисла гробовая тишина.

— Да? — изо всех сил спокойно сказал Бульдог в трубку. — Нет, вы ошиблись номером. Ничего, пожалуйста. Бывает, бывает. — Бульдог положил трубку. — В прачечную звонит, сука.

Все пришли в движение.

— Шампанзе! — опять велел Губошлеп. — Горе, от кого поклоны принес?

— Потом, — сказал Егор. — Дай я сперва нагляжусь на вас. Вот, вишь, тут молодые люди незнакомые... Ну-ка, я познакомлюсь.

Молодые люди по второму разу, с почтением подавали руки. Егор внимательно, с усмешкой, заглядывал им в глаза. И кивал головой, и говорил: «Так, так».

— Хочу плясать! — заявила Люсьен. И трахнула фужер об пол.

— Ша, Люсьен, — сказал Губошлеп. — Не заводись.

— Иди ты к дьяволу! — сказала подпившая Люсьен. — Горе, наш коронный номер!

И Егор тоже с силой бросил свой фужер.

И у него тоже заблестели глаза.

— Ну-ка, молодые люди, дайте круг. Брысь!

— Ша, Горе! — повысил голос Губошлеп. — Выбрали время!

— Да мы же услышим звонок! — заговорили со всех сторон Губошлепу. — Пусть сбациают.

— Чего ты? Пусть выйдут!

— Бульдя же сидит на телефоне.

Губошлеп вынул белый платочек и хоть запоздало, но важно, как Пугачев, махнул им.

Две гитары дернули «Барыню».

Пошла Люсьен... Ах, как она плясала! Она умела. Не размашисто, нет, а четко, легко, с большим тактом. Вроде вколачивала каблучками в гроб свою калеку-жизнь, а сама, как птица, била крыльями — чтоб отлететь. Много она вкладывала в пляску. Она даже красивой вдруг сделалась, родной и милой...

Егор, когда Люсьен подступала к нему, начинал тоже и работал только ногами. Руки заложены за спину, ничего вроде особенного, не прыгал козлом — а тоже хорошо. Хорошо у них выходило. Таилось что-то за этой пляской — неизжитое, незабытое.

— Вот какой минуты ждала моя многострадальная душа, — сказал Егор вполне серьезно. Такой, верно, ждалась ему желанная воля.

— Подожди, Егорушка, я еще не так успокою твою душу, — откликнулась Люсьен. — Ах как я ее успокою! И сама успокоюсь.

— Успокой, Люсьен. А то она плачет.

— Успокою. Я прижму ее к сердцу, голубку, скажу ей: «Устала? Милая... милая... добрая... Устала».

— Смотри, не клюнула бы эта голубка, — встрял в этот деланный разговор Губошлеп. — А то клюнет.

— Нет, она не злая, — серьезно сказал Егор, не глядя на Губошлепа. И жесткость легла тенью на его доброе лицо. Но плясать они не перестали, они плясали. На них хотелось без конца смотреть, и молодые люди смотрели, с какой-то тревогой смотрели, жадно, как будто тут заколачивалась в гроб некая отвратительная часть и их жизни тоже — можно потом выйти на белый свет, а там — весна.

— Она устала в клетке, — сказала Люсьен нежно.
— Она плачет, — сказал Егор. — Нужен праздник.
— По темечку ее... Прутиком, — сказал Губошлеп. — Она успокоится.

— Какие люди, Егорушка! А? — воскликнула Люсьен. — Какие злые!

— Ну, на злых, Люсьен, мы сами — волки. Но душа-то, душа-то... Плачет.

— Успокоим, Егорушка, успокоим. Я же волшебница, я все чары свои пушу в ход...

— Из голубей похлебка хорошая, — сказал ехидный Губошлеп. Весь он, худой как нож, собранный, страшный своей молодой ненужностью, весь он ушел в свои глаза. Глаза горели злобой.

— Нет, она плачет! — остервенело сказал Егор. — Плачет! Тесно ей там — плачет! — Он рванул рубаху... И стал против Губошлепа. Гитары смолкли. И смолк перепляс волшебницы Люсьен.

Губошлеп держал уже руку в кармане.

— Опять ты за старое, Горе? — спросил он, удовлетворенный.

— Я тебе, наверно, последний раз говорю, — спокойно тоже и устало сказал Егор, застегивая рубаху. — Не тронь меня за болячку... Когда-нибудь ты не успеешь сунуть руку в карман. Я тебе сказал.

— Я слышал.

— Эх-х!.. — огорчилась Люсьен. — Скука... Опять покойники, кровь... Бр-р... Налей-ка мне шампанского, дружок.

Зазвонил телефон. Про него как-то забыли все.

Бульдог кинулся к аппарату, схватил трубку... Поднес к уху, и она обожгла его. Он бросил ее на рычажки.

Первым вскочил с места Губошлеп. Он был стремительный человек. Но все же он был спокоен.

— Сгорели, — коротко и ужасно сказал Бульдог.

— По одному — кто куда, —скомандовал Губошлеп. — Веером. На две недели все умерли. Время!

Стали исчезать по одному. Исчезать они, как видно, умели. Никто ничего не спрашивал.

— Ни одной пары! — еще сказал Губошлеп. — Сбор у Ивана. Не раньше десяти дней.

Егор сел к столу, налил фужер шампанского, выпил.

— Ты что, Горе? — спросил Губошлеп.

— Я?.. — Егор помедлил в задумчивости. — Я, кажется, действительно займусь сельским хозяйством.

Люсьен и Губошлеп стояли над ним в недоумении.

— Каким сельским хозяйством?

— Уходить надо, чего ты сел?! — встряхнула его Люсьен.

Егор очнулся. Встал.

— Уходить? Опять уходить... Когда же я буду приходить, граждане? А где мой славный ящичек?.. А, вот он. Обязательно надо уходить? Может...

— Что ты! Через десять минут здесь будут. Наверно, выследили.

Люсьен пошла к выходу.

Егор двинулся было за ней, но Губошлеп мягко остановил его за плечо. И мягко сказал:

— Не надо. Погорим. Мы скоро все увидимся...

— А ты с ней пойдешь? — прямо спросил Егор.

— Нет, — твердо и, похоже, честно сказал Губошлеп. — Иди! — резко крикнул он Люсьен, которая задержалась в дверях.

Люсьен недобро глянула на Губошлепа и вышла.

— Отдохни где-нибудь, — сказал Губошлеп, наливая в два фужера. — Отдохни, дружок, — хоть к Кольке Королю, хоть к Ваньке Самыкину, у него уголок хороший. А меня прости за... сегодняшнее. Но... Горе ты мое, Горе, ты же мне тоже на болячку жмешь, только не замечаешь. Давай. Со встречей. И — до свидания пока. Не горюй. Гроши есть?

— Есть. Мне там собрали...

— А то могу подкинуть.

— Давай, — передумал Егор.

Губошлеп вытащил из кармана и дал сколько-то Егору. Пачку.

— Где будешь?

— Не знаю. Найду кого-нибудь. Как же вы так — завалились-то?..

В это время в комнату скользнул один из молодых, белый от испуга.

— Квартал окружили, — сказал он.

— А ты что?

— Я не знаю куда... Я вам сказать.

— Сам прет на рога, — засмеялся Губошлеп. — Чего ж ты опять сюда-то? Ах, милый ты мой, телепочек мой... За мной, братики!

Они вышли каким-то черным ходом и направились было вдоль стены в сторону улицы, но оттуда, с той стороны, послышались крепкие шаги патруля. Они — в другую сторону, но и оттуда раздались шаги...

— Так, — сказал Губошлеп, не утрачивая своей загадочной веселости. — Что-то паленым пахнет. А, Егор? Чуешь?

— Ну-ка, сюда! — Егор втокнул своих спутников в какую-то нишу.

Шага с обеих сторон приближались...

В одном месте, справа, по стене прыгнул лучик сильного карманного фонаря.

Губошлеп вынул из кармана наган...

— Брось, дура! — резко и зло сказал Егор. — Психопат. Может, те не расколются... А ты тут стрельбу откроешь.

— Та знаю я их! — нервно воскликнул Губошлеп. Вот сейчас, вот тут, он, пожалуй, утратил свое спокойствие.

— Вот я сейчас рвану — уведу их. У меня справка об освобождении, — заговорил Егор быстро, выискивая глазами — в какую сторону рвануть. — Справка помечена сегодняшним числом... Я при-

крытый. Догонят — скажу: испугался. Скажу: бабенку искал, услышал свистки — испугался сдуру... Все. Не поминайте лихом!

И Егор ринулся от них... И побежал напрапалую. Тотчас со всех сторон раздались свистки и топот ног.

Егор бежал с каким-то азартом, молодо... Бежал, да еще и приговаривал себе, подпевал. Увидел просвет, кинулся туда, полез через какие-то трубы и победно спел:

— Оп, тирдарпупия! Ничего я не видал, ох, никого не знаю!..

Он уже перебрался через трубы... Сзади в темноте, совсем близко, бежали. Егор юркнул в широкую трубу и замер.

Над ним загрохотали железные шаги...

Егор сидел, скрючившись, и довольно улыбался. И шептал:

— Д-ничего я не видал, д-никого не знаю.

Он затеял какую-то опасную игру. Когда гул железный прекратился и можно было пересидеть тут и вовсе, он вдруг опять снялся с места и опять побежал.

За ним опять устремились.

— Эх, ничего я не видал, ох, никого не знаю! Д-никого не знаю! — подбадривал себя Егор. Маханул через какую-то невысокую изгородь, побежал по кустам — похоже, попал в какой-то сад. Близко взлаяла собака. Егор кинулся вбок... Опять изгородь, он перепрыгнул и очутился на кладбище.

— Привет! — сказал Егор. И пошел тихо.

А шум погони устремился дальше — в сторону.

— Ну надо же, сбежал! — изумился Егор. — Всегда бы так, елки зеленые. А то ведь, когда хочешь подорвать, попадаешься, как ребенок.

И опять охватила Егора радость воли, радость жизни.

— Ох, д-ничего ж я не видал, д-никого не знаю, — еще разок спел Егор. И включил свой славный ящи-

чек на малую громкость. И пошел читать надписи на надгробиях. Кладбище огибала улица, и свет фар надолго освещал кресты — пока машина огибала угол. И тени от крестов, длинные, уродливые, плыли по земле, по холмикам, по оградкам... Жутковатая, в общем-то, картина. А тут еще музыка Егорова — вовсе как-то нелепо. Егор выключил музыку.

— «Спи спокойно до светлого утра», — успевал прочитывать Егор. — «Купец первой гильдии Неверов»... А ты-то как здесь?! — удивился Егор. — Тыща восемьсот девяносто... А-а, ты уже давно. Ну-ну, купец первой гильдии... «Едут с товарами в путь из Касимова...» — запел было негромко Егор, но спохватился. — «Дорогому, незабвенному мужу от неутешной вдовы», — прочитал он дальше. Присел на скамеечку, посидел некоторое время... Встал. — Ну, ладно, ребята, вы лежите, а я пойду. Ничего не сделаешь... Пойду себе, как честный фраер: где-то же надо, в конце концов, приткнуть голову. Надо же? Надо. — И все же спел еще разок: — Д-ничего ж я не видал, д-никого ж не зна-аю.

И стал он искать, куда бы приткнуться.

У двери деревянного домика на самой окраине из сеней ему сурово сказали:

— Иди отсюда! А то я те выйду, покажу горе... Горе покажу и страдание.

Егор помолчал немного.

— Ну, выйди.

— И выйду!

— Выйдешь... Ты мне скажи: Нинка здесь или нет? — по-доброму спросил Егор мужика за дверью. — Только правду! А то ведь я узнаю... И строго накажу, если обманешь.

Мужик тоже помолчал. И тоже сменил тон, сказал дерзко, но хоть не так зло:

— Никакой здесь Нинки нет, тебе говорят! Неужели непонятно? Шляются тут по ночам-то.

— Поджечь, что ли, вас? — вслух подумал Егор. И брякнул спичками в кармане. — А?

За дверью долго молчали.

— Попробуй, — сказал наконец голос. Но уже вовсе не грозно. — Попробуй подожги. Нет Нинки, я те серьезно говорю. Уехала она.

— Куда?

— На Север куда-то.

— А чего ты лаяться кинулся? Неужели трудно было сразу объяснить?

— А потому что меня зло берет на вас! Из-за таких вот и уехала... С таким же вот.

— Ну, считай, что она в надежных руках — не пропадет. Будь здоров!

В телефонной будке Егор тоже рассердился.

— Почему нельзя-то?! Почему? — орал он в трубку.

Ему что-то долго объясняли.

— Заразы вы все, — с дрожью в голосе сказал Егор. — Я из вас букет сделаю, суки: головками вниз посажу в клумбу... Ну, твари! — Егор бросил трубку... И задумался. — Люба, — произнес он с дурашливой нежностью. — Все. Еду к Любе. — И он зло саданул дверью будки и пошагал к вокзалу. И говорил дорогой:

— Ах ты, лапушка ты моя! Любушка-голубушка... Оладушек ты мой сибирский! Я хоть отъежусь около тебя... Хоть волосы отрастут. Дорогуша ты моя сдобная! — Егор все набирал и набирал какого-то остервенения. — Съем я тебя поеду! — закричал он в тишину, в ночь. И даже не оглянулся посмотреть — не потревожил ли кого своим криком. Шаги его громко отдавались в пустой улице; подморозило на ночь, асфальт звенел. — Задушу в объятиях!.. Разорву и схавую! И запью самогонкой. Все!

И вот районный автобус привез Егора в село Ясное.

А Егора на взгорке стояла и ждала Люба. Егор сразу увидел и узнал ее... В сердце толкнуло — она!

И пошел к ней.

— Ё-моё, — говорил он себе негромко, изумленный, — да она просто красавица! Просто зоренька ясная. Колобок просто ... Красная шапочка...

— Здравствуйте, — сказал он вежливо и наигранно застенчиво. И подал руку. — Георгий. — И пожал с чувством крепкую крестьянскую руку. И — на всякий случай — потрянул ее, тоже с чувством.

— Люба. — Женщина просто и как-то задумчиво глядела на Егора. Молчала. Егору от ее взгляда сделалось беспокойно.

— Это я, — сказал он. И почувствовал себя очень глупо.

— А это — я, — сказала Люба. И все смотрела на него спокойно и задумчиво.

— Я некрасивый, — зачем-то сказал Егор.

Люба засмеялась.

— Пойдем-ка посидим пока в чайной, — сказала она. — Расскажи про себя, что ли...

— Я непьющий, — поспешил Егор.

— Ой ли? — искренне удивилась Люба. И очень как-то просто у нее это получилось, естественно. Егора простота эта сбила с толку.

— Нет, я, конечно, могу поддержать компанию, но... это... не так, чтобы засандалить там... Я очень умеренный.

— Да мы чайку выпьем, и все. Расскажешь про себя маленько. — Люба все смотрела на своего заочника... И так странно смотрела, точно над собой же и подсмеивалась в душе, точно говорила себе, изумленная своим поступком: «Ну, не дура ли я? Что затеяла-то?». Но женщина она, видно, самостоятельная: и смеется над собой, а делает, что хочет. — Пойдем... Расскажи. А то у меня мать с от-

цом строгие, говорят: и не заявляйся сюда со своим арестантом. — Люба шла немного впереди и, говоря это, оглядывалась, и вид у нее был спокойный и веселый. — А я им говорю: да он арестант-то по случайности. По несчастью. Верно же?

Егор при известии, что у нее родители, да еще строгие, заскучал. Но вида не подал.

— Да-да, — сказал он «интеллигентно». — Стечение обстоятельств, громадная невезуха...

— Вот и я говорю.

— У вас родители — кержаки?

— Нет. Почему ты так решил?

— Строгие-то... Попрут еще. Я, например, курю.

— Господи, у меня отец сам курит. Брат, правда, не курит...

— И брат есть?

— Есть. У нас семья большая. У брата двое детей — большие уже: один в институте учится, другая десятилетку заканчивает.

— Все учатся... Это хорошо, — похвалил Егор. — Молодцы. — Но, однако, ему кисло сделалось от такой родни.

Зашли в чайную. Сели в углу за столик. В чайной былолюдно, беспрестанно входили и выходили... И все с интересом разглядывали Егора. От этого тоже было неловко, неудобно.

— Может, мы возьмем бутылочку да пойдем куда-нибудь? — предложил Егор.

— Зачем? Здесь вон как славно... Ньюра, Ньюр! — позвала Люба девушку. — Принеси нам, голубушка... Чего принести-то? — повернулась она к Егору.

— Красенького, — сказал Егор, снисходительно поморщившись. — У меня от водки изжога.

— Красенького, Ньюр! — Загадочное впечатление производила Люба: она точно играла какую-то умную игру, играла спокойно, весело и с любопытством всматривалась в Егора: разгадал тот или нет, что это за игра?

— Ну, Георгий... — начала она, — Расскажи, значит, про себя.

— Прямо как на допросе, — сказал Егор и мелко посмеялся. Но Люба его не поддержала, и Егор посерьезнел.

— Ну, что рассказывать? Я — бухгалтер, работал в Орсе, начальство, конечно, воровало... Тут — бах! — ревизия. И мне намотали... Мне, естественно, пришлось отдуваться. Слушай, — тоже перешел он на «ты», — давай уйдем отсюда: они смотрят, как эти...

— Да пусть смотрят! Чего они тебе? Ты же не сбежал.

— Вот справка! — воскликнул Егор. И полез было в карман.

— Я верю, верю, господи! Я так, к слову. Ну, ну? И сколько же ты сидел?

— Пять.

— Ну?

— Все... А что еще?

— Это с такими ручищами ты — бухгалтер? Даже не верится.

— Что? Руки?... А-а. Так это я их уже там натренировал... — Егор потянул руки со стола.

— Такими руками только замки ломать, а не на счетах... — Люба засмеялась.

И Егор, несколько встревоженный, фальшиво посмеялся тоже.

— Ну, а здесь чем думаешь заниматься? Тоже бухгалтером будешь?

— Нет! — поспешно сказал Егор. — Бухгалтером я больше не буду.

— А кем же?

— Надо осмотреться... А может малость попридержать коней, Люба? — Егор тоже прямо глянул в глаза женщины. — Ты как-то сразу погнала вмах: работа, работа... Работа — не Алитет. Подожди с этим.

— А зачем ты меня обманывать-то стал? — тоже прямо спросила Люба. — Я же писала вашему начальнику, и он мне ответил...

— А-а, — протянул Егор, пораженный. — Вот оно что... — И ему стало легко и даже весело. — Ну, тогда гони всю тройку под гору. Наливай.

И включил Егор музыку.

— А такие письма писал хорошие, — с сожалением сказала Люба. — Это же не письма, а целые... поэмы прямо целые.

— Да? — оживился Егор. — Тебе нравятся? Может, талант пропадает... — Он пропел: — Пропала молодость, талант в стенах тюрьмы. Давай, Любовь, наливай. Централка, все ночи полные огня... Давай, давай!

— А чего ты-то погнал? Подожди... Поговорим.

— Ну, начальничек, мля! — воскликнул Егор. — И ничего не сказал мне. А тихим фраером я подъехал? Да? Бухгалтер... — Егор хохотнул. — Бухгалтер... По учету товаров широкого потребления.

— Так чего же ты хотел, Георгий? — спросила Люба. — Обманывал-то... Обокрасть, что ли, меня?

— Ну, мать!.. Ты даешь! Поехал в далекие края — две пары валенок брать. Ты меня оскорбляешь, Люба.

— А чего же?

— Что?

— Чего хочешь-то?

— Не знаю. Может, отдых душе устроить... Но это тоже не то: для меня отдых — это... Да. Не знаю, не знаю, Любовь.

— Эх, Егорушка.

Егор даже вздрогнул и испуганно глянул на Любу: так похоже она это сказала — так говорила далекая Люсьен.

— Что?

— Ведь и правда, пристал ты, как конь в гору... только еще боками не проваливаешь. Да пена изо

рта не идет. Упадешь ведь. Запалишься и упадешь. У тебя правда, что ли, никого нету? Родных-то...

— Нет, я сиротинушка горькая. Я же писал. Кличка моя знаешь какая? Горе. Мой псевдоним. Но все же ты мне на мозоль, пожалуйста, не наступай. Не надо. Я еще не побирушка. Чего-чего, а магазинчик-то подломить я еще смогу. Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Жаль, что ты мне не в эту пору встретишься... Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие... вполне презираю.

— Презираешь, а идешь из-за них на такую страсть.

— Я не из-за денег иду.

— Из-за чего же?

— Никем больше не могу быть на этой земле — только вором. — Егор сказал это с гордостью. Ему было очень легко с Любой. Хотелось, например, чем-нибудь ее удивить.

— Ое-ей! Ну, допивай да пойдём, — сказала Люба.

— Куда? — удивился Егор.

— Ко мне. Ты же ко мне приехал. Или у тебя еще где-нибудь заочница есть? — Люба засмеялась. Ей тоже было легко с Егором, очень легко.

— Погоди... — не понимал Егор. — Но мы же теперь выяснили, что я не бухгалтер...

— Ну, уж ты тоже выбрал профессию... — Люба качнула головой. — Хотя бы уж свиновод, что ли, и то лучше. Выдумал бы какой-нибудь падеж свиней — ну, осудили, мол. А ты, и правда-то, не похож на жулика. Нормальный мужик... Даже вроде наш, деревенский. Ну, свиновод, пошли, что ли?

— Между прочим, — не без фанаберии заговорил Егор, — к вашему сведению: я шофер второго класса.

— И права есть? — с недоверием спросила Люба.

— Права в Магадане.

— Ну, видишь, тебе же цены нет, а ты — Горе! Бича хорошего нет на это горе. Пошли.

— Типичная крестьянская психология. Ломовая. Я — рецидивист, дурочка. Я — ворюга несусветный. Я...

— Тише! Что, опьянел, что ли?

— Так. А в чем дело? — опомнился Егор. — Не понимаю, объясни, пожалуйста. Ну, мы пойдем... Что дальше?

— Пошли ко мне. Отдохни хоть с недельку... Украсть у меня все равно нечего. Отдышись... Потом уж поедешь магазины ломать. Пойдем. А то люди скажут: встретила — от ворот поворот. Зачем же тогда звала? Знаешь, мы тут какие!.. Сразу друг друга осудим. Да и потом... не боюсь я тебя чего-то, не знаю.

— Так. А папаша твой не приголубит меня... колуном по лбу? Мало ли какая ему мысль придет в голову.

— Нет, ничего. Теперь уж надейся на меня.

Дом у Байкаловых большой, крестовый. В одной половине жила Люба со стариками, через стенку — брат с семьей.

Дом стоял на высоком берегу реки, за рекой открывались необозримые дали. Хозяйство у Байкаловых налаженное, широкий двор с постройками, баня на самой крутизне.

Старики Байкаловы как раз стряпали пельмени, когда хозяйка, Михайловна, увидела в окно Любу и Егора.

— Гли-ка, ведет ведь! — всполошилась она. — Любка-то!.. Рестанта-то!..

Старик тоже приник к окошку.

— Вот теперь заживем! — в сердцах сказал он.

— По внутреннему распорядку, язви ты в душу! Вот это отчебучила дочь!

Видно было, как Люба что-то рассказывает Егору: показывала рукой за реку, оглядывалась и показывала назад, на село. Егор послушно крутил головой. Но больше взглядывал на дом Любы, на окна.

А тут переполох полный. Все же не верили старики, что кто-то приедет к ним из тюрьмы. И хоть Люба и телеграмму им показывала от Егора, все равно не верилось. А обернулось все чистой правдой.

— Ну, окаянная, ну, халда! — сокрушалась старуха. — Ну, чё я могла с халдой поделывать? Ничё же я не могла...

— Ты вида не показывай, что мы напужались или ишо чего... — учил ее дед. — Видали мы таких... разбойников! Стенька Разин нашелся.

— Однако и приветить ведь надо?.. — первая же и сообразила старуха. — Или как? У меня голова кругом пошла — не соображу...

— Надо. Все будем по-людски делать, а там уж поглядим: может, жизни свои покладем... через дочь родную. Ну, Любка, Любка...

Вошли Люба с Егором.

— Здравствуйте! — приветливо сказал Егор.

Старики в ответ только кивнули... И открыто, в упор разглядывали Егора.

— Ну, вот и бухгалтер наш, — как ни в чем не бывало заговорила Люба. — И никакой он вовсе не разбойник с большой дороги, а попал по... этому, по...

— По недоразумению, — подсказал Егор.

— И сколько же счас дают за недоразумение? — спросил старик.

— Пять, — кротко ответил Егор.

— Мало. Раньше больше давали.

— По какому же такому недоразумению загудел-то? — прямо спросила старуха.

— Начальство воровало, а он списывал, — пояснила Люба. — Ну, допросили? А теперь покормить надо — человек с дороги. Садись пока, Георгий.

Егор обнажил свою стриженую голову и скромненько присел на краешек стула.

— Посиди пока, — велела Люба. — Я пойду баню затоплю. И будем обедать. — Люба ушла. Нарочно,

похоже, ушла — чтобы они тут до чего-нибудь хоть договорились. Сами. Наверно, надеялась на своих незлобивых родителей.

— Закурить можно? — спросил Егор.

Не то что тяжело ему было — ну и выгонят, делов-то! — но если бы, например, все обошлось миром, то оно бы и лучше. Интереснее. Конечно, не ради одного голого интереса хотелось бы здесь прижиться хоть на малое время, а еще и надо было... Где-то же надо было и пересидеть пока, и осмотреться.

— Кури, — разрешил дед. — Какие куришь?

— «Памир».

— Сигаретки, что ли?

— Сигаретки.

— Ну-ка, дай я попробую. — Дед подсел к Егору. И все приглядывался к нему, приглядывался.

Закурили.

— Да как какое, говоришь, недоразумение-то вышло? Метил кому-нибудь по лбу, а угодил в лоб? — как бы между делом спросил дед.

Егор посмотрел на смекалистого старика.

— Да... — неопределенно сказал он. — Семерых в одном месте зарезали, а восьмого не углядели — ушел. Вот и попались...

Старуха выронила из рук полено и села на лавку.

Старик оказался умнее, не испугался.

— Семерых?

— Семерых. Напрочь: головы в мешок поклали и ушли.

— Свят-свят-свят... — закрестилась старуха. — Федя...

— Тихо! — скомандовал старик. — Один дурак городит чего ни попадя, а другая... А ты, кобель, аккуратней с языком-то: тут пожилые люди.

— Так что же вы, пожилые люди, сами меня с ходу в разбойники записали? Вам говорят — бухгалтер, а вы, можно сказать, хихикаете. Ну — из тюрьмы... Что же, в тюрьме одни только убийцы сидят?

— Кто тебя в убийцы зачисляет! Но только ты тоже, того... что ты булгахтер, это ты тоже... не заливай тут. Булгахтер! Я булгахтеров-то видел-перевидел!.. Булгахтера тихие все, маленько вроде пришибленные. У булгахтера голос слабенький, очечки... и потом я заметил: они все курносые. Какой же ты булгахтер — об твой лоб-то можно поросят шестимесячных бить. Это ты Любке вон говори про булгахтера — она поверит. А я, как ты зашел, сразу определил: этот — или за драку, или машину лесу украл. Так?

— Тебе прямо оперуполномоченным работать, отец, — сказал Егор. — Цены бы не было. Колчаку не служил в молодые годы? В контрразведке белогвардейской?

Старик часто-часто заморгал. Тут он чего-то растерялся. А чего — он и сам не знал. Слова очень уж зловещие.

— Ты чего это? — спросил он. — Чего мелешь-то?

— А чего так сразу смутился? Я просто спрашиваю... Хорошо, другой вопрос: колоски в трудные годы не воровал с колхозных полей?

Старик, изумленный таким неожиданным оборотом, молчал. Он вовсе сбился с налаженного было снисходительного тона и не находил, что отвечать этому обормоту. Впрочем, Егор так и построил свой «допрос», чтобы сбивать и не давать опомниться. Он повидал в своей жизни мастеров этого дела.

— Затрудняетесь, — продолжал Егор. — Ну, хорошо... Ну, поставим вопрос несколько иначе, по-домашнему, что ли: на собраниях часто выступаем?

— Ты чего тут Микитку-то из себя строишь? — спросил наконец старик. И готов был очень обозлиться. Готов был наговорить много и сердито, но тут Егор пружинисто снялся с места, надел форменную свою фуражку и заходил по комнате.

— Видите, как мы славно пристроились жить! — заговорил Егор, изредка остро взглядывая на сидящего старика. — Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна... Люди напрягают все силы. Люди буквально падают от напряжения, ликвидируют все остатки разгильдяйства и слабости, люди, можно сказать, заикаются от напряжения, — Егор наскочил на слово «напряжение» и с удовольствием смаковал его, — люди покрываются морщинами на Крайнем Севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы... А в это самое время находятся другие люди, которые из всех достижений человечества облюбовали себе печку! Вот как! Славно, славно... Будем лучше чувал подпирать ногами, чем дружно напрягаться вместе со всеми...

— Да он с десяти годов работает! — встряла старуха. — Он с малолетства на пашне...

— Реплики потом, — резковато осадил ее Егор. — А то мы все добренькие, когда это не касается наших интересов, нашего, так сказать, кармана...

— Я — стахановец вечный! — чуть не закричал старик. — У меня восемнадцать похвальных грамот. Егор остановился удивленный.

— Так чего же ты сидишь молчишь? — спросил он другим тоном.

— Молчишь... Ты же мне слова не даешь воткнуть!

— Где похвальные грамоты?

— Там, — сказала старуха, вконец тоже сбитая с толку.

— Где «там»?

— Вон, в шкафчике... все приборы.

— Им место не в шкафчике, а на стене! В «шкапчике». Привыкли все по шкафчикам прятать, понимаешь...

В это время вошла Люба.

— Ну, как вы тут? — спросила она весело. Она раздурманилась в бане, волосы выбились из-под

платка... Такая она была хорошая! Егор невольно загляделся на нее. — Все тут у вас хорошо? Мирно?

— Ну и ухаля ты себе нашла! — с неподдельным восторгом сказал старик. — Ты гляди, как он тут попер!.. Чисто комиссар какой! — Старик засмеялся.

Старуха только головой покачала... И сердито поджала губы.

Так познакомился Егор с родителями Любы.

С братом ее, Петром, и его семьей знакомство произошло позже.

Петро въехал во двор на самосвале... Долго рычал самосвал, сотрясая стекла окошек. Наконец стал на место, мотор заглох, и Петро вылез из кабины. К нему подошла жена Зоя, продавщица сельпо, членораздельная бабочка, быстрая и суетливая.

— К Любке-то приехал... Этот-то, заочник-то, — сразу сообщила она.

— Да? — нехотя любопытствовал Петро, здоровый мужчина, угрюмоватый, весь в каких-то своих думках. — Ну и что? — Пнул баллон, другой.

— Говорит, был бухгалтером, ну, мол, ревизия — то-се... А по роже видать: бандит.

— Да? — опять нехотя и лениво сказал Петро. — Ну и что?

— Да ничего. Надо осторожней первое время... Ты иди глянь на этого бухгалтера! Иди глянь! Нож воткнет и не задумается этот бухгалтер.

— Да? — Петро продолжал пинать баллоны. — Ну и что?

— Ты иди глянь на него! Иди глянь! Вот так нашла себе!.. Иди глянь на него — нам же под одной крышей жить теперь.

— Ну и что?

— Ничего! — зависла голос Зоя. — У нас дочь-школьница, вот что! Заладил свое: «Ну и что?»

ну и что?» Мы то и дело одни на ночь остаемся, вот что! «Ну и что». Чтокалка чертова, пень. Жену с дочерью зарежут, он шагу не прибавит...

Петро пошел в дом, вытирая на ходу руки ветошью. Насчет того, что он «шагу не прибавит» — это как-то на него похоже: на редкость спокойный мужик, медлительный, но весь налит свинцовой рязящей силой. Сила эта чувствовалась в каждом движении Петра, в том, как он медленно ворочал головой и смотрел маленькими своими глазами — прямо и с каким-то стылым, немигающим бесстрашием.

— Вот сейчас с Петром вместе пойдете, — говорила Люба, собирая Егора в баню. — Чего же тебе переодеть-то дать? Как же ты так: едешь свататься, и даже лишней пары белья нету? Ну? Кто же так заявляется!

— На то она и тюрьма! — воскликнул старик. — А не курорт. С курорта и то, бывает, приезжают прозрачные. Илюха вон Лопатин радикулит ездил лечить: корову целую ухнул, а приехал без копыя.

— Ну-ка вот, мужнины бывшие... Нашла. Небось годится. — Люба извлекла из сундучка длинную белую рубаху и кальсоны.

— То есть? — не понял Егор.

— Моего мужика бывшего... — Люба стояла с бельем в руках. — А чего?

— Да я что?! — обиделся Егор. — Совсем, что ли, подзаборник — чужое белье напялю. У меня есть деньги — надо сходить и купить в магазине.

— Где ты теперь купишь? Закрыто уж все. А чего тут такого? Оно стираное...

— Бери, чего? — сказал и старик. — Оно же чистое. Егор подумал и взял.

— Опускаюсь все ниже и ниже, — проворчал он при этом. — Даже самому интересно... Я потом вам спою песню: «Во саду ли, в огороде».

— Иди, иди, — провожала его к выходу Люба. — Петро у нас не шибко ласковый, так что не удивляйся: он со всеми такой.

Петро уже раздевался в предбаннике, когда туда сунулся Егор.

— Бритых принимают? — постарался он заговорить как можно веселее, даже рот растянул в улыбке.

— Всяких принимают, — все тем же ровным голосом, каким он говорил «ну и что», сказал Петро.

— Будем знакомы — Георгий. — Егор протянул руку. И все улыбался и заглядывал в сумрачные глаза Петра. Все же хотелось ему освоиться среди этих людей, почему-то теперь хотелось. Люба, что ли?.. — Я говорю: я — Георгий.

— Ну-ну, — сказал Петро. — Давай еще целоваться. Георгий, значит, Георгий. Значит, Жора...

— Джордж. — Егор остался с протянутой рукой. Перестал улыбаться.

— А? — не понял Петро.

— На! — с сердцем сказал Егор. — Курва, суюсь сегодня, как побирושка!.. — Егор бросил белье на лавку. — Осталось только хвостом повилять. Что, я тебе дорожку перешел, что ты мне руку не соизволил подать? — Егор и вправду заволновался и полез в карман за сигаретой. Закурил. Сел на лавочку. Руки у него чуть дрожали.

— Чего ты? — спросил Петро. — Расселся-то?

— Иди мойся, — сказал Егор. — Я потом. Я же из заключения... Мы после вас. Не беспокойтесь.

— Во!.. — сказал Петро. И, не снимая трусов, вошел в баню. Слышно было, как он загремел там тазами, ковшом...

Егор прилег на широкую лавку, курил.

— Ну, надо же!.. — сказал он. — Как бедный родственник, мля.

Открылась дверь бани, из парного облака выглянул Петро.

— Чего ты? — спросил он.

— Чего?

— Чего лежишь-то?

— Я подкидыш.

— Во!.. — сказал Петро. И усунулся опять в баню. Долго там наливал воду в тазы, двигал лавки... Не выдержал и опять открыл дверь. — Ты пойдешь или нет?! — спросил он.

— У меня справка об освобождении! — чуть не заорал ему в лицо Егор. — Я завтра пойду и получу такой же паспорт, как у тебя! Точно такой, за исключением маленькой пометки, которую никто не читает. Понял?

— Счас возьму и силком суну в тазик, — сказал Петро невыразительно. — И посажу на каменку. Без паспорта. — Петру самому понравилось, как он сострил. Еще добавил: — Со справкой. — И хохотнул коротко.

— Вот это уже другой разговор! — Егор сел на лавке. И стал раздеваться. — А то начинает тут... Диплом ему покажи!

А в это время мать Любина и Зоя, жена Петра, загнали в угол Любу и наперебой допрашивали ее.

— На кой ты его в чайную-то повела? — визгливо спрашивала членораздельная Зоя, женщина вполне истеричная. — Ведь вся уж деревня знает: к Любке тюремщик приехал! Мне на работе прямо сказали...

— Любка, Любка!.. — насилу дозвалась мать. — Ты скажи так: если ты, скажи, просто так приехал — жир накопить да потом опять зауситься по свету, — то, скажи, уезжай сёдни же, не позорь меня перед людьми. Если, скажи, у тебя...

— Как это может так быть, чтобы у него семьи не было? Как? Что он — парень семнадцати годов? Ты думаешь своей головой-то?

— Ты скажи так: если, скажи, у тебя чего худое на уме, то собирай манатки и...

— Ему собраться — только подпоясаться, — встрял в разговор молчавший до этого старик. — Чего вы навалились на девку? Чего счас с нее спрашивать? Тут уж — как выйдет, какой человек окажется. Как она за него может счас заручиться?

— Не пугайте вы меня, ради Христа, — только и сказала Люба. — Я сама боюсь. Что, вы думаете, просто мне?

— Вот!.. Я тебе чего и говорю-то! — воскликнула Зоя.

— Ты вот чего, девка... Любка, слышь? — опять затормошила Любу мать. — Ты скажи так: вот чего, добрый человек, иди сѣдни ночуй где-нибудь.

— Это где же? — обалдела Люба.

— В сельсовете...

— Тьфу! — разозлился старик. — Да вы что, совсем сдурели?! Гляди-ка: вызвали мужика да отправили его в сельсовет ночевать! Вот так да!.. Совсем уж нехристи какие-то.

— Пусть его завтра милиционер обследует, — не сдавалась мать.

— Чего его обследовать-то? Он весь налицо.

— Не знаю... — заговорила Люба. — А вот кажется мне, что он хороший человек. Я как-то по глазам вижу... Еще на карточке заметила: глаза какие-то... грустные. Вот хоть убейте вы меня — мне его жалко. Может, я и...

Тут из бани с диким ревом выскочил Петро и покатился с веником по сырой земле.

— Свари-ил! — кричал Петро. — Живьем сварил!..

Следом выскочил Егор с ковшом в руке.

К Петру уже бежали из дома. Старик бежал с топором.

— Убили! Убили! — заполошно кричала Зоя, жена Петра. — Люди добрые, убили!..

— Не ори, — страдальческим голосом попросил Петро, садясь и поглаживая ошпаренный бок. — Чего ты?

— Чего, Петька? — спросил запыхавшийся старик.

— Попросил этого полудурка плеснуть ковшик горячей воды — поддать на каменку, а он взял меня да окатил.

— А я еще удивился, — растерянно говорил Егор, — как же, думаю, он стерпит?.. Вода-то ведь горячая. Я еще пальцем попробовал — прямо кипяток! Как же, думаю, он вытерпит? Ну, думаю, закаленный, наверно. Наверно, думаю, кожа, как у быка, — толстая. Я же не знал, что надо на каменку.

— «Пальцем попробовал», — передразнил Петро. — Что, совсем уж?.. Ребенок, что ли, малый?

— Я же думал, тебе окупнуться надо...

— Да я еще не парился! — заорал всегда спокойный Петро. — Я еще не мылся даже!.. Чего мне ополаскиваться-то?

— Жиром каким-нибудь надо смазать, — сказал отец, исследовав ожог. — Ничего тут страшного нету. Надо только жиру какого-нибудь... Ну-ка, кто?

— У меня сало баранье есть, — сказала Зоя. И побежала в дом.

— Ладно, расходитесь, — велел старик. — А то уж вон людишки сбегаются.

— Да как же это ты, Егор? — спросила Люба.

Егор поддернул трусы и опять стал оправдываться.

— Понимаешь, как вышло: он уже напощадал — дышать нечем — и просит: «Дай ковшик горячей». Ну, думаю, хочет мужик температурный баланс навести...

— «Бала-анс», — опять передразнил его Петро. — Навел бы я те сейчас баланс — ковшом по лбу! Вот же полудурок-то, весь бок ошпарил. А если бы там живой кипяток был?

— Я же пальцем попробовал...

— «Пальцем»!.. Чем тебя только делали, такого.

— Ну, дай мне по лбу, правда, — взмолился Егор, — мне легче будет. — Он протянул Петру ковш. — Дай, умоляю...

— Петро... — заговорила Люба. — Он же нечаянно. Ну, что теперь?

— Да идите вы в дом, ей-богу! — рассердился на всех Петро. — Вон и правда люди собираться начали.

У изгороди Байкаловых действительно остано-
вилось человек шесть-семь любопытных.

— Чё там у их? — спросил у стоявших вновь по-
дошедший мужик.

— Петро ихний... Пьяный на каменку свалился,
— пояснила какая-то старушка.

— Ох, ё!.. — сказал мужик. — Дак а живой ли?

— Живой... Вишь, сидит. Чухается.

— Вот заорал-то, наверно!

— Так заорал, так заорал!.. У меня ажник стекла
задрезжали.

— Заорешь...

— Чё же, задом, что ли, приспособился?

— Как же задом? Он же сидит.

— Да сидит же... Боком, наверно, угодил. А эт
кто же у их? Что за мужик-то?

— Это ж надо так пить! — удивлялась старушка.

Засиделись далеко за полночь.

Старые люди, слегка захмелев, заговорили и за-
спорили о каких-то своих делах. Их, старых, на-
бралось за столом изрядно, человек двенадцать.
Говорили, перебивая друг друга, а то и сразу по
двое, по трое.

— Ты кого говоришь-то? Кого говоришь-то? Она
замуж-то вон куда выходила — в Краюшкино, ну!

— Правильно. За этого, как его? За этого...

— За Митьку Хромова она выходила!

— Ну, за Митьку.

— А Хромовых раскулачили...

— Кого раскулачили? Громовых? Здорово живешь!..

— Да не Громовых, а Хромовых!

— А-а. А то я слушаю — Громовых. Мы с Ми-
хайлой-то Громовым шишковать в чернь ездили.

— А когда, значит, самого-то Хромова раскулачили...

— Правильно, он маслобойку держал.

— Кто маслобойку держал? Хромов? Это мас-
лобойку-то Воиновы держали, ты чё! А Хромов,

сам-то, гурты вон перегонял из Монголии. Шерстобитку они держали, верно, а маслобойку Воиновы держали. Их тоже раскулачили. А самого Хромова прямо от гурта взяли... Я ишо помню: амбар у их стали ломать — пимы искали, они пимы катали, вся деревня, помню, сбежалась глядеть.

— Нашли?

— Девять пар.

— Дак а Митьку-то не тронули?

— А Митька-то успел уже, отделился. Вот как раз на Кланьке-то женился, его отец и отделил. Их не тронули. Но все равно, когда отца увезли, Митька сам уехал из Краюшкина: чижало ему по-казалось после этого жить там.

— Погоди-ка, а кто же тада у их в Карасук выходил?

— Это Манька! Манька-то тоже ишо живая, в городе у дочери живет. Да тоже плохо живет! Это как-то стрела ее на базаре: жалеет, что дом продала в деревне. Пока, говорит, ребятишки, внучатки-то, маленькие были, говорит, нужна была, а ребятишки выросли — в тягость стала.

— Оно так, — сказали враз несколько старух. — Пока водисся — нужна, как маленько ребятишки подросли — не нужна.

— Ишо какой зять попадет. Попадет обмылок какой-нибудь — он тебе...

— Какие они нынче, зятя-то! Известное дело...

Несколько в сторонке от пожилых сидели Егор с Любой. Люба показывала семейный альбом с фотографиями, который сама она собрала и бережно хранила.

— А это Михаил, — показывала Люба братьев. — А это Павел и Ваня... вместе. Они сперва вместе воевали, потом Пашу ранило, но он поправился и опять пошел. И тогда уж его убило. А Ваню последним убило, в Берлине. Нам командир письмо присылал... Мне Ваню больше всех жалко, он такой веселый был. Везде меня с собой таскал, я маленькая

была. А помню его хорошо... Во сне вижу — смеется. Вишь, и здесь смеется. А вот Петро наш... Во, строгий какой, а самому всего только... сколько же? Восемнадцать ему было? Да, восемнадцать. Он в плен попадал, потом наши освободили их. Его там избивали сильно... А больше нигде даже не царапнуло.

Егор поднял голову, посмотрел на Петра... Петро сидел один, курил. Выпитое на нем не отразилось никак, он сидел, как всегда, задумчивый и спокойный.

— Зато я его сегодня... ополоснул. Как черт под руку подтолкнул.

Люба склонилась ближе к Егору и спросила негромко и хитро:

— А ты не нарочно его? Прямо не верится, что ты...

— Да ты что! — искренне воскликнул Егор. — Я правда думал — он на себя просит; как говорится: вызываю огонь на себя.

— Да ты же из деревни, говоришь, как же ты так подумал?

— Ну... везде свои обычаи.

— А я уж, грешным делом, решила: сказал ему чего-нибудь Петро не так, тот прикинулся дурачком да и плесканул.

— Ну!.. Что ж я?..

Петро, почувствовав, что на него смотрят и говорят о нем, посмотрел в их сторону... Встретились взглядом с Егором. Петро по-доброму усмехнулся.

— Что, Жоржик, сварил было?

— Ты прости, Петро.

— Да будет! Заведи-ка еще разок свою музыку, хорошая музыка.

Егор включил магнитофон. И грянул тот самый марш, под который Егор входил в «малину». Жизнерадостный марш, жизнеутверждающий. Он странно звучал здесь, в крестьянской избе, — каким-то нездешним ярким движением вломился

в мирную беседу. Но движение есть движение: постепенно разговор за столом стих... И все сидели и слушали марш-движение.

А ночью было тихо-тихо. Светила в окна луна.

Егору постелили в одной комнате со стариками, за цветастой занавеской, которую насквозь всю прошивал лунный свет.

Люба спала в горнице. Дверь в горницу была открыта. Там тоже было тихо.

Егору не спалось. Эта тишина бесила.

Он приподнял голову, прислушался... Тихо. Только старик похрапывает да тикают ходики.

Егор ужом выскользнул из-под одеяла и, ослепительно белый в кальсонах и длинной рубаше, неслышно прокрался в горницу. Ничто не стукнуло, не скрипнуло... Только хрустнула какая-то косточка в ноге Егора, в лапе где-то.

Он дошел уже до двери горницы. И ступил уже шаг-другой по горнице, когда в тишине прозвучал отчетливый, совсем не сонный голос Любы:

— Ну-ка, марш на место!

Егор остановился. Малость помолчал...

— А в чем дело-то? — спросил он обиженно, шепотом.

— Ни в чем. Иди спать.

— Мне не спится.

— Ну, так лежи... думай о будущем.

— Но я хотел поговорить! — стал злиться Егор.

— Хотел задать пару вопросов...

— Завтра поговорим. Какие вопросы ночью?

— Один вопрос! — вконец обозлился Егор. —

Больше не задам...

— Любка, возьми чего-нибудь... Возьми скороводник, — раздался вдруг голос старухи сзади, тоже никакой не заспанный.

— У меня пестик под подушкой, — сказала Люба. Егор пошел на место.

— Поше-ол... На цыпочках. Котяра, — сказала еще старуха. — Думает, его не слышат. Я все слышу. И вижу.

— Фраер!.. — злился шепотом Егор за цветастой занавеской. — Отдохнуть душой!.. Телом!.. Фраер со справкой!

Он полежал тихо... Перевернулся на другой бок.

— Луна еще, сука!.. Как сдурела. — Он опять перевернулся. — Круговую оборону заняли, понял! Кого охранять, спрашивается?

— Не ворчи, не ворчи там, — миролюбиво уже сказала старуха. — Разворчался.

И вдруг Егор громко, отчетливо, остервенело процитировал:

— Ее нижняя юбка была в широкую красную и синюю полоску и казалась сделанной из театрального занавеса. Я бы много дал, чтобы занять первое место, но спектакль не состоялся. — Пауза. И потом в тишину из-за занавески полетело еще — последнее, ученое: — Лихтенберг! Афоризмы!

Старик перестал храпеть и спросил встревоженно:

— Кто? Чего вы?

— Да вон... ругается лежит, — сказала старуха недовольно. — Первое место не занял, вишь.

— Это не я ругаюсь, — пояснил Егор, — а Лихтенберг.

— Я вот поругаюсь, — проворчал старик. — Чего ты там?

— Это не я! — раздраженно воскликнул Егор. — Так сказал Лихтенберг. И он вовсе не ругается, он острит.

— Тоже, наверно, булгахтер? — спросил старик не без издевки.

— Француз, — откликнулся Егор.

— А?

— Француз!
— Спи́те! — сердито сказала старуха. — Разговорились.

Стало тихо. Только тикали ходики.

И пялилась в окошки луна.

Наутро, когда отзавтракали и Люба с Егором остались одни за столом, Егор сказал:

— Так, Любовь... Еду в город заниматься эки... ров... экипировкой. Оденусь.

Люба спокойно, чуть усмешливо, но с едва уловимой грустью смотрела на него. Молчала, как будто понимала нечто большее, чем то, что ей сказал Егор.

— Ехай, — сказала она тихо.

— А чего ты так смотришь? — Егор и сам засмотрелся на нее, на утреннюю, хорошую. И почувствовал тревогу от возможной разлуки с ней. И ему тоже стало грустно, но он грустить не умел — он нервничал.

— Как?

— Не веришь мне?

Люба долго опять молчала.

— Делай, как тебе душа велит, Егор. Что ты спрашиваешь — верю, не верю?.. Верю я или не верю — тебя же это не остановит.

Егор нагнул свою стриженую голову.

— Я бы хотел не врать, Люба, — заговорил он решительно. — Мне всю жизнь противно врать... Я вру, конечно, но от этого... только тяжелей жить. Я вру и презираю себя. И охота уж добить свою жизнь совсем, вдребезги. Только бы веселей и, желательно, с водкой. Поэтому сейчас я не буду врать: я не знаю. Может, вернусь. Может, нет.

— Спасибо за правду, Егор.

— Ты хорошая, — вырвалось у Егора. И он засуетился, хуже того, занервничал. — Повелю!.. Сколько ж я раз говорил это слово. Я же его замуслил. Ничего же слова не стоят! Что за люди!..

Дай, я сделаю так. — Егор положил свою руку на руку Любы. — Останусь один и спрошу свою душу. Мне надо, Люба.

— Делай, как нужно. Я тебе ничего не говорю. Уйдешь, мне будет жалко. Жалко-жалко! Я, наверно, заплачу... — У Любы и теперь на глазах выступили слезы. — Но худого слова не скажу.

Егору все стало неважно: он не переносил слез.

— Так... Все, Любовь. Больше не могу — тяжело. Прошу прощения.

И вот шагает он раздольным молодым полем... Поле непаханое, и на нем только-только проклюнулась первая остренькая травка. Егор шагает широко. Решительно. Упрямо. Так он и по жизни своей шагал, как по этому полю, — решительно и упрямо. Падал, поднимался и опять шел. Шел — как будто в этом одном все искупление, чтобы идти и идти, не останавливаясь, не оглядываясь, как будто так можно уйти от себя самого.

И вдруг за ним — невесть откуда, один за одним — стали появляться люди. Появляются и идут за ним, едва поспевают. Это все его дружки, подружки, потертые, помятые, с бессовестным откровением в глазах. Все молчат. Молчит и Егор — шагает. А за ним толпа все прибывает... И долго шли так. Потом Егор вдруг резко остановился и, не оглядываясь, с силой отмахнулся от всех и сказал зло, сквозь зубы:

— Ну, будет уж! Будет!

Оглянулся. Ему навстречу шагает один только Губошлеп. Идет и улыбается. И держит руку в кармане. Егор стиснул крепче зубы и тоже сунул руки в карманы... И Губошлеп пропал.

...А стоял Егор на дороге и поджидал: не поедет ли автобус или какая-нибудь попутная машина — до города.

Одна грузовая показалась вдали.

Работалось и не работалось Любе в тот день... Перемогалась душой. Призналась неожиданно подруге своей, когда отдоились, молоко увезли и они выходили со скотного двора:

— Гляди-ка, Верка, присохла ведь я к мужику-то. — Сказала и сама подивилась. — Ну, надо же! Болит и болит душа — весь день.

— Так а совсем уехал-то? Чего сказал-то?

— Сам, говорит, не знаю.

— Да пошли ты его к черту! Плюнь. Ка-кой! «Сам не знаю». У него жена где-нибудь есть. Что говорит-то?

— Не знаю. Никого, говорит, нету.

— Врет! Любка, не дури: прими опять Кольку, да живите. Все они пьют нынче! Кто не пьет-то? Мой вон позавчера пришел... Ну, паразит!.. — И Верка, коротконогая живая бабочка, по секрету, негромко рассказала: — Пришел, кэ-эк я его скалкой огрела! Даже сама напугалась. А утром встал — голова, говорит, болит, ударился где-то. Я ему: пить надо меньше. — И Верка мелко-мелко засмеялась.

— И когда успела-то? — удивилась опять Люба своим мыслям.

— А? — не поняла Верка.

— Да когда, говорю, успела-то? Видела-то... всего сутки. Как же так? Неужели так бывает?

— Он за что сидел-то?

— За кражу... — И Люба беспомощно посмотрела на подругу.

— Шило на мыло, — сказала та. — Пьяницу на вора... Ну и судьбина тебе выпала! Живи одна, Любка. Может, потом путный какой подвернется. А ну-ка да его опять воровать потянет? Что тогда?

— Что тогда? Посадют.

— Ну, язви тебя-то! Ты что, полоумная, что ли?

— А я сама не знаю, чего я. Как сдурела! Самой противно... Вот болит и болит душа, как, скажи, век я его знала. А знала — сутки. Правда, он целый год письма слал...

— Да им там делать-то нечего, они и пишут.

— Но ты бы знала, какие письма!..

— Про любовь?

— Да нет... Все про жизнь. Он правда, наверно, повидал много, черт стриженный. Так напишет — прямо сердце заболит, читаешь. И я уж и не знаю: то ли я его люблю, то ли мне его жалко. А вот болит душа — и все.

А Егор в это самое время делал свои дела в рай-городе.

Перво-наперво он шикарно оделся.

Шел по улице небольшого деревянного городка, по деревянному тротуару, в новеньком костюме, при галстукке, в шляпе, руки в карманах.

Зашел на почту. Написал на телеграфном бланке адрес, сумму прописью и несколько слов приветия. Подал бланк, облокотился возле окошечка и стал считать деньги.

— «Деньги передать Губошлепу», — прочитала девушка в окошечке. — Губошлеп — это фамилия, что ли?

Егор секунду-две думал. И сказал:

— Совершенно верно, фамилия.

— А чего же вы пишете с маленькой буквы? Ну и фамилия!..

— Бывают похуже, — сказал Егор. — У нас в тресте один был — Пистонов.

Девушка подняла голову. Она была очень маленькая девушка, глазастенькая, с коротким тупым носиком.

— Ну и что?

— Ничего. Фамилия, мол, Пистонов. — Егор был серьезен. Он помнил, что он в шляпе.

— Ну, и... нормальная фамилия.

— Вообще-то, нормальная, — согласился Егор. И вдруг забыл, что он в шляпе, улыбнулся. И обеспокоился. — Скажите, пожалуйста, — сунулся он в окошечко, — вот я приехал с золотых приисков, а у меня совершенно тут никаких знакомых...

— Ну и что? — не поняла девушка.

— У вас есть молодой человек? — прямо спросил Егор.

— А вам что? — Тупоносенькая вроде не очень удивилась, а даже оставила работу и смотрела на Егора.

— Я в том смысле, что не могли бы мы вместе совершить какое-нибудь уникальное турне по городу?

— Гражданин!.. — строго повысила голос девушка. — Вы не хамите тут! Вы деньги переводите? Вот и переводите.

Егор вылез из окошечка. Он обиделся. Зачем же надо было оставлять работу и смотреть ласково? Егор так только и понимал теперь: девушка, прежде чем зарычать, смотрела на него ласково. К чему, спрашивается, эти разные штучки-дрючки?

— И сразу на арапа берут! — негромко возмутился он. — «Гражданин!..» Какой я вам гражданин? Я вам — товарищ и даже друг и брат.

Девушка опять подняла на него большие серые глаза.

— Работайте, работайте, — сказал Егор. — А то только глазками стрелять туда-сюда!

Девушка хмыкнула и склонилась к бланку.

— Шляпу, главное, надел, — не удержалась и сказала она, не глядя на Егора.

И квиточек отдала, тоже не глядя: положила на стойку и занялась другим делом. И попробуй отвлеки ее от этого дела.

— Шалашовки, — ругался Егор, выходя с почты. — Вы у меня танец маленьких лебедей будете исполнять. Краковяк!.. — Он зашагал к вокзальному ресторану. — Польку-бабочку! — Егор накалял себя. В глазах появился тот беспокойный блеск,

который свидетельствовал, что душа его стро- нулась и больно толкается в груди. Он прибавил шагу. — Нет, как вам это нравится! Марионетки. Красные шапочки... Я вам устрою тут фигурные катания! Я наэлектризую здесь атмосферу и по- селю бардак. — Дальше он и вовсе бессмысленно бормотал, что влетит в голову: — Тарьям-па-пам, тарьям-папам!.. Тарьям-папам-папам-папам...

В ресторане он заказал бутылку шампанского и подал юркому человеку, официанту, бумажку в двадцать пять рублей и сказал:

— Спасибо. Сдачи не нужно.

Официант даже растерялся...

— Очень благодарен, очень благодарен...

— Ерунда, — сказал Егор. И показал рукой, чтоб официант присел на минуточку. Официант присел на стул рядом. — Я приехал с золотых при- исков, — продолжал Егор, изучая податливого че- ловечка, — и хотел вас спросить: не могли бы мы здесь где-нибудь организовать маленький бардак?

Официант машинально оглянулся...

— Ну, я грубо выразился... Я волнуюсь, потому что мне деньги жгут ляжку. — Егор вынул из карма- на довольно толстую пачку десятирублевков и двад- цатипятирублевков. — А? Их же надо пристроить. Как вас зовут, простите?

Официант при виде этой пачки очень обеспо- коился, но изо всех сил старался хранить достоин- ство. Он знал: людям достойным платят больше.

— Сергей Михайлович.

— А? Михайлович... Нужен праздник. Я долго был на Севере...

— Я, кажется, придумал, — сказал Михайлыч, изобразив сперва, что он внимательно подумал. — Вы где остановились?

— Нигде. Я только приехал.

— По всей вероятности, можно будет сообразить... Что-нибудь, знаете, вроде такого пикничка — в честь прибытия, так сказать.

— Да, да, да, — заволновался Егор. — Такой небольшой бардак. Аккуратненький такой бардельеро... Забег в ширину. Да, Михайлыч? Вы мне что-то с первого взгляда понравились! Я подумал: вот с кем я вздохмачу мои деньги!

Михайлыч искренне посмеялся.

— А? — спросил Егор. — Чего смеешься?

— О'кей! — весело сказал Михайлыч. — Ми фас понъяль.

Поздно вечером Егор полулежал на плюшевом диване и разговаривал по телефону с Любой. В комнате был еще Михайлыч, и заходила и что-то тихонько спрашивала Михайлыча востроносая женщина с бородавкой на виске.

— Але-е! Любаша!.. — кричал Егор. — Я говорю: я в военкомате! Никак не могу на учет стать! Поздно?.. А здесь допоздна. Да, да. — Егор кивнул Михайлычу. — Да, Любаша!

Михайлыч приоткрыл дверь комнаты, громко хлопнул и громко пошел мимо Егора. И когда был рядом, громко крикнул:

— Товарищ капитан! Можно вас на минуточку?!

Егор кивнул ему головой, мол, хорошо, и продолжал разговаривать. А Михайлыч в это время беззвучно показушно хохотал.

— Любаша, ну что же я могу сделать?! Придется даже ночевать, наверно. Да, да... — Егор долго слушал и «дакал». И улыбался, и смотрел на фальшивого Михайлыча счастливо и гордо. Даже прикрыл трубку ладошкой и сообщил: — Беспokoюсь, говорит. И жду.

— Жди-жди, дол... — подхватил было угодливый Михайлыч, но Егор взглядом остановил его.

— Да, Любушка!.. Говори, говори: мне нравится слушать твой голосок. Я даже волнуюсь!..

— Ну, дает! — прошептал в притворном восхищении Михайлыч. — Волнуюсь, говорит!.. — И опять засмеялся. Бессовестно он как-то смеялся: сипел, оскалив фиксатые зубы. Егор посулил хорошо заплатить за праздник, поэтому он старался.

— Ночую-то? А вот тут где-нибудь, на диванчике... Да ничего! Ничего, мне не привыкать. Ты за это не беспокойся! Да, дорогуша ты моя!.. Малышкина ты моя милая!.. — У Егора это вырвалось так искренне, так душевно, что Михайлыч даже перестал изображать смех. — До свидания, дорогая моя! До свидания, целую тебя... Да я понимаю, понимаю. До свидания.

Егор положил трубку и некоторое время странно смотрел на Михайлыча — смотрел и не видел его. И в эту минуту как будто чья-то ласковая незримая ладонь гладила его по лицу, и лицо Егора потихоньку утрачивало обычную свою жесткость, строптивость.

— Да... — сказал Егор, очнувшись. — Ну что, трактирная душа? Займемся развратом? Как там?

— Все готово.

— Халат нашли?

— Нашли какой-то... Пришлось к одному старому артисту поехать. Нет ни у кого!

— А ну?

Егор надел длинный халат, стеганный, местами вытертый. Огляделся.

— Больше нигде нету, — оправдывался Михайлыч.

— Хороший халат, — похвалил Егор. — Н-ну... как я велел?

Михайлыч вышел из комнаты.

Егор прилег с сигаретой на диван.

Михайлыч вошел и доложил:

— Народ для разврата собрался!

— Давай, — кивнул Егор.

Михайлыч распахнул дверь... И Егор в халате, чуть склонив голову, стремительно, как Калигула, пошел развратничать.

«Развратничать» собрались диковинные люди: больше пожилые. Были и женщины, но какие-то все на редкость некрасивые, несчастные. Все сидели за богато убранным столом и с недоумением смотрели на Егора. Егор заметно оторопел, но вида не подал.

— Чего взгрустнули?! — весело и громко сказал Егор. И пошел во главу стола. Остановился и внимательно оглядел всех.

— Да, — не удержался он. — Сегодня мы оторвем от хвоста грудинку. Ну!.. Налили.

— Мил человек, — обратился к нему один из гостей, пожилой, старик почти, — ты объясни нам: чего это мы празднуем-то! Случай какой... или чего?

Егор некоторое время думал.

— Мы собрались здесь, — негромко, задумчиво, как на похоронах, начал Егор, глядя на бутылки шампанского, — чтобы... — Вдруг он поднял голову и еще раз оглядел всех. И лицо его опять разгладилось от жесткости и напряжения. — Братья и сестры, — проникновенно сказал он, — у меня только что от нежности содрогнулась душа. Я понимаю, вам до фени мои красивые слова, но дайте все же я их скажу. — Егор говорил серьезно, напористо, даже торжественно. Он даже немного прошелся, сколь позволило место, и опять оглядел всех. — Весна... — продолжал он. — Скоро зацветут цветочки. Березы станут зеленые... — Егор чего-то вовсе заволновался и замолчал. Он все еще слышал родной голос Любы, и это путало и сбивало.

— Троица скоро, чего же, — сказал кто-то за столом.

— Можно идти и идти, — продолжал Егор. — Будет полянка, потом лесок, потом в ложок спустился — там ручеек журчит... Я непонятно гово-

рю? Да потому что я, как фраер, говорю и стыжусь своих же слов! — Егор всерьез на себя рассердился. И стал валить напрапалую — зло и громко, как если бы перед ним стояла толпа несогласных. — Вот вы все меня приняли за дурака — взял триста рублей и ни за что выбросил. Но если я сегодня люблю всех подряд! Я сегодня нежный, как самая последняя... как корова, когда она отелится. Пусть пикника не вышло — не надо! Даже лучше. Но поймите, что я не глупый, не дурак. И если кто подумает, что мне можно наступить на мозоль, потому что я нежный, — я тем не менее не позволю. Люди!.. Давайте любить друг друга! — Егор почти закричал это. И сильно стукнул себя в грудь. — Ну чего мы шуршим, как пауки в банке? Ведь вы же знаете, как легко помирают?! Я не понимаю вас... — Егор прошелся по-за столом. — Не понимаю! Отказываюсь понимать! И себя тоже не понимаю, потому что каждую ночь вижу во сне ларьки и чемоданы. Все! Идите, воруйте сами... Я сяду на пенек и буду сидеть тридцать лет и три года. Я шучу. Мне жалко вас. И себя тоже жалко. Но если меня кто-нибудь другой пожалеет или сдуру полюбит, я... не знаю, мне будет тяжело и грустно. Мне хорошо, даже сердце болит — но страшно. Мне страшно! Вот штука-то... — неожиданно тихо и доверчиво закончил Егор. Помолчал, опустив голову, потом добро посмотрел на всех и велел: — Взяли в руки по бутылке шампанского... взяли, взяли! Взяли? Открывайте, там проволочки такие есть, — стреляйте!

Все задвигались, заговорили... Под шум и одобрение захлопали бутылки.

— Наливайте быстрее, пока градус не вышел! — распорядился Егор.

— А-а, правда, — выходит! Давай стакан!.. Подай-ка стакан, кум! Скорей!

— Эх, язви тебя!.. Пролил маленько.

— Пролил?

- Пролил. Жалко — добро такое.
- Да, штука веселая. Гли-ка, прямо кипит, кипит! Как набродило. Видно, долго выдерживают.
- Да уж, конечно! Тут уж, конечно, стараются...
- Ух, а шипит-то!
- Милые мои! — с искренней нежностью и жалостью сказал Егор. — Я рад, что вы задвигались и заулыбались. Что одобряете мое шампанское. Я все больше и больше люблю вас!
- На Егора стеснялись открыто смотреть — такую он порол чушь и бестолочь. Затихали, пока он говорил, смотрели на свои стаканы и фужеры.
- Выпили! — сказал Егор.
- Выпили.
- С ходу — еще раз! Давай!
- Опять задвигались и зашумели. Диковинный случился праздник — дармовой.
- Ух ты, все шипит и шипит!
- Но сейчас уже поменьше. Уже сила ушла.
- Но вкус какой-то... не пойму.
- Да, какой-то неопределенный.
- А?
- На вид — вроде конской мочи, а вкус какой-то... неясный.
- А чего-то оно в горле останавливается... Ни у кого не останавливается?
- Да, распирает как-то.
- Ага! И в нос бьет! Пей — хорошо!
- А вот градус-то и распирает.
- Да какой тут к черту градус — квас! Это газ выходит, а не градус.
- Так, оставили шампанское! — велел Егор. — Возьмите в руки коньяк.
- А мы куда торопимся-то?
- Я хочу, чтобы мы песню спели.
- Э-э, это мы сумеем!
- Возьмите коньяк!
- Взяли коньяк. Тут уж — что велят, то и делают.

— Налили по полстакана! Коньяк помногу сразу не пьют. И если сейчас кто-нибудь заявит, что пахнет клопами, — дам бутылкой по голове. Выпили!

Выпили.

— Песню! — велел Егор.

— Мы же не закусили еще...

— Начинается... — обиженно сказал Егор и сел.

— Ну, ешьте, ешьте, все наесться никак не могут. Все бы ели, ели!..

Некоторые — совестливые — отложили вилки, смотрели с недоумением на Егора.

— Да ешьте, ешьте! Чего вы?..

— Ты бы и сам поел тоже, а то захмелеешь.

— Не захмелею. Ешьте.

— Ну, язви тебя-то! — громко возмутился один лысый мужик. — Что же ты, пригласил, а теперь попрекаешь? Я, например, не могу без закуси, я ментально под стол полезу. Мне же неинтересно так. И никому неинтересно, я думаю.

— Ну и ешьте!

А в это время в деревне мать с отцом допрашивали Любу. Ее, бедную, все допрашивали и допрашивали.

— Ну, а чего же, военкомат на ночь-то не запирается, что ли? — хотела понять старуха.

Люба и сама терялась в догадках. И верилось ей, и не верилось с этим военкоматом. Но ведь она же сама говорила с Егором, сама слышала его голос, и какие он слова говорил... Она и теперь еще все разговаривала с ним мысленно. «Ну, Егор, с тобой не соскучишься. Что же у тебя на уме, парень?»

— Любк?

— Ну?

— Какой же военкомат? Все на ночь запирается, ты чё!

— Нет, наверно, раз он говорит, что ночует там...

— Да он наговорит, только развесь уши.

— Я думаю так, — решил старик, — ему сказали: явиться завтра к восьми часам. Точь-в-точь — там люди военные. И он подумал, что лучше уж заночевать, чем завтра утром опять переться туда.

— Да он же и говорит! — обрадовалась Люба, — Ночую, говорит, здесь на диване...

— Да все учереждения на ночь запираются! — стояла на своем старуха. — Вы чё? Как это его там одного на ночь оставляют? А он возьмет да печать украдет...

— Ну, мама!..

И старик тоже скосоротился на такую глупость.

— На кой она ему черт нужна, печать?

— Да я к слову говорю! Сразу «мама»! Слова не дадут сказать.

Егор налаживал хор из «развратников».

— Мы с тобой будем заводить, — тормозил он лысого мужика, — а вы, как я махну, будете петь «бом-бом». Пошли:

*Вечерний зво-он,
Вечерний зво-о-он...*

Егор махнул, но группа «бом-бом» не поняла.

— Ну, чего вы?! Я же сказал: как махну, так «бом-бом».

— Дак ты махнул, а сам поешь...

— Наступай! Я от того и завыл, что вроде слышу, как на колокольне бьют. Тоска меня берет по родине... И я запел потихоньку. А вы свое: «бом-м, бом-м». Вы и знать не знаете, как я здесь тоскую, — это не ваше дело.

— Вроде в тюрьме человек сидит — тоскует, — подсказал Михайлыч. — Или в плену где-нибудь.

— В плену какие церкви? — возразили на это.

— Как же? У них же там тоже церкви есть. Не такие, конечно, но все одно — церква, с колоколом. Верно же, Георгий?

— Да пошли вы!.. Только болтать умеете, — вконец рассердился Егор. — Во-от начнут говорить! И говорят, и говорят... Чего вы так слова любите? Что за понос такой словесный?!

— Ну, давай. Ты не расстраивайся.

— Да как же не расстраиваться? Говоришь вам, а вы... Ну, пошли:

*Вечерний зво-он,
Вечерний зво-о-он...*

— Бо-м, бо-ом, бо-о-ом... — вразнобой «забили на колокольне», все спутали и погубили.

Егор махнул рукой и ушел в другую комнату. На пороге остановился и сказал безнадежно:

— Валяйте люблю. Не обижайтесь, но я больше не могу с вами. Гуляйте. Можете свой родной «камыш» затянуть.

Группа «бом-бом», да все, кто тут был, растерянно помолчали... Но вина и всевозможной редкой закуски за столом было много, поэтому хоть и погоревали, но так, больше для очистки совести.

— Чего он?

— А вы уже тоже — «бом-бом» не могли спеть! — упрекнул всех Михайлыч. — Чего там петь-то!

— Да разнобой вышел...

— Это Кирилл вон... Куда зачастил?

— Кто зачастил? — оскорбился Кирилл. — Я пел нормально — как вроде в колокол бьют. Я же понимаю, что там не надо частить. Колокол, его еще раскатать надо.

— А кто зачастил?

— Да ладно, чего теперь? Давайте, правда, — он же велел гулять.

— Оно, конечно, того... вроде не заслужили, но с другой стороны, а если я не пою? Какого я хрена буду рот разевать, если у меня сроду голоса не было?

Егор, недовольный, полулежал на диване, когда вошел Михайлыч.

— Георгий, ты уж прости — не вышло у нас... с колоколами-то.

Егор помолчал... И капризно спросил:

— А почему они все такие некрасивые?

Михайлыч даже растерялся.

— Да что это... Георгий, красивые-то все — семейные, замужем. А я одиноких собрал, ты же сам велел.

Егор еще некоторое время сидел. И лицо его стало опять светлеть. Похоже, встрепенулась, вспомнилась в душе его какая-то радость.

— Ты можешь такси вызвать?

— Могу.

— До Ясного. Я заплачу, сколько он хочет. Звони! — Егор встал, сбросил халат, надел пиджак и поправил галстук.

— А зачем в Ясное-то?

— У меня там друг. — И опять стал взволнованно ходить. — Душа у меня... наскипидаренная какая-то, Михайлыч. Заведет она меня куда-нибудь. Как волю почует, так места себе не могу найти. Звони, звони! Сколько ты собрал людей?

— Пятнадцать. С нами — семнадцать. А что?

— Вот тебе две сотни. Всем дать по червонцу, себе остальное. Не обмани! Я заеду, узнаю.

— Да что ты, Георгий!..

И вот Егор летел светлой лунной ночью по добром большаку — в село, к Любе.

«Ну, что это, что это? — пытал себя Егор. — Что это я?» Беспокойство и волнение овладели им. Он уже забыл, когда он так волновался из-за юбки.

— Ну, как там... насчет семейной жизни? — спросил он таксиста. — Что пишут новенького?

— Где пишут? — не понял тот.

— Да вообще — в книгах...

— В книгах-то понапишут, — недовольно сказал таксист. — В книгах все хорошо.

— А в жизни?

— А в жизни... Что, сам не знаешь, как в жизни?

— Плохо, да?

— Кому как.

— Ну, тебе, например?

Таксист пожал плечами — очень похоже, как тот парень, который продал Егору магнитофон.

— Да что вы все какие-то!.. Ну, братцы, не понимаю вас. Чего вы такие кислые-то все? — изумился Егор.

— А чего мне тут — хихикать с тобой? Ублажать, что ли, тебя?

— Да где уж ублажать! Ублажать — это ты свою бабу ублажай. И то ведь — суметь еще надо. А то полезешь к ней, а она скажет: «Отойди, от тебя козлом пахнет».

Таксист засмеялся.

— Что, тебе говорили так?

— Нет, я сам не люблю, когда козлом пахнет. Давай-ка маленько опустим стекло.

Таксист глянул на Егора, но смолчал.

А Егор опять вернулся к своим мыслям, которые он никак не мог собрать воедино, — все в голове спуталось из-за этой Любы.

Подъехали к большому темному дому, Егор отпустил машину. И вдруг оробел. Стоял с бутылками коньяка у ворот и не знал, что делать. Обошел дом, зашел в другие ворота — в ограду Петра, поднялся на крыльцо, постучал ногой в дверь. Долго было тихо, потом скрипнула избяная дверь, легко — босиком — прошли по сеним, и голос Петра спросил:

— Кто там?

— Я, Петро. Георгий, Жоржик...

Дверь открылась.

— Ты чего? — удивился Петро. — Выгнали, что ли?

— Да нет... Не хочу будить. Ты когда-нибудь «Рэми-Мартин» пил?

Петро долго молчал, всматриваясь в лицо Егора.

— Чего?

— «Рэми-Мартин». Двадцать рублей бутылка.
Пойдем врежем в бане?

— Пошто в бане-то?

— Чтоб не мешать никому.

— Да пойдем на кухне сядем...

— Не надо! Не буди никого.

— Ну, дай я хоть обуюсь... Да закусить вынесу чего-нибудь.

— Не надо! У меня полные карманы шоколада, я весь уже провонял им, как студентка.

В бане, в тесном черном мире, лежало на полу — от окошечка — пятно света. Зажгли еще фонарь, сели к окошечку.

— Чего домой-то не пошел? — не понимал Петро.

— Не знаю. Видишь, Петро... — заговорил было Егор, но и замолк. Открыл бутылку, поставил на подоконник. — Видишь — коньяк. Двадцать рублей, гад! Это ж надо!

Петро достал из кармана старых галифе два стакана.

Помолчали.

— Не знаю я, что говорить, Петро. Сам не все понимаю.

— Ну, не говори. Наливай своего дорогого... Я в войну пил тоже какой-то. В Германии. Клопами пахнет.

— Да не пахнет он клопами! — воскликнул Егор. — Это клопы коньяком пахнут. Откуда взяли, что он клопами-то пахнет?

— Дорогой, может, и не пахнет. А такой... нормальный, пахнет.

Ночь истекала. А луна все сияла. Вся деревня была залита бледным, зеленовато-мертвым светом. И тихо-тихо. Ни собака нигде не залает, ни ворота не скрипнут. Такая тишина в деревне бывает перед рассветом. Или в степи еще — тоже

перед рассветом, когда в низинках незримо скапливается туман и сырость. Зябко и тихо.

И вдруг в тишине этой из бани донеслось:

Сижу за решеткой в темнице сырой...

— завел первым Егор. Петро поддержал. И так неожиданно красиво у них вышло, так — до слез — складно и грустно:

*Вскормленный в неволе орел молодо-ой,
Мой грустны-ый товарищ, махая крыло-ом,
Кровавую пищу клюет под окном...*

Рано утром Егор провожал Любу на ферму. Так — увязался с ней и пошел. Был он опять в нарядном костюме, в шляпе и при галстуке. Но какой-то задумчивый. Люба очень радовалась, что он пошел с ней — у нее было светлое настроение. И утро было хорошее — с прохладцей, ясное. Весна все-таки, как ни крутись.

— Чего загрустил, Егорша? — спросила Люба.

— Так... — неопределенно сказал Егор.

— В баню зачем-то поперлись. — Люба засмеялась. — И не боятся ведь! Меня сроду туда ночью не загонишь.

Егор удивился:

— Чего?

— Да там же черти! В бане-то... Они там и водятся.

Егор с изумлением и ласково посмотрел на Любу... И погладил ее по спине. У него это нечаянно вышло.

— Правильно: никогда не ходи ночью в баню. А то эти черти... Я их знаю!

— Когда ты ночью на машине подъехал, я слышала. Я думала, это мой Коленька преподобный приехал...

— Какой Коленька?

— Да муж-то мой.

— А-а. А он что, приезжает иногда?

— Приезжает, как же.

— Ну? А ты что?

— Ухожу в горницу да запираюсь там. И сижу.

Он трезвый-то ни разу и не приезжал, а я его пьяного прямо видеть не могу: он какой-то дурак во все делается. Противно, меня трясти начинает.

Егор встрепенулся, услышав живые, гневные слова. Не выносил он в людях унылость, вялость ползучую. Оттого, может, и завела его житейская дорога так далеко вбок, что всегда, и смолоду, тянулся к людям, очерченным резко, хоть иногда кривой линией, но резко, определленно.

— Да-да-да, — притворно посочувствовал Егор. — Прямо беда с этими алкашами!

— Беда! — подхватила простодушная Люба. — Да беда-то какая! Горькая: слезы да ругань.

— Прямо трагедия. О-ё!.. — удивился Егор. — Коров-то сколько!

— Ферма... Вот тут я и работаю.

Егор чего-то вдруг остолбенел при виде коров.

— Вот они... коровы-то, — повторял он. — Вишь, тебя увидели, да? Заволновались. Ишь, смо-отрют... — Егор помолчал... И вдруг, не желая этого, проговорился: — Я из всего детства мать помню да корову. Манькой звали корову. Мы ее весной, в апреле, выпустили из ограды, чтобы она сама собирала на улице. Знаешь: зимой возют, а весной из-под снега вытаивает на дорогах, на плетнях остается... Вот... А ей кто-то брюхо вилами проколол. Зашла к кому-нибудь в ограду, у некоторых сено было еще... Прокололи. Кишки домой приволокла.

Люба смотрела на Егора, пораженная этим незамысловатым рассказом. А Егор — видно было — жалел, что он у него вырвался, этот рассказ, был недоволен.

— Чего смотришь?

- Егорша...
- Брось, — сказал Егор. — Это же слова. Слова ничего не стоят.
- Ты что, выдумал, что ли?
- Да почему!.. Но ты меньше слушай людей. То есть слушай, но слова пропускай. А то ты доверчивая, как... — Егор посмотрел на Любу и опять ласково и бережно и чуть стесняясь погладил ее по спине. — Неужели тебя никогда не обманывали?
- Нет... Кому?
- Мгм. — Егор засмотрелся в ясные глаза женщины, усмехнулся. — Кошмар. — Все время хотелось трогать ее. И смотреть.
- Глянь-ка, директор совхоза идет, — сказала Люба. — У нас был. — Она оживилась и заулыбалась, сама не зная чего.
- К ним шел гладкий, крепкий, довольно молодой еще мужчина, наверно, таких же лет, как Егор. Шел он твердой хозяйской походкой, с любопытством смотрел на Любу и на ее — непонятно кого — мужа, знакомого?
- Чего ты так уж разулыбалась? — неприятно поразился Егор.
- Он хороший у нас, хозяйственный. Мы его уважаем. Здравствуй, Дмитрий Владимирович! Что, у нас были?
- Был у вас. Здравствуй! — Директор крепко тряхнул руку Егора. — Что, не пополнение ли к нам?
- Дмитрий Владимирович, он — шофер, — не без гордости сказала Люба.
- Да ну? Хорошо. Прямо сейчас могу за руль посадить? Права есть?
- У него еще паспорта нету... — Гордость Любина угасла.
- А-а. А то поехали со мной. Моего зачем-то в военкомат вызывают. Боюсь, надолго.
- Егор! — заволновалась Люба. — А? Район наш увидишь. Поглянется!

И это живое волнение, и слова эти нелепые — про район — подтолкнули Егора на то, над чем он, пять минут назад, искренне бы посмеялся.

— Поехали, — сказал он.

И они пошли с директором.

— Егор! — крикнула вслед Люба. — Пообедаешь в чайной где-нибудь! Где будете... Дмитрий Владимирович, вы ему подскажите, а то он не знает еще!

Дмитрий Владимирович посмеялся.

Егор оглянулся на Любу и некоторое время смотрел на нее. Потом повернулся и пошел за директором. Тот подождал его.

— Сам из каких мест? — спросил директор.

— Я-то? Я здешний. Из вашего района, деревня Листвянка.

— Листвянка? У нас нет такой.

— Как нет? Есть.

— Да нету! Я-то знаю свой район.

— Странно... Куда же она девалась? — Егору не понравился директор: довольный, гладкий... Но особенно не по нутру, что довольный. Егор не переваривал довольных людей. — Была деревня Листвянка, я хорошо помню.

Директор внимательно посмотрел на Егора.

— М-да, — сказал он. — Наверно, сгорела.

— Наверно, сгорела. Жалко — хорошая была деревня.

— Ну, так поедешь со мной?

— Поеду. Мы же и собрались ехать. Правильно я вас понял?

И поехали они по просторам совхоза-гиганта, совхоза-миллионера.

— Чего так со мной заговорил-то? — спросил директор.

— Как?

— Ну... как: Ванькой сразу прикинулся. Зачем?

— Да не люблю, когда с биографии сразу начинают. Биография — это слова, ее всегда можно выдумать.

— Ну-у, как же так? Как это можно биографию выдумать?

— Как? Так... Документов у меня никаких нету, кроме одной справки, никто меня тут не знает — чего хочу, то и наговорю. Если хотите знать, я — сын прокурора.

Директор посмеялся. Егор ему тоже не понравился: какой-то бессмысленно строптивый.

— А что? Вон я какой — в шляпе, при галстук... — Егор посмотрелся в зеркальце. — Чем не прокурорский сын?

— Я же не спрашиваю с тебя никаких документов. Без прав даже едем. Напоремся вот на участкового — что делать?

— Вы — хозяин.

Подъехали к пасеке. Директор легко выпрыгнул из машины.

— У меня тут дельце одно. А то, хошь, пойдём со мной — старик медом угостит.

— Нет, спасибо, — Егор тоже вышел на волю. — Я вот тут... пейзажем полюбуюсь.

— Ну, смотри. — И директор ушел.

А Егор стал любоваться пейзажем. Посмотрел вокруг, подошел к березке, потрогал ее.

— Что? Начинаешь слегка зеленеть? Скоро уж, скоро... Оденешься. Надоело голой-то стоять? Ишь ты какая... Скоро нарядная будешь.

Из избушки вышел дед-пасечник.

— А что не зайдешь-то? — крикнул Егору с крыльца. — Иди чайку стакан выпей!

— Спасибо, батя! Не хочу.

— Ну, гляди. — И дед ушел.

Вскоре вышел и директор. Дед провожал его.

— Заезжайте почаще, — приветливо говорил дед. — Чай, по дороге. То и дело ездите тут.

— Спасибо, отец, спасибо. Поехали.

Поехали.

— Вот... — сказал директор, устраивая какой-то сверточек между сиденьями. — Есть вещество такое — прополис, пчелиный клей иначе.

— Язву желудка лечить?

— Да. Что, болел? — повернулся директор.

— Нет, слышал просто.

— Да. Вот один человек заболел, надо помочь: хороший человек.

— Говорят, здорово помогает.

— Да, говорят, помогает.

Впереди показалась деревня.

— Меня ссадишь у клуба, — сказал директор, — а сам съездишь в Сосновку — здесь, семь километров: привезешь бригадира Савельева. Если нет дома, спроси, где он, найди.

Егор кивнул.

Садил у клуба директора и уехал.

К клубу сходились мужики, женщины, парни, девушки. И люди пожилые тоже подходили. Готовилось какое-то собрание. Директора окружили, он что-то говорил и был опять очень уверен и доволен.

Молодые люди отбились в сторонку, и там тоже шел оживленный разговор. Часто смеялись.

Старики курили у штакетника.

На фасаде клуба висели большие плакаты. Все походило на праздник, к которому люди привыкли.

Клуб был новый, недавно выстроенный: возле фундамента еще лежала груда кирпичей и стоял старый кузов самосвала с застывшим цементом.

Егор привез бригадира Савельева и пошел искать директора. Ему сказали, что директор уже в клубе, на сцене, за столом президиума.

Егор прошел через зал, где рассаживались рабочие совхоза, поднялся на сцену и подошел сзади к директору.

Директор разговаривал с каким-то широкоплечим человеком, тряс бумажкой. Егор тронул его за рукав.

— Владимирыч...

— А? А-а. Привез? Хорошо, иди.

— Нет... — Егор позвал директора в сторонку и, когда они отошли, где их не могли слышать, сказал: — Вы сами умеете на машине?

— Умею. А что такое?

— Я больше не могу. Доехайте сами — не могу больше. И ничего мне с собой не поделайте, я знаю.

— Да что такое? Заболел, что ли?

— Не могу возить. Я согласен: я — дурак, несознательный, отсталый... Зэк несчастный, но не могу. У меня такое ощущение, что я вроде все время вам улыбаюсь. Я лучше буду на самосвале. На тракторе! Ладно? Не обижайся. Ты мужик хороший, но... Вот мне уже сейчас плохо — я пойду. — И Егор быстро пошел вон со сцены. И пока шел через зал, терзался, что наговорил директору много слов. Тараторил, как... Извинялся, что ли? А что извиняться-то? Не могу — и все. Нет, пошел объяснять, пошел выкладываться, несознательность свою паять... Тьфу! Горько было Егору. Так помаленьку и угодником станешь. Пойдешь в глаза заглядывать... Тьфу! Нет, очень это горько.

А директор, пока Егор шел через зал, смотрел вслед ему — он не все понял, то есть он ничего не понял.

Егор шел обратно перелеском.

Вышел на полянку, прошел полянку — опять начался лесок, погуще, покрепче.

Потом он спустился в ложок — там ручеек журчит. Егор остановился над ним.

— Ну надо же! — сказал он.

Постоял-постоял, перепрыгнул ручеек, взошел на пригорок...

А там открылась глазам березовая рощица, целая большая семья выбежала навстречу и остановилась.

— Ух ты!.. — сказал Егор.

И вошел в рожицу.

Походил среди березок... Снял с себя галстук, надел одной — особенно красивой, особенно белой и стройной. Потом увидел рядом высокий пенек, надел на него свою шляпу. Отошел и любовался со стороны.

— Ка-кие — фраера! — сказал он. И пошел дальше. И долго еще оглядывался на эту нарядную парочку. И улыбался. На душе сделалось легче.

Дома Егор ходил из угла в угол, что-то обдумывая. Курил. Время от времени принимался вдруг напевать: «Зачем вы, девушки, красивых любите?» Бросал петь, останавливался, некоторое время смотрел в окно или в стенку... И снова ходил. Им опять овладело какое-то нетерпение. Как будто он на что-то такое решался и никак не мог решиться. И опять решался. И опять не мог... Он нервничал.

— Не переживай, Егор, — сказал дед. Он тоже похаживал по комнате — к двери и обратно, сучил из суровых ниток леску на перемет, которая была привязана к дверной скобке, и дед обшаркивал ее старой рукавицей. — Трактористом не хуже. Даже ишо лучше. Они вон по сколь счас выгоняют!

— Да я не переживаю.

— Сплету вот переметы... Вода маленько по-светлеет, пойдем с тобой переметы ставить — милое дело. Люблю.

— Да... Я тоже. Прямо обожаю переметы ставить.

— И я. Другие есть — больше предпочитают сеть. Но сеть — это... поймать могут, раз; второе: ты с ей намучаешься, с окаянной, пока ее разберешь да выкидаешь — время-то сколько надо!

— Да... Попробуй покидай ее. «Зачем вы, девушки...» А Люба скоро придет?

Дед глянул на часы.

— Скоро должна придти. Счас уж сдают молоко. Счас сдадут — и придет. Ты ее, Егор, не обижай: она у нас — последыш, а последышка жальчее всех. Вот пойдут детишки у самого — спомнишь мои слова. Она хорошая девка, добрая, только все как-то не везет ей... Этого пьянчужку нанесло — насилиу отбрыкались.

— Да, да... С этими алкашами беда прямо! Я вот тоже... это... смотрю — прямо всех пересагал бы чертей. В тюрьму! По пять лет каждому. А?

— Ну, в тюрьму зачем? Но на годок куда-нибудь, — оживился дед, — под строгий изолятор — я бы их столкал! Всех, в кучу!

— А Петро скоро приедет?

— Петро-то? Счас тоже должен приехать... Пущай посидят и подумают.

— Сидеть — это каждый согласится. Нет, пусть поработают! — подбросил жару Егор.

— Да, правильно: лес вон валить!

— В шахты! В лес — это... на чистом-то воздухе дурак согласится работать. Нет, в шахты! В рудники! В скважины!

Тут вошла Люба.

— Вот те раз! — удивилась она. — Я думала, они только ночью приедут, а он уж дома.

— Он не стал возить директора, — сказал дед. — Ты его не ругай — он объяснил почему: его тошнит на легковушке.

— Пойдем-ка на пару слов, Люба, — позвал Егор. И увел ее в горницу. На что-то он, похоже, решил.

В это время въехал в ограду Петро на своем самосвале, и Егор пошел к нему. Он так и не успел сказать Любе, что его растревожило.

Люба видела, как они о чем-то довольно долго говорили с Петром, потом Егор махнул ей рукой, и она скоро пошла к нему. Егор полез в кабину самосвала, за руль.

— Далеко ли? — спросил дед, который тоже видел из окна, что Петро дал машину, а Егор и Люба собрались куда-то ехать.

— Да я сама толком не знаю... Егору куда-то надо, — успела сказать Люба на ходу.

— Любка!.. — хотел что-то еще сказать дед, но Люба хлопнула уже дверью.

— Чего он такое затеял, этот Жоржик? — вслух подумал дед. — Это что за жизнь такая чертова пошла — вот и опасайся ходи, вот и узнавай бегай...

И он скоренько тоже пошел на половину сына — спросить, куда это Егор повез дочь, вообще, куда они поехали?

— Есть деревня Сосновка, — объяснял Егор Любе в машине, когда уже ехали, — девятнадцать километров отсюда...

— Знаю Сосновку.

— Там живет старушка, по кличке Куделиха. Она живет с дочерью, но дочь лежит в больнице.

— Где это ты узнал-то все?

— Ну, узнал... я был сегодня в Сосновке. Дело не в этом. Меня один товарищ просил попроведать эту старуху, про детей ее расспросить — где они, живы ли?

— А зачем ему — товарищу-то?

— Ну... Родня она ему какая-то, тетка, что ли. Но мы сделаем так: подъедем, ты зайдешь... Нет, зайдем вместе, но спрашивать будешь ты.

— Почему?

— Ты дай объяснить-то, потом уж спрашивай! — повысил голос Егор. Нет, он, конечно, нервничал.

— Ну-ну! Ты только на меня не кричи, Егор, ладно? Больше не спрашиваю. Ну?

— Потому что, если она увидит, что спрашивает мужик, то она догадается, что, значит, он сидел с ее сы... это, с племянником. Ну, и сама ки-

нется выпрашивать. А товарищ мне наказал, чтоб я не говорил, что он в тюрьме... Фу-у! Дошел. Язык сломать можно. Поняла хоть?

— Поняла. А под каким предлогом я ее спрашивать-то возьмусь?

— Надо что-то выдумать. Например, ты из сельсовета... Нет, не из сельсовета, а из рай... этого, как его, пенсии-то намеряют?

— Райсобес?

— Райсобес, да. Из райсобеса, мол, проверяю условия жизни престарелых людей. Расспроси, где дети, пишут ли? Поняла?

— Поняла. Все сделаю, как надо.

— Не говори «гоп»...

— Вот увидишь.

Егор замолчал. Был он непривычно серьезен и сосредоточен. Через силу улыбнулся и сказал:

— Не обижайся, Люба, я помолчу. Ладно?

Люба тронула ладонью его руку.

— Молчи, молчи. Делай, как знаешь, не спрашиваю.

— А что закричал... прости, — еще сказал Егор. — Я сам не люблю, когда кричат.

Егор добро разогнал самосвал. Дорога шла обочиной леса, под колеса попадали оголенные коренья, кочки, самосвал прыгал. Люба, когда ее подкидывало, хваталась за ручку дверцы. Егор смотрел вперед — рот плотно сжат, глаза чуть прищурены.

Просторная изба. Русская печь, лавки, сосновый пол, мытый, скобленный и снова мытый. Простой стол с крашеной столешницей. В красном углу — Николай-угодник.

Старушка Куделиха долго подслеповато присматривалась к Любе, к Егору... Егор был в темных очках.

— Чего же, сынок, глаза-то прикрыл? — спросила она. — Рази через их видать?

Егор на это неопределенно пожал плечами. Ничего не сказал.

— Вот мне велели, бабушка, все разузнать, — сказала Люба.

Куделиха села на лавочку, сложила сухие коричневые руки на переднике.

— Да как а чего узнавать-то? Мне платят двадцать рублей... — Она снизу, просто посмотрела на Любу. — Чего же еще?

— А дети где ваши? У вас сколько было?

— Шестеро, милая, шестеро. Одна вот теперь со мной живет, Нюра, а трое в городах... Коля в Новосибирске на паровозе работает, Миша тоже там же, он дома строит, а Вера на Дальнем Востоке, замуж там вышла, военный муж-то. Фотокарточку недавно прислали — всей семьей, внучатки уж большенькие, двое: мальчик и девочка.

Старуха замолчала, отерла рот краешком передника, покивала маленькой птичьей головой, вздохнула. Она тоже, видно, умела уходить в мыслях далеко — и ушла, перестала замечать гостей. Потом очнулась, посмотрела на Любу, сказала — так, чтоб не молчать, а то неловко молчать, о ней же и заботятся:

— Вот... Живут. — И опять замолчала.

Егор сидел на стуле у порога. Он как-то окаменел на этом стуле, ни разу не шевельнулся, пока старуха говорила, смотрел на нее.

— А еще двое? — спросила Люба.

— А вот их-то... я и не знаю: живые они, сердешные душеньки, или нету их давно. — Старушка опять закивала сухой головой, хотела, видно, скрепитесь и не заплакать, но слезы закапали ей на руки, и она поспешно вытерла глаза фартуком.

— Не знаю. В голод разошлись по миру... Теперь не знаю. Два сына ишо, два братца... Про этих не знаю.

Зависла в избе тяжелая тишина... Люба не могла придумать, что еще спрашивать, — ей было

жалко бабушку. Она глянула на Егора... Тот сидел изваянием и все смотрел на Куделиху. И лицо его под очками тоже как-то вполне окаменело. Любе и вовсе не по себе стало.

— Ладно, бабушка... — Она вдруг забылась, что она из «райсобеса», подошла к старушке, села рядом, уткнувшись как-то — естественно, просто — обняла ее и приголубила. — Погоди-ка, милая, погоди — не плачь, не надо: глядишь, еще и найдутся. Надо же и поискать!

Старушка послушно вытерла слезы, еще покивала головой.

— Может, найдутся... Спасибо тебе. Сама-то не из крестьян? Простецкая-то.

— Из крестьян, откуда же. Поискать надо сынов-то...

Егор встал и вышел из избы.

Медленно прошел по сеним. Остановился около уличной двери, погладил косяк — гладкий, холодный. И прислонился лбом к этому косяку, и замер. Долго стоял так, сжимая рукой косяк, так, что рука побелела. Господи, хоть бы еще уметь плакать в этой жизни — все немного легче было бы. Но ни слезинки же ни разу не выкатилось из его глаз, только каменели скулы и пальцы до отека сжимали что-нибудь, что оказывалось под рукой. И ничего больше, что помогло бы в тяжкую минуту: ни табак, ни водка — ничто, все противно. Откровенно болела душа, мучительно ныла, точно жгли ее там медленным огнем. И еще только твердил в уме, как молитву: «Ну, будет уж! Будет!»

Егор слышал в избе шаги Любы, откачнулся от косяка, спустился с низкого крылечка. Скорым шагом пошел по ограде, оглядываясь на избу. Был он опять сосредоточен, задумчив. Походил вокруг машины, попинал баллоны... Снял очки, стал смотреть на избу.

Вышла Люба.

— Господи, до чего же жалко ее стало! — сказала она. — Прямо сердце заломило.

— Поехали, — велел Егор.

Развернулись... Егор последний раз глянул на избу и погнал машину.

Молчали. Люба думала о старухе, тоже взгрустнула. Выехали за деревню.

Егор остановил машину, лег головой на руль и крепко зажмурил глаза.

— Чего, Егор? — испугалась Люба.

— Погоди... постоим, — осевшим голосом сказал Егор. — Тоже, знаешь... сердце заломило. Мать это, Люба. Моя мать.

Люба тихо ахнула.

— Да что же ты, Егор? Как же ты?..

— Не время, — почти зло сказал Егор. — Дай время... Скоро уж. Скоро.

— Да какое время, ты что! Развернемся!

— Рано! — крикнул Егор. — Дай, хоть волосы отрастут... Хоть на человека похожим стану. — Егор включил скорость. — Я перевел ей деньги, — еще сказал он, — но боюсь, как бы она с ними в сельсовет не поперлась — от кого, спросит. Еще не возьмет. Прошу тебя, съезди завтра к ней опять и... скажи что-нибудь. Придумай что-нибудь. Мне пока... Не могу пока — сердце лопнет. Не могу. Понимаешь?

— Останови-ка, — велела Люба.

— Зачем?

— Останови.

Егор остановил.

Люба обняла его, как обняла давеча старуху, — ласково, умело, — прижала к груди его голову.

— Господи!.. Да почему вы такие есть-то? Чего вы такие дорогие-то?.. — Она заплакала. — Что мне с вами делать-то?

Егор освободился из ее объятий, крикнул несколько раз, чтобы прошел комок в горле, включил скорость и с веселым остервенением сказал:

— Ничего, Любаша!.. Все будет в порядке! Голову свою покладу, но вы у меня будете жить хорошо. Я зря не говорю.

Дома их в ограде встретил Петро.

— Волнуется, видно. За машину-то, — догадалась Люба.

— Да ну, что я? Я же сказал...

Люба с Егором вылезли из кабины, и Петро подошел к ним.

— Там этот пришел... твой, — сказал он по своей привычке как бы нехотя, через усилие.

— Колька? — неприятно удивилась Люба. — Вот гад-то! Что ему надо-то? Замучил, замучил, слюнтяй!..

— Ну, я пойду познакомлюсь, — сказал Егор. И глянул на Петра. Петро чуть заметно кивнул головой.

— Егор!.. — всполошилась Люба. — Он же пьяный небось — драться кинется. Не ходи, Егор! — И Люба сделала было движение за Егором, но Петро придержал ее.

— Не бойся, — сказал он. — Эй, Егор...

Егор обернулся.

— Там еще трое дожидаются — за плетнем. Знай.

Егор кивнул и пошел в дом.

Люба теперь уже силой хотела вырваться, но брат держал крепко.

— Да они же избыют его! — чуть не плакала Люба. — Ты что? Ну, Петро!..

— Кого избыют? — спокойно басил Петро. — Жоржика? Его избить трудно. Пускай поговорят... И больше твой Коля не будет ходить сюда. Пусть поймет раз и навсегда.

— А-а, — сказал Коля, растянув в насильственной улыбке рот. — Новый хозяин пришел. — Он встал с лавки. — А я — старый. — Он пошел на Егора. — Надо бы потолковать... — Он остановился перед Егором. — М-м? — Коля был не столько пьян, сколько с перепоя. Высокий парень, довольно приятной наружности, с голубыми умными глазами.

Старики со страхом смотрели на «хозяев» — старого и нового.

Егор решил не тянуть: сразу лапнул Колю за шкурку и поволок из избы...

Вывел с трудом на крыльцо и подтолкнул вниз.

Коля упал. Он не ждал, что они так сразу и начнут.

— Если ты, падали кусок, будешь еще... Ты был здесь последний раз, — сказал Егор сверху. И стал спускаться.

Коля вскочил с земли... И засуетился.

— Пойдем отсюда! Иди за мной... Идем, идем. Ну, собака!.. Иди, иди-и!..

Они шли уже из ограды. Егор шел впереди, а Коля сзади. Коля очень суетился, разок даже подтолкнул Егора в спину. Егор оглянулся и укоризненно качнул головой.

— Иди, иди-и, — с дрожью в голосе повторял Коля.

Поднялись навстречу те трое, о которых говорил Петро.

— Только не здесь, — решительно сказал Егор. — Пошли дальше!

Пошли дальше. Егор опять очутился впереди всех.

— Слушайте, — остановился он, — идите рядом, а то как на расстрел ведут. Люди же смотрят.

— Иди, иди-и, — опять сказал Коля. Он едва сдерживал себя.

Прошли еще немного.

Под высоким плетнем, где их меньше было видно с улицы, Коля не выдержал и прыгнул сзади на Егора. Егор качнулся вбок и подставил Коле ногу. Коля опять позорно упал. Но еще один кинулся, этого Егор ударил наотмашь — кулаком в живот. И этот сел. Двое стоявших оторопели от такого оборота дела. Зато Коля вскочил и побежал к плетню выламывать кол.

— Ну, собака!.. — задыхался Коля от злости. Выломил кол и страшно ринулся на Егора.

Сколько уж раз на деле убеждался Егор, что все же человек никогда до конца не забывается — всегда, даже в страшно короткое время, успеет подумать: что будет? И если убивают — то хотели убить. Нечаянно убивают редко.

Егор стоял, сунув руки в карманы брюк, смотрел на Колю. Коля наткнулся на его спокойный — как-то по-особому спокойный, зловеще спокойный — взгляд.

— Не успеешь махнуть, — сказал Егор. Помолчал и добавил участливо: — Коля.

— А чего ты тут угрожаешь-то?! Чего ты угрожаешь-то?! — попытался еще надавить Коля. — С ножом, что ли? Ну, вынимай свой нож, вынимай!

— Пить надо меньше, дурачок, — участливо сказал Егор. — Кол-то выломил, а у самого руки трясутся. Больше в этот дом не ходи.

Егор повернулся и пошел обратно. Слышал, как сзади кто-то двинулся было за ним, — наверно, Коля, — но его остановили:

— Да брось ты его! Дерьма-то еще. Фраер городской. Мы его где-нибудь в другом месте прищучим. Егор не остановился, не оглянулся.

Первую борозду в своей жизни проложил Егор.

Остановил трактор, прыгнул на землю, прошелся по широкой борозде, сам себе удивляясь: неужто это его работа? Пнул сапогом ком земли, хмыкнул.

— Ну и ну... Жоржик. Это ж надо! Ты же так ударником будешь! — Он оглянулся по степи, вдохнул весенний земляной дух и на минуту прикрыл глаза. Постоял так.

Парнишкой он любил слушать, как гудят телеграфные столбы. Прижмется ухом к столбу, закроет глаза и слушает... Волнующее чувство. Егор всегда это чувство помнил: как будто это нездешний какой-то гул, не на земле гудит, а черт знает где. Если покрепче зажмуриться и целиком вникнуть в этот

мощный утробный звук, то он перейдет в тебя — где-то загудит внутри, в голове, что ли, или в груди — не поймешь. Жутко бывало, но интересно. Странно, ведь вот была же длинная, вон какая разная жизнь, а хорошо помнилось только вот это немного: корова Манька, да как с матерью носили на себе березки, чтобы истопить печь. Эти-то дорогие воспоминания и жили в нем, и, когда бывало вовсе тяжело, он вспоминал далекую свою деревеньку, березовый лес на берегу реки, саму реку... Легче не становилось, только глубоко жаль было всего этого и грустно, и по-иному щемило сердце — и дорого, и больно. И теперь, когда от пашни веяло таким покоем, когда голову грело солнышко и можно остановить свой постоянный бег по земле, Егор не понимал, как это будет — что он остановится, обретет покой. Разве это можно? Жило в душе предчувствие, что это будет, наверно, короткая пора.

Егор еще раз оглядел степь. Вот и этого будет жаль. «Да что же я за урод такой! — невольно подумал он. — Что я жить-то не умею? К чертям собачьим! Надо жить. Хорошо же? Хорошо. Ну и радуйся!» — Егор глубоко вздохнул.

— Сто сорок лет можно жить... с таким воздухом, — сказал он. И теперь только увидел на краю поля березовый колок и пошел к нему.

— Ох, вы мои хорошие!.. И стоят себе: прижухлись с краешку и стоят. Ну, что, дождались? Зазеленели... — Он ласково потрогал березку. — Ох, ох, нарядились-то! Ах, невестушки вы мои, нарядились. И молчат стоят. Хоть бы крикнули, позвали, — нет, нарядились и стоят. Ну, уж вижу теперь, вижу — красивые. Ну, ладно, мне пахать надо. Я тут рядом буду, буду заходить теперь. — Егор отошел немного от березок, оглянулся и засмеялся: — Каккие стоят! — И пошел к трактору.

Шел и все говорил по своей привычке:

— А то постоишь с вами и ударником труда не станешь. Вот так вот... Вам-то что, вам все равно, а мне надо в ударники выходить. Вот так. — И запел Егор:

*Калина красная,
Калина вызрела,
Я узалеточки-и
Характер вызнала-а,
Характер вызнала-а,
Характерой — како-ой...*

Так с песней он залез в кабину и двинул всю железную громадину вперед. И продолжал петь, но уже песни не было слышно из-за грохота и лязга.

Вечером ужинали все вместе: старики, Люба и Егор.

В репродукторе пели хорошие песни, слушали эти песни.

Вдруг дверь отворилась, и появился неожиданный гость: высокий молодой парень, тот самый, который заполошничал тогда вечером при облове.

Егор даже слегка растерялся.

— О-о! — сказал он. — Вот так гость! Садись, Вася!

— Шура, — поправил гость, улыбнувшись.

— Да, Шура! Все забываю. Все путаю с тем Васей, помнишь? Вася-то был, большой такой, старшиной-то работал... — Егор тараторил, а сам, похоже, приходил пока в себя — гость был и вправду неожиданный. — Мы с Шурой служили вместе, — пояснил он. — У одного генерала. Садись, Шура, ужинать с нами.

— Садитесь, садитесь, — пригласила и старуха.

А старик даже и подвинулся на лавке — место дал:

— Давайте.

— Да нет, меня такси ждет. Мне надо сказать тебе, Георгий, кое-что. Да передать тут...

— Да ты садись поужинай! — упорствовал Егор.

— Подождет таксист.

— Да нет... — Шура глянул на часы. — Мне еще на поезд успеть...

Егор полез из-за стола. И все тараторил, не давая времени Шуру как-нибудь нежелательно вылететь с языком. Сам Егор, бунтовавший против слов пустых и ничтожных, умел иногда так много трещать и тараторить, что вконец запутывал других. Бывало это и от растерянности.

— Ну как, знакомых встречаешь кого-нибудь? Эх, золотые были денечки!.. Мне эта служба до сих пор во сне снится. Ну, пойдём — чего там тебе передать надо: в машине, что ли, лежит? Пойдем, примем пакет от генерала. Расписаться ж надо, да? Ты сюда рейсовым? Или на перекладных? Пойдем...

Они вышли.

Старик помолчал... И в его безгрешную крестьянскую голову пришла только такая мысль:

— Это ж сколько они на такси-то прокатывают — от города и обратно? Сколько с километра берут?

— Не знаю, — рассеянно сказала Люба. — Десять копеек. — Она в этом госте почувяла что-то недоброе.

— Десять копеек? Десять копеек — на тридцать шесть верст... Сколько это?

— Ну, тридцать шесть копеек и будет, — сказала старуха.

— Здорово живешь! — воскликнул старик. — Десять верст — это уже рупь. А тридцать шесть — это... три шестьдесят, вот сколь. Три шестьдесят да три шестьдесят — семь двадцать. Семь двадцать — только туда-сюда съездить. А я, бывало, за семь двадцать-то месяц работал.

Люба не выдержала, тоже вылезла из-за стола.

— Чего они там? — сказала она и пошла из избы.

...Вышла в сени, а сеничная дверь на улицу — открыта. И она услышала голоса Егора и этого Шуры. И замерла.

— Так передай. Понял? — жестко, зло говорил Егор. — Запомни и передай.

— Я передам. Но ты же знаешь его...
— Я знаю. Он меня тоже знает. Деньги он получил?
— Получил.
— Все. Я вам больше не должен. Будете искать, я на вас всю деревню подниму. — Егор коротко посмеялся. — Не советую.

— Горе... Ты не злись только, я сделаю, как мне велено: если, мол, у него денег нет, дай ему. На.

И Шура, наверно, протянул Егору заготовленные деньги. Егор, наверно, взял их и с силой ударил ими по лицу Шуру — раз, и другой, и третий. И говорил негромко, сквозь зубы:

— Сучонок... Сопляк... Догадался, сучонок!..

Люба грохнула чем-то в сенях. Шагнула на крыльцо.

Шура стоял руки по швам, бледный...

Егор протянул ему деньги, сказал негромко, чуть охрипшим голосом:

— На. До свидания, Шура. Передавай привет! Все запомнил, что я сказал?

— Запомнил, — сказал Шура. Посмотрел на Егора последним — злым и обещающим — взглядом. И пошел к машине.

— Ну, вот. — Егор сел на приступку. Проследил, как машина развернулась... Проводил ее глазами и оглянулся на Любу.

Люба стояла над ним.

— Егор... — начала она было.

— Не надо, — сказал Егор. — Это мои старые дела. Долги, так сказать. Больше они сюда не приедут.

— Егор, я боюсь, — призналась Люба.

— Чего? — удивился Егор.

— Я слышала, у вас... когда уходят от них, то...

— Брось! — резко сказал Егор. И еще раз сказал: — Брось. Садись. И никогда больше не говори об этом. Садись... — Егор потянул ее за руку вниз. — Что ты стоишь за спиной, как... Это нехорошо — за спиной стоять, невежливо.

Люба села.

— Ну? — спросил весело Егор. — Что закружилась, зоренька ясная? Давай-ка споем лучше!

— Господи, до песен мне...

Егор не слушал ее.

— Давай я научу тебя... Хорошая есть одна песня. — И Егор запел:

*Калина красная-а-а,
Калина вызрела-а...*

— Да я ее знаю! — сказала Люба.

— Ну? Ну-ка, поддержи. Давай:

Калина...

— Егор, — взмолилась Люба. — Христом богом прошу, скажи, они ничего с тобой не сделают?

Егор стиснул зубы и молчал.

— Не злись, Егорушка. Ну что ты? — И Люба заплакала. — Как же ты меня-то не можешь понять: ждала я, ждала свое счастье, а возьмут да... Да что уж я — проклятая, что ли? Мне и порадоваться в жизни нельзя?!

Егор обнял Любу и ладошкой вытер ей слезы.

— Веришь ты мне? — спросил.

— Веришь, веришь... А сам не хочет говорить. Скажи, Егор, я не испугаюсь. Может, мы уедем куда-нибудь...

— О-о!.. — взвыл Егор. — Станешь тут ударником! Нет, я так никогда ударником не стану, честное слово. Люба, я не могу, когда плачут. Не могу! Ну, сжался ты надо мной, Любушка.

— Ну, ладно, ладно. Все будет хорошо?

— Все будет хорошо, — четко, раздельно сказал Егор. — Клянусь, чем хочешь... всем дорогим. Давай песню. — И он запел первый:

*Калина красная-а-а,
Калина вызрела-а...*

Люба поддержала, да так тоже хорошо подладилась, так славно. На минуту забылась, успокоилась.

*Я у залеточки
Характер вызнала.
Характер вызнала-а,
Характер – ой какой,
Я не уважила,
А он ушел к другой.*

Из-за плетня на них насмешливо смотрел Петро.

– Спишите слова, – сказал он.

– Ну, Петро, – обиделась Люба. – Взял спугнул песню.

– Кто это приезжал, Егор?

– Дружок один. Баню будем топить? – спросил Егор.

– А как же? Иди-ка сюда, что скажу...

Егор подошел к плетню. Петро склонился к его уху и что-то тихо заговорил.

– Петро! – прикрикнула Люба. – Я ведь знаю, что ты там, знаю. После бани!

– Я жиклер его прошу посмотреть, – сказал Петро.

– Я только жиклер гляну... – сказал Егор. – Там, наверно, продуть надо.

– Я вам дам жиклер! После бани, сказала, – сурово молвила напоследок Люба. И ушла в дом. Она вроде и успокоилась, но все же тревога вкралась в душу. А тревога та – стойкая, любящие женщины знают это.

Егор полез через плетень к Петру.

– Бренди – это дерьмо, – сказал он. – Я предпочитаю или шампанзе, или «Рэми-Мартин».

– Да ты попробуй!

– А то я не пробовал! Еще меня устраивает, например, виски с содовой...

Так, разговаривая, они направились к бане.

Теперь то самое поле, которое Егор пахал, засева-
ли. Егор же и сеял. То есть он вел трактор, а на сеялке
— сзади, где стоят и следят, чтоб зерно равномерно
сыпалось, — стояла молодая женщина с лопаточкой.

Подъехал Петро на своем самосвале с нашиты-
ми бортами — привез зерно. Засыпали вместе в се-
ялку. Малость поговорили с Егором:

— Обедать здесь будешь или домой? — спросил
Петро.

— Здесь.

— А то отвезу, мне все равно ехать.

— Да нет, у меня с собой все... А тебе чего ехать?

— Да что-то стрелять начала. Правда, навер-
ное, жиклер.

Они посмеялись, имея в виду тот «жиклер», ко-
торый они вместе «продували» прошлый раз в бане.

— У меня дома есть один, все берег его.

— Может, посмотреть — чего стреляет-то?

— Ну, время еще терять. Жиклер, точно. Я с
ним давно мучаюсь, все жалко было выбрасывать.
Но теперь уж смену.

— Ну, гляди. — И Егор полез опять в кабину.
Петро поехал развозить зерно к другим сеялкам.

И трактор тоже взревел и двинулся дальше.

...Егор отвлекся от приборов на щите, глянул
вперед, а впереди, как раз у того березового колка,
что с края пашни, стоит «Волга» и трое каких-то
людей. Егор всмотрелся... и узнал людей. Люди эти
были — Губошлеп, Бульдя, еще какой-то высокий.
А в машине — Люсьен. Люсьен сидела на переднем
сиденье, дверца была открыта, и хоть лица не было
видно, Егор узнал ее по юбке и по ногам. Мужчины
стояли возле машины и поджидали трактор.

Ничто не изменилось в мире. Горел над паш-
ней ясный день, рощица на краю пашни стояла
вся зеленая, умытая вчерашним дождем... Густо
пахло землей, так густо, тяжело пахло сырой зем-
лей, что голова легонько кружилась. Земля со-

брала всю свою весеннюю силу, все соки живые — готовилась опять породить жизнь. И далекая синяя полоска леса, и облако, белое, кудрявое, над этой полоской, и солнце в вышине — все была жизнь, и перла она через край, и не заботилась ни о чем, и никого не страшилась.

Егор чуть-чуть сбавил скорость... Склонился, выбрал гаечный ключ — не такой здоровый, а поаккуратней — и положил в карман брюк. Покосился — не виден он из-под пиджака? Вроде не виден.

Поравнявшись с «Волгой», Егор остановил трактор и заглушил мотор.

— Галя, иди обедать, — сказал помощнице.

— Мы же только засыпались, — не поняла Галя.

— Ничего, иди. Мне надо вот тут с товарищами... из ЦК профсоюза поговорить.

Галя пошла к отдаленно виднеющемуся бригадному домику. На ходу раза три оглянулась на «Волгу», на Егора...

Егор тоже незаметно глянул по полю... Еще два трактора с сеялками ползли по тому краю; ровный гул их как-то не нарушал тишины огромного светлого дня.

Егор пошел к «Волге».

Губошлеп заулыбался, еще когда Егор был далеко от них.

— А грязный-то! — с улыбкой воскликнул Губошлеп. — Люсьен, ты глянь на него!..

Люсьен вылезла из машины. И серьезно смотрела на подходящего Егора, не улыбалась.

Егор тяжело шел по мягкой пашне... Смотрел на гостей... Он тоже не улыбался.

Улыбался один Губошлеп.

— Ну, не узнал бы, ей-Богу! — все потешался он. — Встретил бы где-нибудь — не узнал бы.

— Губа, ты его не тронешь, — сказала вдруг Люсьен чуть хриплым голосом и посмотрела на Губошлепа требовательно, даже зло.

Губошлеп, напротив, весь так и вострепнулся от мстительной какой-то радости.

— Люсьен!.. О чем ты говоришь! Это он бы меня не тронул! Скажи ему, чтобы он меня не тронул. А то как двинет святым кулаком по окаянной шее...

— Ты не тронешь его, тварь! — сорвалась Люсьен. — Ты сам скоро сдохнешь, зачем же...

— Цыть! — сказал Губошлеп. И улыбку его как ветром сдуло. И видно стало — проглянуло в глазах, — что мстительная немощность его взбесилась: этот человек оглох навсегда для всякого справедливого слова. Если ему некого будет кусать, он, как змея, будет кусать свой хвост. — А то я вас рядом положу. И заставлю обниматься — возьму себе еще одну статью: глумление над трупами. Мне все равно.

— Я прошу тебя, — сказала Люсьен после некоторого молчания, — не тронь его. Нам все равно скоро конец, пусть он живет. Пусть пашет землю — ему нравится.

— Нам — конец, а он будет землю пахать? — Губошлеп показал в улыбке гнилые зубы свои. — Где же справедливость? Что он, мало натворил?

— Он вышел из игры... У него справка.

— Он не вышел. — Губошлеп опять повернулся к Егору. — Он только еще идет.

Егор все шел. Увязал сапогами в мягкой земле и шел.

— У него даже и походка-то какая-то стала!.. — с восхищением сказал Губошлеп. — Трудовая.

— Пролетариат, — промолвил глуповатый Бульдя.

— Крестьянин, какой пролетариат!

— Но крестьяне-то тоже пролетариат!

— Бульдя! Ты имеешь свои четыре класса и две ноздри — читай «Мурзилку» и дыши носом. Здорово, Горе! — громко приветствовал Губошлеп Егора.

— А чего они еще сказали? — допрашивала встревоженная Люба своих стариков.

— Ничего больше... Я им рассказал, как ехать туда...

— К Егору?

— Ну.

— Да мамочка моя родимая! — закричала Люба. И побежала из избы.

В это время в ограду въезжал Петро.

Люба замахала ему — чтоб не въезжал, чтоб остановился.

Петро остановился...

Люба вскочила в кабину... Сказала что-то Петру. Самосвал попятился, развернулся и сразу шибко поехал, прыгая и грохоча на выбоинах дороги.

— Петя, братка милый, скорей, скорей! Господи, как сердце мое чуяло!.. — У Любы из глаз катились слезы, она их не вытирала — не замечала их.

— Успеем, — сказал Петро. — Я же недавно от него...

— Они только что здесь были... спрашивали. А теперь уж там. Скорей, Петя!..

Петро выжимал из своего горбатого богатыря все, что мог.

Группа, что стояла возле «Волги», двинулась к березовому колку. Только женщина осталась у машины, даже залезла в машину и захлопнула все дверцы.

Группа немного не дошла до берез — остановилась. О чем-то, видимо, поговорили... И двое из группы отделились и вернулись к машине. А двое — Егор и Губошлеп — зашли в лесок и стали удаляться и скоро скрылись с глаз.

...В это время далеко на дороге показался самосвал Петра. Двое стоявших у «Волги» пригляделись к нему. Поняли, что самосвал гонит сюда, крикнули что-то в сторону леска. Из леска тотчас выбежал один человек, Губошлеп, пряча что-то в карман. Тоже увидел самосвал и побежал к «Волге». «Волга» рванула с места и понеслась, набирая скорость...

Самосвал поравнялся с рощицей.

Люба выпрыгнула из кабины и побежала к березам.

Навстречу ей тихо шел, держась одной рукой за живот, Егор. Шел, хватаясь другой рукой за березки. И на березах оставались ярко-красные пятна.

Петро, увидев раненого Егора, вскочил опять в самосвал, погнав было за «Волгой». Но «Волга» была уже далеко. Петро стал разворачиваться.

Люба подхватила Егора под руки.

— Измажу я тебя, — сказал Егор, страдая от боли.

— Молчи, не говори. — Сильная Люба взяла его на руки. Егор было запротестовал, но новый приступ боли накатил, Егор закрыл глаза.

Тут подбежал Петро, бережно взял с рук сестры Егора и понес к самосвалу.

— Ничего, ничего, — гудел он негромко. — Ерунда это... Штыком насквозь прокалывали и то оставались жить. Через неделю будешь прыгать...

Егор слабо качнул головой и вздохнул — боль немного отпустила.

— Там — пуля, — сказал он.

Петро глянул на него, на белого, стиснул зубы и ничего не сказал. Прибавил только шагу.

Люба первая вскочила в кабину. Приняла на руки Егора. Устроила на коленях у себя, голову его положила на грудь себе. Петро осторожно поехал.

— Потерпи, Егорушка... милый. Счас доедем до больницы...

— Не плачь, — тихо попросил Егор, не открывая глаз.

— Я не плачу...

— Плачешь... На лицо капает. Не надо.

— Не буду, не буду...

Петро выворачивал руль и так и этак — старался не трясти. Но все равно трясло, и Егор мучительно морщился и раза два простонал.

— Петя... — сказала Люба.

— Да уж стараюсь. Но и тянуть-то нельзя. Скорей надо.

— Остановите, — попросил Егор.

— Почему, Егор? Скорей надо...

— Нет... все. Снимите.

Егора сняли на землю, положили на фуфайку.

— Люба, — позвал Егор, выискивая ее невидящими глазами где-то в небе — он лежал на спине.
— Люба...

— Я здесь, Егорушка, здесь, вот она...

— Деньги... — с трудом говорил Егор последнее.

— У меня в пиджаке... раздели с мамой... — У Егора из-под прикрытых век по темени сползла слезинка, подрожала, повиснув около уха, и сорвалась, и упала в траву. Егор умер.

И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от дома... Лежал, прикинув щекой к земле, как будто слушал что-то такое, одному ему слышное. Так он в детстве прижимался к столбам.

Люба упала ему на грудь и тихо, жутко выла.

Петро стоял над ними, смотрел на них и тоже плакал. Молча.

Потом поднял голову, вытер слезы рукавом фуфайки.

— Да что же, — сказал он на выдохе, в котором почувствовалась вся его устрашающая сила, — так и уйдут, что ли? — Обошел лежащего Егора и сестру и, не оглядываясь, тяжело побежал к самосвалу.

Самосвал взревел и понесся прямо по степи, минуя большак. Петро хорошо знал здесь все дороги, все проселки и теперь только сообразил, что «Волгу» можно перехватить — наперерез. «Волга» будет огигать большой выступ того леса, который синел отсюда ровной полосой... А в лесу есть зимник, по нему зимой выволакивают на тракторных санях лесины. Теперь, после дождя, захламленный ветками зимник даже надежнее для самосвала, чем большак. Но «Волга», конечно, туда не сунется. Да и откуда им знать, куда ведет тот зимник?

...И Петро перехватил «Волгу».

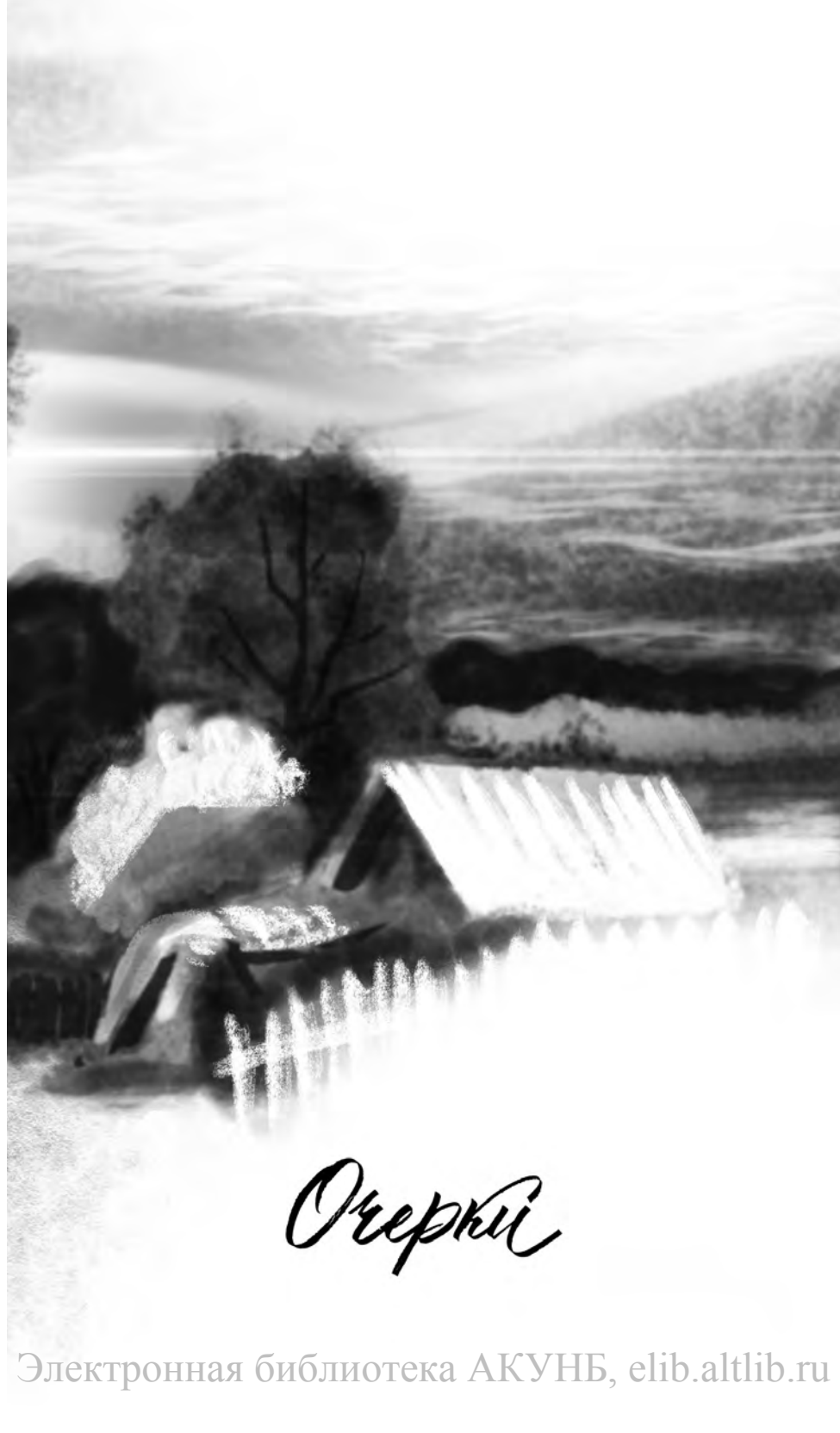
Самосвал выскочил из леса раньше, чем здесь успела проشمгнуть бежевая красавица. И сразу обнаружилось ее безысходное положение: разворачиваться назад поздно — самосвал несся в лоб, разминуться как-нибудь тоже нельзя: узка дорога... Свернуть — с одной стороны лес, с другой целина, напитанная вчерашним дождем, — не для городской машинки. Оставалось попытаться все же по целине с ходу, на скорости, объехать самосвал и выскочить опять на большак. «Волга» свернула с накатанной дороги и сразу завияла задом, пошла тихо, хоть скреблась и ревела изо всех сил. Тут ее и настиг Петро. Из «Волги» даже не успели выскочить... Труженик-самосвал, как разъяренный бык, ударил ее в бок, опрокинул и стал над ней.

Петро вылез из кабины...

С пашни, от тракторов, к ним бежали люди, которые все видели...

1973





Очерки

<СЕЛО РОДНОЕ>

Село наше большое, Сростки называется. Стоит оно на берегу красавицы Катуня. Катунь в этом месте вырвалась на волю из каменистых теснин Алтая, разбежалась на десятки протоков, прыгает, мечется в камнях, ревет... Потом, ниже, она несколько успокаивается, круто заворачивает на запад и несется дальше — через сорок километров она встретит свою величавую сестрицу Бию и умрет, породив Обь. В месте слиянья рек далеко еще виден светлый след своенравной Катуня — вода в ней белая.

Образовалось село в 60-е годы прошлого века, когда началось печальное переселение людей российских в Сибирь, на вольные земли.

Приходили рязанские, самарские, тверские, вятские, котельнические и оседали здесь. Строились пришлые ближе к своим... Наверно, поначалу было несколько небольших деревень, а потом, со временем, все срослось — в Сростки. Но зато в одном селе образовалось несколько краев с разными обычаями и говором. Было пять краев: Баклань, Низовка, Мордва, Дикари и Голожопка. Так было еще при мне.

Баклань — это коренные сибиряки, чалдоны. Угрюмоватые, скуластые, здоровые... Мужики ходили — руки в брюки, не торопились, смотрели снисходительно, даже презрительно. Если бывали не среди своих, — помалкивали. Работяги. Лишнюю копейку не пропьют. Все рыбаки, охотни-

ки. У всех лодки. Катунь знали верст на пятьдесят вверх и вниз по течению. Драться не любили, но умели.

Бабы бакланские — чистюли, рожать много не любили, тоже очень работающие, но не искусницы. Так все больше — Кочугановы, Борзенковы, Куксины. Говорили так: «Дак это, ты чё этот день делаешь-то?» — «Ничё». — «Сплавам в островишко, посмотрим?» — «Дак это, у меня припасишки вышли». — «Я посмотрю, у меня, однако, есть маленько — дам». — «Но дак, а чё — дай. Я, этто, на днях в городишко сбегая, привезу». — Договорились плыть на охоту; один другому пообещал дать ружейных припасов.

Низовка — это что-то среднее между чалдонами и «рассейскими». Мужики красивые, драчуны, вечно на ножах с Бакланью. Дома строили крестовые, селились кучно. Там — Байкаловы, Любавины, Пономаревы, Морчуговы, Быстровы... Говорили правильно, немного нажимали на «р».

— Здорово.

— Слава богу. — И все. Говорить тоже не любили много. Уважали в человеке силу. По праздникам бились на кулаках. Гуляли «справно», хвастались друг перед другом столами — тем, что выставлялось на стол для гостей. Считалось, что мужик живет хорошо, если частенько гуляет. Вообще, в селе гуляли много. Но алкоголиков как-то не было.

Мордва, Дикари и Голожопка — это «расея»: Поповы, Бедаревы, Дегтяревы, Докучаевы, Бровкины, Колокольниковы. Это края большие, крикливые, песенные. Там «чавокали», «надыскали», «явокали»... Там хлеборобы, лошадики, плотники. Там, если гуляли, — с треском, с поножовщиной, с песнями, от которых грустно становилось. Там умели поговорить, умели словчить в деле... Мужики не такие крупные, как в Баклани

или Низовке, но верткие и дружные: где один не справится — приведет орду. Там любили землю, редко кто охотился или рыбачил. Там знали толк в пашне, в лошадях... Уважали справных хозяев. Там семьи огромные, и там все — родня.

Бабы там бойкие, несколько заполошные. По пустяку поднимет такой крик, хоть беги. Поймала соседского парнишку в своем огороде, отодрала крапивой, потом пошла по улице: — Это что же делается-то на белом свете, тошно мнеченьки! Это как же жить-то дальше?.. Вы-простал весь горох, окаянный варнак! Весь огород потоптал. Давить, от так доберется — дом подожжет!

Мужики баб не слушали. Случалось — поколачивали под пьяную руку, и крепко.

Большое село. Вообще, в Сибири села большие. Любят рассказывать такую притяжку: «Еду, значит, гляжу — деревня. Какая деревня? — «Ярки». — Ладно. Лег, поспал маленько, просыпаюсь — опять деревня. Опять: какая деревня? — «Ярки»... и так далее, пока не надоест рассказывать.

А за селом нашим — благодать и раздолье. Уже начинаются горы, но это еще не горы, это — «кучугуры», как их у нас называют — предгорье. Холмы, луга, долины, опять холмы — все в зелени, бесконечные «околки», согры, услоны, солонцы, гривы*... Травы — по грудь, в траве ягоды всякой, змей полно. Едет человек по траве на коне, конь то и дело шарахается в сторону — змей. Змеи одолевают особенно на покосе. Бывает так, что проспит человек в шалаше всю ночь, утром просыпается — рядом, свернувшись кольцом, лежит змея. Или: только ляжет, укроется одежкой, слышит — по ногам, по одежке, ползет... Человек вскакивает, запалает смоленую веревку и носится по шалашу с палкой, заранее приготовленной с вечера, лупит змею, материт ее, на чем свет стоит. И знали, впро-

*Околок — перелесок, молодой лес возле большого леса. Согда — заболоченная низина, поросшая лесом или кустарником. Усло́н — склон горы или холма. Солонéц — земля, с выступающей на поверхности солью. Грива — вытянутая возвышенность с пологими склонами (прим.ред.)

чем, что через веревку, свитую из конского хвоста, змея не может переползти, и даже, может быть, лежит у него такая веревка в телеге — вожжи волосяные, — но воспользоваться этим как-то лень. Безалаберность какая-то русская: — «А-а... один черт». — И все. Сказал так и лег спать. Впрочем, сонных змеи кусали редко.

А в сограх и в лесах подальше — волки. Волков били с удовольствием. Искали пары, душили выводки. Еще — барсучили. Это дело тоже азартное.

По сограм — воронье, сорочья, галки... Тучи!

А над всем этим — синее-синее алтайское небо. Рдеет, дрожит вдалеке горячий воздух, день-деньской висит над косогорами сухой стрекотный звон кузнечиков. А вечерами пахнет полынью, дымком, волглой пылью... Кричат перепела, крикают на озерах утки... И далеко, далеко слышно, как кипит в камнях бешеная Катунь. А на западе в полнеба пластает соломенный пожар зари; задумчиво на земле, хорошо...

<1966? г.>

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ (СЛОВО О «МАЛОЙ РОДИНЕ»)

Как-то в связи с фильмом «Печки-лавочки» я получил с родины, с Алтая, анонимное письмо. Письмецо короткое и убийственное: «Не бери пример с себя, не позорь свою землю и нас». Потом в газете «Алтайская правда» была напечатана рецензия на этот же фильм (я его снимал на Алтае), где, кроме прочих упреков фильму, был упрек мне — как причинная связь с неудачей фильма: автор оторвался от жизни, не знает даже преобразований, какие произошли в его родном селе... И еще отзыв с родины: в газете «Бийский рабочий» фильм тоже разругали, в общем, за то же. И еще потом были выступления моих земляков (в центральной печати), где фильм тоже поминался недобрым словом... Сказать, что я все это принял спокойно, значит, зачем-то скрыть правду. Правда же тут в том, что все это: и письма и рецензии, — неожиданно и грустно. В фильм я вложил много труда (это, впрочем, не главное, халтура тоже не без труда создается), главное, я вложил в него мою любовь к родине, к Алтаю, какая живет в сердце, — вот главное, и я думал, что это-то не останется незамеченным. Не стану кокетничать и говорить так: «Я задумался... Я спросил себя: может быть, они правы, я оторвался от родины?..» Нет, не стану. Но и доказывать, что я люблю родину и не оторвался от нее, тоже не стану: это никому не нуж-

но. Сказать же о родине готов, это, впрочем, будет и о любви к ней, но только пусть не будет никаким доказательством. Я давно чувствовал потребность в этом слове. И вот почему.

Те, кому пришлось уехать (по самым разным причинам) с родины (понятно, что я имею в виду так называемую «малую родину»), — а таких много, — невольно несут в душе некую обездоленность, чувство вины и грусть. С годами грусть слабеет, но совсем не проходит. Может, отсюда проистекает наше неловкое заискивание перед земляками, когда мы приезжаем к ним из больших «центров» в командировку или в отпуск. Не знаю, как другие, а я чего-то смущаюсь и заискиваю. Я вижу какое-то легкое раздражение и недовольство моих земляков чем-то, может, тем, что я уехал, а теперь, видите ли, приехал. Когда мне приходится читать очерки или рассказы других писателей о том, как они побывали на родине, я с удивлением не нахожу у них вот этого вот мотива: что им пришлось слегка суетиться и заискивать. Или у них этого нету? Или они опускают это потом, вспоминая поездку?.. Не пойму. Я не могу опустить это, потому что всякий раз спотыкаюсь о какую-то неловкость, даже мне бывает стыдно, что вот я взял и уехал, когда-то куда-то... И вот все вокруг вроде бы и не мое родное, и я потерял право называть это своим. Я хотел бы в этом разобраться. Мое ли это — моя родина, где я родился и вырос? Мое. Говорю это с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько... Я не выговариваю себе это чувство, не извиняюсь за него перед земляками, — оно мое, оно я. Не стану же я объяснять кому бы то ни было, что я — есть на этом свете, пока это, простите за неуклюжесть, факт.

Больше всего в родной своей избе я любил полати. Не печку даже (хотя печку тоже очень любил), а полати. Теперь, когда и видеть-то не видишь нигде полатей (даже в самых глухих и далеких деревнях), оглядывая мысленно страну (которую, по-моему, неплохо знаю), я вижу Алтай — как если бы это мои родные полати из детства, особый, в высшей степени дорогой мир. Может, это потому (возвышение-то чудится), что село мое — на возвышении, в предгорье, а может, потому это, что с полатями связана неповторимая пора жизни... Трудно понять, но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство, а в памяти неизменно полати. Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет.

Редко кому завидую, а завидую моим далеким предкам — их упорству, силе огромной... Я бы сегодня не знал, куда деваться с такой силищей. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь с севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай. Я только представляю, а они его прошли. И если бы не наша теперь осторожность насчет красотостей, я бы позволил себе сказать, что склоняюсь перед их памятью, благодарю их самым дорогим словом, какое только удалось сберечь у сердца: они обрели — себе, и нам, и после нас — прекрасную родину. Красота ее, ясность ее поднебесная — редкая на земле. Нет, это, пожалуй, легко сказалось: красивого на земле много, вся земля красивая... Дело не в красоте, дело, наверное, в том, что дает родина каждому из нас в дорогу, если, положим, предстоит путь, обратный тому, какой в давние времена проделали наши предки, — с Алтая, вообще, что родина дает человеку на целую жизнь. Я сказал «ясность поднебесная», но

и поднебесная, и земная, распахнутая, — ясность пашни и ясность людей, которых люблю и помню. Когда я хочу точно представить, что же особенно прочно запомнил я из той жизни, которую прожил на родине в те свои годы, в какие память наша, особенно цепкая, обладает способностью долго удерживать то, что ее поразило, я должен выразиться громоздко и несколько неопределенно, хотя для меня это точность и конкретность полная: я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни, больше того, у меня с годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, начиная с языка, с жилья.

Я думаю, что еще не время восторженно вспоминать двухэтажное длинное здание, которое стало приходить в сибирскую деревню. Надо подождать, когда это здание станет родным, дорогим, когда оно привыкнет к человеку, как привык деревенский дом. Я хочу сказать, что нужно еще время, пока длинное кирпичное здание в деревне, претерпев множество изменений от первоначального замысла в городском кабинете, обвыкнется с деревенским человеком, станет таким же сподручным, понятным, необходимым, как деревенский дом в прошлом. Я понимаю, на какой я напрашиваюсь упрек, и все же расскажу, каким я запомнил дом деда моего, крестьянина, — это тоже живет со мной и тоже чрезвычайно дорого.

У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко ходят в этих гостиных, сидят, болтают, курят, пьют кофе... Я всегда смотрел и думал: «Ну, вот это, что ли, и есть та самая жизнь — так надо жить?» Но что-то противилось во мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужден-

ности. И я хочу быть правдивым перед собой до конца, поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда-крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых в сущности отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там много, очень много работали... Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла — с ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах, но — учили... Никак не могу внушить себе, что это все глупо, некультурно, а думаю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире, — очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека. Неужели в том только и беда, что слов этих — «честь», «достоинство» — там не знали? Но там знали все, чем жив и крепок человек и чем он — нищий: ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие... Нет явления в жизни, нет такого качества в человеке, которое бы там не знали, или, положим, знали его так, а пришло время, и стало это качество человеческое на поверку, в результате научных открытий, вовсе не плохим, а хорошим, ценным. Ни в чем там не заблуждались, больше того, мало-мальски заметные недостатки в человеке, еще в маленьком, губились на корню. Если в человечке обнаруживалась склонность к лени, то она никак не выгораживалась, не объяснялась никакими редкими способностями ребенка — она была просто лень, потому высмеивалась, истреблялась. Зазнайство, хвастливость, завистливость — все было на виду в людях, никак нельзя было

спрятаться ни за слова, ни за фокусы. Я не стремлюсь здесь кого-то обмануть или себя, например, обмануть — нарисовать зачем-то картину жизни идеальной, нет, она, конечно, была далеко не идеальная, но коренное русло жизни всегда оставалось — правда, справедливость. И даже очень и очень развитое чувство правды и справедливости, здесь нет сомнения. Только с этим чувством люди живут значительно. Этот кровный закон — соблюдение правды — вселяет в человеке уверенность в ценности его пребывания здесь, я так думаю, потому что все остальное прилагается к этому, труд в том числе, ибо правда и в том, что надо есть.

Когда я подъезжаю на поезде к Бийску (от Новосибирска до Бийска поезд идет ночь), когда начинаю слышать в темноте знакомое, родное, сельское подпевание в словах, я уже не могу заснуть, даже если еду в купе, волнуясь, начинаю ворошить прожитую жизнь... Поезд останавливается у каждого столба, собирает в ночи моих шумных, напористых земляков, вагон то и дело оглашается голосами. Конечно, тут не решаются проблемы НТР, но тут опять обнаруживается глубокое, давнее чувство справедливости, перед которым я немею. Как-то ночью в купе вошла тетя-пассажирка, увидела, что здесь сравнительно свободно (в бойкие месяцы едут даже в коридорах купейных вагонов, сидят на чемоданах, благо ехать близко), распахнула пошире двери и позвала еще свою товарку: «Нюра, давай ко мне, я тут нашла местечко!» На замечание, что здесь купе, места, так сказать, дополнительно оплачены, тетя искренне удивилась: «Да вы гляньте, чо в коридоре-то делается!.. А у вас вон как просторно». Отметая в уме все «да» и «нет» в пользу решения вопроса таким способом, я прихожу к мысли, что это справедливо. Дело в том, что и в купе-то, когда так людно, тесно, ехать

неловко, совестно. А совесть у человека должна быть, пусть это и нелепо с точки зрения «правил передвижения пассажиров» — правила можно написать другие, была бы жива совесть. Человек, начиненный всяческими «правилами», но лишенный совести, — пустой человек, если не хуже.

Родина... Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда. Может быть, мне это нужно, думаю я, чтобы постоянно ощущать в себе житейский «запас прочности»: всегда есть куда вернуться, если станет неважно. И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу.

Я долго стыдился, что я из деревни и что деревня моя черт знает где — далеко. Любил ее молчком, не говорил много. Служил действительную, как на грех, во флоте, где в то время, не знаю, как теперь, витал душок некоторого пижонства: ребятки в основном все из городов, из больших городов, я и помалкивал со своей деревней. Но потом — и дальше, в жизни — заметил: чем открытее человек, чем меньше он чего-нибудь стыдится или боится, тем меньше желания вызывает у людей дотронуться в нем до того места, которое он бы хотел, чтоб не трогали. Смотрит какой-нибудь ясными-ясными глазами и просто говорит: «Вяцкий». И с него взятки гладки. Я удивился: до чего это хорошо — не стал больше прятаться со своей деревней. Конечно, родина простит мне эту молодую дурь, но впредь я зарекаюсь

скрывать что-нибудь, что люблю и о чем думаю. То есть нельзя и надоедать со своей любовью, но как прижмут — говорю прямо.

Родина... И почему же живет в сердце мысль, что когда-то я останусь там навсегда? Когда? Ведь непохоже по жизни-то... Отчего же? Может, потому, что она и живет постоянно в сердце, и образ ее светлый погаснет со мной вместе. Видно, так. Благослови тебя, моя родина, труд и разум человеческий! Будь счастлива! Будешь ты счастлива, и я буду счастлив.

1974

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя.....5

Рассказы

Светлые души.....	11
Сельские жители.....	19
Демагоги.....	29
Далекие зимние вечера.....	38
Волки.....	51
Из детских лет Ивана Попова.....	59
Микроскоп.....	92
Срезал.....	104
Сапожки.....	114
Дядя Ермолай.....	123
Билетик на второй сеанс.....	128
Верую!.....	137
Мастер.....	148
Мой зять украл машину дров!.....	161
Алеша Бесконвойный.....	176
Осенью.....	193
Мужик Дерябин.....	204
Рыжий.....	208
Чужие.....	213

Киноповести

Живет такой парень.....	227
Калина красная.....	281

Очерки

Село родное.....	371
Признание в любви (Слово о малой родине).....	375

Василий Макарович Шукшин

ИЗБРАННОЕ

Редактор-составитель — Д. В. Марьин
Художественное оформление — Ю. В. Раменская
Каллиграфия — О. А. Алексеенко
Портрет В. М. Шукшина — Н. С. Зайков
Верстка — Е. П. Василенко



Подписано в печать 29.07.2022 г.
Формат 84x108/32. Печать офсетная. Бумага мелованная
Тираж 1000 экз. Заказ №517.

Отпечатано в типографии ОАО «Алтайский дом печати».
656043, г. Барнаул, ул. Б. Олонская, 28.
тел.: 8 (3852) 63-79-71,
e-mail: zakaz@adp.alt.ru

